



Андрэ Шварц-Барт

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
ПРАВЕДНИКОВ

Андрэ Шварц-Барт • ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ

89



Андрэ Шварц-Барт

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ



АНДРЭ ШВАРЦ-БАРТ

Андрэ Шварц-Барт

**ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ ПРАВЕДНИКОВ**



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ

1978

Перевела с французского *С. Тартаковская*
Редактор *Р. Зернова*
Художник *Л. Ларский*

©

ALL RIGHTS RESERVED

כל הזכויות שמורות
לספרית-עליה
ת.ד. 7422, ירושלים
היוצאת לאור בסיוע:
האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים
וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

נדפס בדפוס "סתיו", ירושלים, ת.ד. 11034

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Андрэ Шварц-Барт родился в 1928 году во Франции, в Меце, в еврейской семье родом из Польши. Во время фашистской оккупации Франции его родители были арестованы и в 1942 году, вместе с двумя братьями Андрэ, депортированы.

В октябре 1943 года будущий писатель вступил в ряды Сопротивления; был арестован, сумел бежать. После освобождения Франции некоторое время работал слесарем, затем начал заниматься и в 1948 году выдержал экзамены на звание бакалавра. С 1950 года занимается литературой.

Роман Шварц-Барта «Последний из Праведников» имел огромный успех; в 1959 году он был удостоен Гонкуровской премии.

...Ничто не отличает тридцать шесть Праведников от других людей — зачастую они сами не подозревают о своей избранности, о том, что на них держится благополучие мира, что не будь их, человечество задохнулось бы от мук.

Таково древнее талмудическое предание.

В средние века («эпоху тьмы») раввину Иом-Тову Леви явилась Божья благодать — обещание, что в каждом из поколений его потомков будет рождаться по Праведнику. Эпоха Просвещения немногим отличалась для евреев от средних веков: и праведники, и обычные люди претерпевали причитающуюся им долю страданий, и даже свыше того, — и вынуждены были скитаться в поисках пристанища по всей Европе.

Потомки рода Леви в нашем, двадцатом веке, надеялись найти приют в Германии и отдохнуть там от своих мытарств...

Из увиденного и пережитого этим свидетелем века насилия и зверств, искусно переплетая нити достоверного и легенды, Андрэ Шварц-Барт соткал летопись поразительной художественной силы.

От переводчика

Эта книга о человеческой трагедии — поэтому она адресована всем людям.

Эта книга о трагедии евреев — поэтому она адресована всем евреям.

Эта книга о личных судьбах — поэтому она адресована каждому человеку.

Эта книга адресована мне.

Книга рассказывает — нет, не рассказывает, а кричит — о трагедии людей в диаспоре, а я, я уехала из диаспоры на родину моих предков и знаю продолжение этой книги.

Вот почему я позволяю себе сказать читателю несколько слов от своего имени.

Книга эта автобиографична. Автору не нужно было отождествлять себя со своими литературными героями: он во многом писал их с себя.

Переводчику всегда нужно отождествлять себя с литературными героями — того требует его профессия — и я бы назвала такое отождествление профессиональным. Но при переводе этой книги мое отождествление с ее персонажами было личным.

Они, герои книги, начали свой трагический путь по диаспоре «сразу же после первого тысячелетия нашей эры», во «времена неистовой веры». Путь этот — сплошная трагедия, и такое несчастье, как погром, — лишь один из ее эпизодов. Были времена, когда героям книги казалось, что они нашли на земле спокойное место, где можно жить и даже познать человеческое счастье, — нужно только приспособиться. Одни приспособлялись лучше, другие — хуже, но лишь немногие понимали, что приспособление и есть

та почва, на которой возможны такие события, как погром.

Условно книгу можно разделить на две части: от «времен неистовой веры» до прихода Гитлера к власти и от этого момента до газовых камер. На этом автор кончает свое повествование.

Третья часть этой книги еще не написана, она еще творится жизнью, ее содержание — возвращение из диаспоры на родину. Каким бы сложным ни был этот процесс, несомненно одно: в нем — конец трагедии народа. В этом историческом процессе, как и в каждом другом, такое множество факторов принимают участие, что перечислить их не под силу ни одному историку. Но я беру на себя смелость утверждать, что один из неисчислимых факторов — роман Андрэ Шварц-Барта «Последний из Праведников». Это произведение не укладывается в рамки явления литературы. При чтении его обязательно возникает вопрос: где же она, граница между литературой и жизнью? Что же такое история народа и что же такое судьба отдельного человека?

Эпилог этой книги не написан. Его еще пишет один из самых древних народов в одном из самых молодых государств. Я знаю, как это трудно. Может быть, поэтому я так хочу, чтобы русскоязычный читатель, где бы он ни жил в настоящий момент, прочел те части своей истории, которые написаны в этой удивительной книге.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ (для русского издания)

Еще детьми мы научились чтить память марранов, которые занимают особое место в сердце еврейского народа. Порой, когда за семейным столом зажигались субботние свечи, мы думали о тайных свечах, что горели во времена Инквизиции, и душа наша наполнялась нежностью и бесконечной благодарностью. Ибо, где бы ни жили еврейские дети — в Бонне, в Мекнесе, в Салониках, в Бруклине или в Варшаве, — где-то глубоко в душе они осознавали, что существуют чудом и что марраны больше, чем кто бы то ни было, символизируют стоицизм наших предков, которые долгими веками говорили *нет*. *Нет*—обращению в другую веру, *нет* — потере своего я или отречению от него, *нет* — властителям века и их идолам, *нет* — всему, что подавляет и калечит душу, даже если это *нет* стоило им жизни. Еврейский народ обязан своим существованием этому великому отказу. Трагедия марранов еще в детстве научила нас чувству благодарности и долга.

На следующий день после окончания войны те из нашего народа, кто уцелел, оказались без почвы под ногами. Потом Израиль вернул нам смысл жизни, надежду и веру в будущее. И вот, в темных глубинах самой совершенной инквизиции, какую когда-либо знал человек, загораются миллионы свечей. Откуда приходит к вам это горение, евреи из СССР? Нам, западным евреям, не понять. И как сумели вы не только сохранить это пламя, но и разжечь его снова, когда было сделано все, чтобы погасить его навсегда? Нам не постичь. Нет у нас слов для наших братьев из России. Наша поддержка — пустяк, как бы необходима она ни была, ибо в конечном итоге все держится на их героизме. А мы можем только приветствовать их с той же нежной благодарностью, какую мы еще детьми испытывали к марранам, когда наши матери зажигали субботние свечи во всех уголках мира: в Бонне, в Мекнесе, в Салониках, в Бруклине или в еврейской Варшаве, которой уже нет.

Андрэ Шварц-Барт

СОДЕРЖАНИЕ

Легенда о тридцати шести праведниках	3
Земиоцк	25
Штилленштадт	87
Мушиный праведник	152
Господин Кремер и девочка Ильза	214
Собака	264
Женитьба Эрни Леви	316
Никогда больше	363

*Как погребальный обряд исполню?
Как за гробом твоим пойду?
Горсточка пепла витает
Между землей и небом.*

(М. Яцтун. «Погребение»)

ЛЕГЕНДА О ТРИДЦАТИ ШЕСТИ ПРАВЕДНИКАХ

Глаза наши улавливают свет угасших звезд. Дела и дни моего друга Эрни вполне можно было бы отнести ко второй четверти XX века, но подлинная история жизни Эрни Леви началась давным-давно, сразу же после первого тысячелетия нашей эры, в маленьком городке Йорке. Точнее говоря, 11 марта 1185 года.

В тот день епископ Нордхауза произнес проповедь, после которой толпа прихожан с криками «Такова воля Божья» высыпала на паперть, а еще через несколько минут грешные души евреев предстали перед судом Всевышнего, который призвал их к себе устами епископа.

Однако в суматохе, поднявшейся во время грабежа, несколько семей укрылись в заброшенной башне на самом краю города. Осада длилась шесть дней. Каждое утро, лишь только начинал брезжить свет, ко рву, окружавшему башню, подходил монах с распятием в руках и обещал сохранить жизнь тем евреям, которые признают страсти возлюбленного Господа нашего — Иисуса Христа. Но башня, по выражению очевидца, бенедиктинца Дома Брактона, оставалась «глухой и немой».

На утро седьмого дня рабби Иом Тов Леви собрал осажденных на площадке и сказал:

— Братья мои, Бог даровал нам жизнь. Отдадим же ее своими собственными руками Ему, как сделали наши братья в Германии.

Мужчины, женщины, дети и старики — один за другим подставляли голову под простертую для бла-

гословения руку, а затем и горло под клинок, зажатый в другой руке, и, прежде чем принять смерть, старый раввин оказался в полном одиночестве.

Дом Брактон свидетельствует:

«И вырвалось тогда из уст его горестное стенание и докатилось до квартала Святого Джеймса...»

Далее следуют благочестивые комментарии, и заканчивает монах свою хронику так:

«На площадке перед башней нашли двадцать шесть евреев, не считая женский пол и маленьких отродий. А по прошествии двух лет обнаружили останки еще тринадцати евреев, погребенных в подземелье во время осады. Но эти тринадцать почти все были младенцами. Старый раввин все еще сжимал рукоятку кинжала, которым перерезал себе горло. Другого оружия в башне не нашли. Тело раввина было предано огню, а пепел, к прискорбию великому, рассеян по ветру. Так что суждено нам было сей пепел вдыхать, и, по закону соединения частиц, отравы еще долго будет входить в нас».

Событие это само по себе ничем не примечательно. В глазах евреев, самопожертвование в башне — лишь незначительный эпизод в истории народа, избилующей мучениками. В те времена неистовой веры целые общины, как известно, предавали себя огню, дабы не поддаться соблазну Нового Завета. Так было в Шпейере, в Майнце, в Вормсе, в Кельне, в Праге тем роковым летом 1096 года. Случалось такое и позже, когда эпидемия моровой язвы поразила весь христианский мир.

Но деянию раввина Иом Тов Леви уготована была особая участь. Возвысившись над общей трагедией, оно превратилось в легенду.

Чтобы понять, как это произошло, нужно познакомиться с древней еврейской легендой о Ламедвавниках, которую некоторые ученые талмудисты относят к началу еврейского летоисчисления, к покрытым

тайной временам пророка Исайи. С тех пор утекли реки крови, и столбы дыма унеслись к небесам. Но через бездны и пропасти легенда дошла до наших дней. Согласно этой легенде, мир зиждется на тридцати шести Праведниках — Ламедвавниках¹. Ничто не отличает их от простых смертных. Им часто и самим неизвестно, что они Праведники. Но не будь хотя бы одного из них в каждом поколении, горе людское убило бы даже души младенцев и люди захлебнулись бы в вопле отчаяния. Ибо Ламедвавники — сердце человечества, и в них, как в огромное хранилище, стекаются наши страдания. Тысячи народных сказаний повествуют о Ламедвавниках, их существование признается повсюду. В одном из старейших текстов Аггады² говорится, что самые несчастные из Ламедвавников как раз те, кто сами не знают, что они Праведники. Перед ними мир предстает нестерпимым адом. В VII веке андалузские евреи почитали скалу в форме слезы, так как считали ее окаменевшей от мук душой одного из неузнанных Ламедвавников. Другие Ламедвавники будто бы превратились в собак, наподобие Гекубы, которая выла над своими умершими сыновьями. «Когда неузнанный Праведник уходит на небо, — говорится в хасидском предании, — его душа так холодна, что Богу приходится тысячу лет отогревать ее в своих руках, прежде чем она раскроется для рая. А иные души остаются безутешными навеки, и даже самому Господу Богу не удастся избавить их от человеческих страданий. И тогда Создатель, благословенно имя Его, приближает на одну минуту час Страшного Суда».

История раввина Иом Тов Леви является прямым продолжением легенды о Ламедвавниках.

Ей суждено было стать легендой благодаря особым обстоятельствам, а именно: младший сын рав-

¹ На иврите буквы «ламед» и «вав» образуют число 36.

² Аггада — сказание (иврит).

вина Иом Това, юный Соломон Леви, чудом остался в живых. Здесь мы подходим к той части событий, которые находятся уже в области предания: точных сведений нет, и мнения авторов хроник расходятся. Одни считают, что Соломон Леви оказался среди тридцати детей, крещенных во время кровавой резни. Другие полагают, что, случайно уцелевший под ножом отца, он был спасен какой-то крестьянкой, которая отдала его евреям соседнего графства.

Из многочисленных версий еврейских сказаний, бытовавших в XIII веке, упомянем сочинение Шимона Реувени из Мантуи. Он описывает «чудо» такими словами:

«У истоков истории израильского народа мы отмечаем жертву: отец наш Авраам предложил Богу своего сына. У истоков истории рода Леви мы снова встречаемся с жертвой, принесенной одним человеком: добрейший и славный рабби Иом Тов собственноручно умертвил двести пятьдесят (а по утверждению других, тысячу) верующих.

И вот, не вынес Создатель мучений раввина Иом Това, оставшегося в одиночестве.

И тогда из груди трупов, облепленных мухами, восстал его младший сын, Соломон Леви, которого охраняли ангелы Уриэль и Габриэль.

И вот еще: когда Соломон достиг совершеннолетия, явился ему во сне Всевышний и сказал: «Слушай, Соломон, и открой ухо словам моим. Семнадцатого дня месяца сиван 4945 года отец твой, раввин Иом Тов, вызвал жалость в сердце Моем. Да будет же отныне и во веки веков одарено милостью Моей потомство раввина: в каждом поколении его потомков да будет по одному праведнику, и ты — первый из них. Ты цаддик».

И заключает этот блистательный автор такими словами:

«О, вечные спутницы нашего рассеяния! Как все реки приходят к морю, так и слезы наши стекаются в сердце Создателя».

Было ли Соломону Леви видение, нет ли, но оно занимало всех. Ни один шаг, ни одно движение Соломона Леви не укрылось от глаз еврейских летописцев того времени. Они часто описывают его внешность: узкое, задумчивое, немного детское лицо в обрамлении длинных черных кудрей.

Но от правды не уйти: руки его не исцеляли язв, а глаза не источали бальзама. Ну, а то, что он пять лет безвыходно провел в синагоге Труа, там молился, там и ел, там и спал на почетной скамье, так в том нет ничего примечательного: таких примеров было множество в земном аду еврейских гетто. Поэтому только смерть Соломона Леви могла бы показать, Праведник он или нет, и положить конец разногласиям.

Она явилась за ним в 1240 году от рождества Христова, после диспута, состоявшегося по велению блаженной памяти короля Людовика Святого.

По заведенному обычаю, все ученые талмудисты Королевства Французского выстраивались в ряд перед церковным трибуналом, в котором заседали и канцлер Сорбонны, Эд из Шатору, и знаменитый Никола Донино.

На этих своеобразных диспутах смерть стояла за каждым ответом талмудистов, и они высказывались по очереди, дабы по справедливости разделить между собой уготованные им пытки.

Вопрос епископа Гроция о божественной сущности Христа вызвал вполне понятное замешательство.

Но тут выступил вперед рабби Соломон Леви, который до тех пор держался несколько в стороне, как подросток, смущенный присутствием взрослых. Худой, как тростинка, в длинном черном сюртуке, он робко стоял перед трибуналом.

— Если верно, — выдавил он еле слышно, — если верно, что Мессия, о котором говорили наши древние пророки, уже пришел, как же вы объясняете все то, что происходит сейчас в мире? — Волнение так

теснило ему грудь, что он закашлялся и еще тише добавил: — Благородные господа, ведь пророки говорили, что по пришествии Мессии слезы и стенания исчезнут с лица земли, не так ли? Лев с ягненком будут пастись вместе, слепой прозреет, а хромой запрыгает, как олень. И все народы сломают свои мечи и перекуют их на орала... Верно? А что сказали бы люди, Ваше величество, — грустно улыбнулся он королю Людовику, — если бы Вы вдруг разучились воевать?

И вот как изложены последствия этой короткой речи в душераздирающей Книге Долины Слез:

«...тогда повелел король Людовик насильно привести к мессе наших парижских братьев в бумажных колпаках и с желтым кругом на спине да еще взять с них изрядный штраф. Наши священные книги Талмуда сжечь на костре под небом Парижа как книги дерзкие, лживые и нашептанные сатаной. А в наказание другим бросить живьем в пламя, на котором они будут гореть, этого Праведника, этого страдальца за народ наш — рабби Соломона Леви, прозванного с тех пор Печальным Рабби. Оплачем же память его».

После аутодафе этого Праведника его единственный сын, красавец Менаше, вернулся в ту самую Англию, откуда когда-то бежали его предки. Вот уже десять лет как на английских берегах царил мир, и евреям казалось, что он установился навечно.

Менаше обосновался в Лондоне, где благодаря репутации Праведников стал во главе возрождающейся общины. А поскольку речь Менаше была не менее приятна, чем лицо, его просили защищать евреев, то и дело обвиняемых в колдовстве, в ритуальных убийствах, в отравлении колодцев и в прочих злодеяниях. За двадцать лет Менаше семь раз добился оправдательного приговора, что само по себе было делом неслыханным.

Подробности седьмого судебного разбирательства мало известны. Некогого Элизера Джефрио обвиняли по навету в том, что он всадил нож в просвиру, а значит, умертвил Христа и пролил кровь из его сердца, ибо просвира и есть сердце Христово. Успех Менаше на этом процессе обеспокоил двух влиятельных епископов, и вскоре его самого вызвали на суд святой инквизиции по обвинению в том же преступлении, которое приписывали Элизеру Джефрио, недавно спасенному стараниями Менаше.

Ему задали запутанный вопрос, который, по установленному правилу, можно было «развивать дальше», но запрещалось повторять. В судебных отчетах значится, что Менаше повинен в злонамеренном молчании. Так что седьмого мая 1279 года в присутствии самых красивых женщин Лондона ему надлежало испытать на себе страсти Христовы. В горле Менаше трижды повернули венецианский клинок, который заранее благословили.

«Так, — простодушно замечает автор хроники, — после тщетной защиты перед судом людским отправился Менаше Леви защищать нас перед судом Господним».

Сыну его, Израилю, казалось, не был уготован этот опасный путь. Человек тихий и спокойный, он сидел в своей сапожной лавке-магазине и под стук молотка сочинял элегические поэмы. Он так прославился своей замкнутостью, что редко кто заглядывал к нему — разве с башмаками в руках. Одни утверждают, что он с головой ушел в книгу Зохар. Другие — что не зря у него был медлительный взгляд и воркующий голос: и душа у него была голубиная. Некоторые из его поэм вошли в ашкеназский ритуал. Его перу принадлежит знаменитая молитва о прощении: «О, Господи! Не предавай забвению пролитую кровь».

Так Израиль жил в своем мирке, когда, как снег на

голову, свалился эдикт об изгнании евреев из Англии. Как всегда неторопливый, он покинул остров в числе последних. Сначала взяли курс на Гамбург, потом безропотно поплыли к берегам Португалии. К рождеству после четырех месяцев скитаний стали на рейд в Бордо.

Скромный сапожник тайком добрался до Тулузы, где в дивной безвестности протекли многие годы его жизни. Он любил эту южную провинцию — христианские нравы там были тихи, почти человечески. Евреям разрешалось обрабатывать клочок земли или заниматься каким-нибудь ремеслом, а не только ростовщичеством, и даже приносить клятву в суде, словно у еврея настоящий человеческий язык. То была не жизнь, а предвкушение рая.

Единственное облако омрачало существование: обычай, называемый «Кофиц», требовал, чтобы каждый год накануне христианской пасхи глава еврейской общины являлся без сюртука в собор, где под звуки мессы граф Тулузский торжественно наносил ему пощечину.

Однако века смягчили этот обычай. Получив сумму в пятьдесят тысяч экю, сеньор удовлетворялся символической пощечиной на расстоянии шести шагов. Именно так и водилось к тому времени, когда Израиля узнал один из английских эмигрантов и «донес» на него евреям Тулузы. Израиля извлекли из сапожной лавки, благословили его самого и мать его, и отца, и всех предков, и всех потомков, и волею-неволей он согласился стать главой общины, что, впрочем, уже не таило в себе былой опасности.

Шли годы, принося с собой страдания и маленькие радости, которые он, как и прежде, перекладывал в стихи. Тайком иногда сапожничал. В 1348 году от рождества Христова скончался старый граф Тулузский. У сына его были отменные наставники, и он решил вернуться к обряду пасхальной пощечины.

Израиль предстал пред ним босой, в одной рубашке и обязательном колпаке, на спине и на груди были

нашиты два больших желтых круга... А за плечами у него было семьдесят два года... Огромная толпа собралась поглазеть на пощечину. Покатился по земле колпак. Израиль, согласно старому обычаю, наклонился его поднять и отвесил молодому графу три благодарственных поклона.

Затем, поддерживаемый единоверцами, прошел сквозь улюлюкающую толпу. Когда он добрался до дому, правый глаз его ободряюще улыбался. «Дело привычки,—сказал он жене,—а я вроде бы уже и привык». Но над щекой с отпечатками всей пятерни плакал левый глаз. И на следующую ночь старая кровь незаметно превратилась в воду. А еще через три недели, проявив непростительную слабость, он умер от стыда.

Рабби Матитьяху Леви, сын его, был столь поглощен математикой, астрономией и медициной, что самим евреям случалось подозревать его в союзе с сатаной. Ему свойственно было необычайное проворство во всем. В одном из своих повествований Иоханан Бен Хасдай сравнивает его с хорьком. Другие авторы поясняют это сравнение: он, казалось, каждую минуту готов обратиться в бегство.

Матитьяху занимался медициной в Тулузе, в Оше, в Жимоне, в Кастельсарразене, в Альби, в Гайаке, в Рабастенсе, в Верден-сюр-Гароне и разделил судьбу еврейских врачей своего времени. В Оше и Гайаке его обвинили в умерщвлении больных христиан, в Кастельсарразене приписывали заражение проказой, в Жимоне он отравлял колодцы, в Рабастенсе применял эликсир, настоенный на человеческой крови, а в Тулузе исцелял невидимой рукой сатаны. И, наконец, в Верден-сюр-Гарон занес чуму.

Своей жизнью он был обязан больным, которые предупреждали его об опасности, прятали, помогали скрыться.

Неоднократно повелевали ему прекратить занятия

медициной, но он, говорит Бен Хасдай, по какой-то странной причине всегда раскрывал двери перед больным христианином. И уж какие только слухи не ходили о его смерти! И в Муассаке его бросили в еврейскую братскую могилу, и в Оше заживо сожгли на кладбище, и в Верден-сюр-Гароне растерзали на части — а грустный хорек всякий раз появлялся в той или другой синагоге. С того момента, когда, по совету своего духовника, король Карл VI издал эдикт об изгнании евреев из Франции, рабби Матитьяху Леви скрывался в окрестностях Байонны. Еще один шаг — и он очутился в Испании.

Там он и окончил свои дни в середине следующего столетия уже глубоким стариком. Его сожгли на огромном белом помосте-кемадеро, сооруженном инквизицией на площади в Севилье, где вперемежку с вязанками хвороста укладывали на вечный покой по триста евреев в день. Неизвестно даже, молился ли он под пытками. Поэтому после ничем не выдающейся жизни столь заурядная смерть заставила людей усомниться в том, что он был Праведником.

«Тем не менее, — пишет Бен Хасдай, — его должно причислить к знаменитому роду, ибо если зло всегда бросается в глаза, то столь же часто добро облачается в скромные одежды. К тому же, говорят, много было случаев, когда Праведники умирали неузнанными».

Сын его, Иоахим, наоборот, ярко проявлял свою принадлежность к роду Праведников. Уже к сорока годам он составил сборник духовных постановлений и дал поразительное описание трех основных каббалистических сфер: Любви, Разума и Сострадания. «Лицо его, — повествует предание, — казалось высеченным из лавы и базальта. В народе считают, что такие лица Бог создал по своему образу и подобию».

От преследований он был огражден своим высо-

ким положением. Всегда сосредоточенный, исполненный благородства, он восседал среди учеников, приходивших к нему со всех концов Испании, и рассуждал с каждым из них о смерти. Во время одного из диспутов, ставшего впоследствии знаменитым, он пришел к заключению, что гонения в конечном счете приносят человеку высшую радость. А если так, само собой разумеется, что хороший еврей не страдает под пыткой. «Пусть его побивают камнями или жгут на костре, погребают заживо или вздергивают на дыбу, он остается нечувствителен, и ни единый стон не срывается с его уст».

Но, пока знаменитый Праведник рассуждал, Бог руками монаха Торквемады подготовил эдикт об изгнании евреев из Испании на веки веков. Молнией рассек этот эдикт черное небо инквизиции, предназначав для многих евреев изгнание из самой жизни.

К великому стыду своему, рабби Иоахим сумел добраться до Португалии, так и не подтвердив делом свое учение. Иоанн III милостиво предоставил изгнанникам убежище на восемь месяцев, потребовав умеренную мзду за въезд. Но семь месяцев спустя, по странной забывчивости, тот же монарх объявил, что готов даровать жизнь тем евреям, которые незамедлительно покинут его владения. За выезд тоже, разумеется, полагалась определенная мзда. У рабби Иоахима сбережений не было, и вместе с другими немущими его продали в рабство. Жена была предназначена в гарем турецкого султана, а сын Хаим — Христу. И крестили его потом неоднократно по различным монастырям.

О кончине рабби нет точных сведений. В трогательной балладе рассказывается, как он попал в Китай, где его посадили на кол, но более осторожные авторы признаются в своем неведении. Они полагают, что он умер смертью, достойной его проповеди.

Мальчика Хаима постигла необычайная судьба. Воспитанный в монастыре и произведенный в священники, он тайно исповедовал иудаизм, хоть и носил сутану. В 1522 году за безупречное служение Христу высшие сановники, не догадываясь об истинном положении вещей, послали его в Рим в числе большой группы «священников из евреев», которым предстояло войти в папскую свиту. Он уехал, но вместо Рима очутился в Майнце, — одетый уже не в сутану и клобук, а в черный сюртук и колпак. Там его торжественно приняли евреи, уцелевшие после недавнего избиения.

Преследуемые и загнанные, точно звери, могли ли они не жаждать чуда! Давно уже потомки рабби Йом Това проникли за ограды всех гетто. От атлантических берегов до песков Аравии каждый год двадцатый день месяца сиван отмечался торжественным постом, и канторы пели молитву о прощении, написанную рабби Соломоном Бен Шимоном из Майнца:

Кровавыми слезами оплакиваю я священную общину Йорка.

Крик отчаяния исторгает сердце мое при мысли о жертвах Майнца.

О героях духа, жизнь отдавших за Бога, благословенно имя Его.

Появление Хаима Леви из монастырских обителей показалось не меньшим чудом, чем вызволение Ионы из чрева кита: христианские пучины вернули Праведника!

Его благословили, сделали ему обрезание, окружили почетом. И зажил он безмятежной жизнью. Хроники обычно рисуют его высоким, сухопарым, сдержанным. Один из современников отмечает мимоходом его монотонную елейную речь и другие приметы священника. Спустя восемь лет после возвращения в еврейство он женился на некоей Рахили Гершон, которая не замедлила принести ему наследника. А еще через несколько месяцев, выданный быв-

шим единоверцем, он был препровожден в Португалию. Там его вздернули на дыбу и по капле в день вливали свинец в рот, в уши, в глаза, в задний проход, пока, наконец, не сожгли.

Сын его, Ефраим Леви, получил религиозное воспитание в Манхейме, Карлсруэ, Тюбингене, Рейтлингене, Аугсбурге, Ратисбоне — словом, во всех городах, откуда с великим религиозным рвением изгоняли евреев. В Лейпциге его мать, загнанная как лошадь, наконец скончалась, он же в Лейпциге узнал любовь и женился.

Маркграф не отличался ни набожностью, ни скупостью, ни жестокосердием — ему просто не хватало денег. И он прибег к излюбленной забаве немецких князей, которая состояла в том, чтобы изгонять «нечестивых» и присваивать их добро. Молодой Ефраим бежал со своей новой семьей в Магдебург, откуда направился в Брауншвейг. Так вступил он на смертный путь Праведников: в Касселе его убили камнем.

Сказаний о нем нет. Авторы хроник словно избегали говорить о нем. Иехуда Бен Аредет посвятил ему строк восемь, не более. Но Шимон Реувени из Мантуи, мягкосердечный автор итальянских хроник, все же упоминает «вьющиеся кудри Ефраима Леви, его смеющиеся глаза и плавные, как у танцора, движения. Говорят, с того самого дня, когда он познал свою жену, он не переставал смеяться, несмотря ни на что. Поэтому люди прозвали его Соловьем Талмуда, что, пожалуй, свидетельствует об их недостаточном почтении к Праведнику».

Только эти строки и дают представление об обаятельной личности молодого Ефраима Леви, слишком счастливая любовь которого выглядит не достойной Ламедвавника. Даже его последние муки не смягчили еврейских историков, и они не упомянули дату его смерти.

Жизнь сына его, Ионатана, казалась людям более достойной одобрения. Бродячий торговец бусами, бисером и прочей стеклянной мелочью и одновременно пророк, он исходил всю Богемию и Моравию. Едва войдя в ворота гетто, он распаковывал товар, а покончив с торговлей, ставил короб у ног и заводил с прохожими беседы о Боге, об ангелах, о пришествии Мессии.

Рыжая растительность на его лице доходила до самых глаз, и, что еще неприятнее, голос поднимался до фальцета. Но, говорит хроника, «на каждое из наших страданий у него была припасена своя притча».

В те времена, по распоряжению папы Иннокентия III, все евреи Запада носили позорное платье. После пяти веков этого установления несчастные жертвы претерпели странное превращение: под колпаком, известным под названием *pileum cornutum*, простолюдинам чудились два маленьких рога, а на спине, в том месте, где кончается верхняя отрезная часть одежды, фантазия рисовала им хвост, и было общеизвестно, что на ногах у евреев — раздвоенные копыта. Те, кто раздевал покойников, удивлялись последнему колдовству, в силу которого их тела вновь приобретали человеческий вид. Но, как правило, к еврею, живому или мертвому, прикасались только концом палки.

В том долгом странствии, которое составило всю его жизнь, рабби Ионатан часто испытывал на себе и голод, и холод, и действие эдикта папы Иннокентия III. Каждая клеточка его тела помнила о них. Иехуда Бен Ардет пишет так: под конец у Праведника на теле живого места не осталось. В Полоцке, где он застрял на зиму 1552 года, ему пришлось расстаться со своим коробом. По счастливой случайности стало известно, что он один из Ламедвавников. Тут калеку окружили заботой, женили, приняли в иешиву великого Иехизля Михеля, где одиннадцать лет пролетели для него, как один день.

Тогда Иван Грозный молниеносно захватил Полоцк.

Как известно, всех евреев утопили в Двине, кроме тех, кто во спасение свое целовал крест и давал себя окропить святой водой.

Царю захотелось выставить напоказ в Москве пару окропленных «дрожащих раввинчиков», и были приложены все старания, чтобы обратить рабби Иехиэля и рабби Ионатана. Поскольку из этого ничего не вышло, их привязали к хвосту монгольской лошадки, потом останки вздернули на дубовый сук, где уже висели два собачьих трупа, и в довершение всего к раскачивающимся на ветру обрубкам прикрепили вывеску: «четверо нечистых — два пса и два еврея — все одной веры».

Авторы хроник предпочитали заканчивать эту историю на лирической ноте. Так, Иехуда Бен Ардет, обычно очень сухой в своих описаниях, восклицает:

«О! Как пали герои...»

В среду 5 ноября 1611 года в главную синагогу города Вильно постучалась крепостная старуха. Звали ее Мария Коземеницкая. Была она христианкой, но воспитала еврейского ребенка. И, может быть, скромно закончила она, евреи соберут деньги, чтобы избавить его от рекрутского набора.

Под градом вопросов она сначала клялась всеми святыми, что зачала от бродячего торговца мелким стеклянным товаром, затем сказала, что подобрала ребенка у ворот старого гетто наутро после покорения Полоцка русскими, и, наконец, рассказала правду... Когда-то она служила кухаркой у раввина Ионатана, и его молодая жена своими руками отдала ей мальчика в тот момент, когда русские высаживали дверь. Ночью она бежала в родную деревню. Годы ее были немолодые, она растрогалась и оставила невинную душу у себя — вот и все. «И пусть меня простят», — вдруг расплакалась она.

— Вернись к себе в деревню, — сказал раввин, —

и пришли к нам этого юношу. Если он обрезан по закону, мы заплатим за него.

Прошло два года.

Благоразумный раввин в свое время не сказал никому ни слова, с чем теперь и поздравлял себя.

Но однажды вечером, выходя из синагоги, он столкнулся с молодым крестьянином, который растерянно стоял в подворотне. Лицо его осунулось от усталости, а в глазах светилось одновременно выражение надменности и ужаса.

— Эй, ты, раввин, сдается мне, что я — один из ваших. Ну, а коли так, растолкуй мне, как стать собакой-евреем!

На следующий день он произнес горестным тоном:

— Свинье место в свинарнике, а еврею — в гетто. Уж кто ты есть, тем тебе и быть. Что, скажешь, не так?

А спустя месяц признался:

— Истинно хочу уважить вас, да не выходит у меня, словно с души воротит.

Постепенно он стал доверчивее: рассказал, как терзают его ярость и стыд, как его взяли в армию, как глубокой ночью отважился он на непоправимо безумный шаг и бежал.

— Проснулся я — слышу, все они храпят похристиански. Езри, Езри, сказал я себе, не из того ты чрева вышел, что мнится тебе, и кто ты есть, тот ты и есть, стало быть, свинья, коли от себя отрекаешься...

Пораженный этой мыслью, он одолел часового, затем оглушил прохожего, с которого снял одежду, и, как зверь, ринувшийся во тьму, пустился в путь на Вильно, что в двухстах верстах от его гарнизона.

Отовсюду приходили люди, знавшие его отца, Праведника Ионатана Леви. Пораженные грубостью сына, они искали сходства с отцом, вглядывались в его глаза. Говорят, он пять лет потратил на то, чтобы снова стать похожим на рабби Ионатана. Он громко смеялся, обнаружив, что у него еврейские во-

лосы, еврейские глаза, длинный нос с горбинкой, как у еврея. Но люди все еще боялись, как бы в нем опять не проснулся грубый крестьянин. Иногда на него нападали приступы ярости, он говорил о том, что нужно «выбраться из ямы», произносил такие ругательства — хоть уши затыкай. Потом замыкался в себе и целыми неделями сосредоточенно молчал, думал и мучился страданиями. В своем знаменитом «Описании чуда» мудрый раввин Вильно сообщает: «Не понимая смысла какого-нибудь ивритского слова, сын Праведника колотил себя по голове большими крестьянскими руками, словно хотел выбить из нее польскую породу».

Жена раввина заметила, что по ночам пришелец кричит во сне, то поминает библейских пророков, то взывает к какому-то святому Иоанну, покровителю его христианского детства. Однажды посреди молитвы он рухнул наземь и стал бить себя кулаками по вискам. Безумие его было тотчас же воспринято как проявление святости. По свидетельству виленского раввина, «к тому дню, когда Всевышний, сжалившись над ним, послал ему смерть, Нехемии Леви удалось, наконец, заменить свои католические мозги еврейскими».

Вся жизнь его сына, Якова Леви, — отчаянное бегство от неумолимого «благословения Божьего». Тихое существо с тонкими, длинными руками и ногами, с дряблым лицом и вытянутыми, как у пугливого зайца, ушами, он был одержим желанием остаться в неизвестности. Он даже сгорбился в три погибели, словно хотел скрыть от окружающих свой высокий рост. Как преследуемый человек пытается скрыться в толпе, так и он спрятался в свое ремесло — стал простым шорником, незаметной личностью.

Когда ему рассказывали о его предках, он делал вид, что это недоразумение, доказывал, что, кроме страха, ничего не испытывает. «Я лишь букашка, —

сказал он однажды своим нескромным почитателям, — жалкая букашка. Что вы от меня хотите?»

В один прекрасный день он исчез.

К счастью, небо наградило его болтливой женой. Сто раз клялась она молчать, но долго не выдерживала и, наклонясь к уху соседки, таинственно начинала:

— На вид мой муж вроде ничего особенного... Верно?

И признание, сделанное под страшным секретом, разнеслось, как огонь по ниве. Раввин призвал скромного шорника и хотя не предложил ему свою должность, все же объявил его блаженным, окруженным ореолом опасной славы. Во всех городах, где доводилось очутиться супружеской паре, история повторялась. «Дабы не мог он насладиться покоем безвестности, — пишет Меир из Носака, — Бог поместил подле него недремлющего стража — язык его жены».

Кончилось тем, что, доведенный до исступления, Яков расстался с женой и укрылся в одной из улочек киевского гетто, где тихо-мирно занялся своим ремеслом. Вскоре, однако, напали на его след, но из боязни спугнуть начали наблюдать за ним, не уступая ему в скрытности. Соглядатаи заметили, что он распрямился, глаза просветлели, и за семь лет он позволил себе по меньшей мере трижды открыто предаться веселью. Это были, видимо, счастливые годы.

И только его смерть оправдала всеобщие ожидания.

«...Казак заперли евреев в синагоге и велели всем раздеться — мужчинам и женщинам. Кое-кто уже начал снимать с себя платье, когда из толпы вышел вперед простой человек, которого слухи породнили со знаменитым родом Леви из Йорка. Повернувшись лицом к несчастным, он вдруг сгорбился и нетвердым голосом затянул молитву о прощении рабби Соломона Бен Шимона из Майнца: «Кровавыми сле-

зами оплакиваю я...» Удар секиры оборвал его пение, но другие голоса уже подхватили молитву, и все новые и новые голоса присоединялись к хору... а потом... уже некому было, ибо осталась одна только кровь. Вот, как было у нас в Киеве 16 ноября 1723 года, в ту страшную гайдаматчину» (Моисей Добецкий, «История евреев Киева»).

Сын его, Хаим, прозванный Провозвестником, унаследовал отцовскую скромность. Кроме того, он из всего извлекал познания, будь то отдых, занятия, вещи или люди. «Провозвестник внимал всем голосам и, казалось, готов был прислушаться к жалобам самой ничтожной былинки».

Сам же он к тому времени был уже далеко не былинкой. Это был настоящий мужчина, скроенный на польский лад, и до того прыткий, что обитатели гетто боялись за своих дочерей.

Злые языки болтали, что неженатого молодого рабби внезапно отослали из Киева не зря.

И в самом деле, ему надлежало согласно срочному предписанию старейшин отправиться к рабби Исразлю Баал-Шем-Тову, знаменитому вероучителю, дабы приумножить знания и очистить сердце свое, как ему сказали.

После десяти лет уединения на самом диком склоне Карпат Баал-Шем-Тов обосновался в родном местечке Меджибоже на Подолии, и его влияние простиралось на всю еврейскую Польшу.

В Меджибож стекались люди излечить язву, разрешить сомнения, изгнать беса. Мудрецы и безумцы, простаки и развратники, ревнители веры и отступники — все льнули к отшельнику. Не смея открыться, Хаим Леви выполнял черную работу, спал на гумне, отведенном для больных, и трепетно ловил светлый взгляд Баал-Шем-Това, или, сокращенно, Бешта. Так прошло пять лет. Хаим настолько стал

похож на простого работника, что паломники из Киева его не узнавали.

Единственный его талант, который видели все, был умение танцевать. Когда танцоры собирались в круг, чтобы возвеселить сердце Всевышнего. Хаим так высоко подпрыгивал и издавал такие крики восторга, что некоторые хасиды сочли это неприличным. Тогда его отрядили к больным, и он танцевал среди них, им на радость.

Позднее, когда правда о нем дошла до всех, его прозвали еще и Божьим Плясуном.

Однажды Баал-Шем получил послание от старого гаона из Киева. Ему надлежало немедленно объявить, что в Меджибоже скрывается Праведник. Опросили всех паломников: больных, ученых, одержимых, раввинов, предсказателей... А на следующий день обнаружили, что работник сбежал. Тут же посыпались рассказы о нем: каждый что-нибудь вспоминал — и по ночам он на гумне плясал, и за больными ухаживал, и чего только не делал. А Баал-Шем-Тов, утирая слезу, просто сказал: «Он был здоровым среди больных, и я этого не заметил».

Капля за каплей начали просачиваться новости.

Стало известно, что бедный Хаим бродит по деревням, проповедует на площадях или занимается каким-нибудь особым ремеслом, например, вправляет кости (как людям, так и животным). Многие авторы хроник отмечают, что проповедовал он неохотно, видимо, только по велению свыше. Пятнадцать лет столь отчаянного одиночества так прославили его личность, что во многих рассказах она отождествляется с личностью самого Баал-Шем-Това, чья душа якобы переселилась в странника. В грудах старых пергаментов невозможно отделить быль от вымысла. Тем не менее, видимо, Провозвестник действительно часто жила в деревнях, ничего не вешая, а занимаясь только врачеванием, так что он оставался вдвойне незамеченным.

Но слух о нем всегда опережал его, и вскоре стран-

ника стали узнавать по некоторым приметам: во-первых, он был высок, во-вторых, лицо покрывали шрамы, и, наконец, у него не хватало одного уха — оторвали польские крестьяне. Тогда же заметили, что он избегает больших городов, где его приметы слишком известны.

Однажды зимним вечером 1792 года пришел он в местечко Земиоцк Мойдинского уезда Белостокской губернии и рухнул у порога одного еврейского дома. Лицо его было так измучено, сапоги так изношены и настолько задубели от холода, что поначалу его приняли за одного из бесчисленных бродячих торговцев, которые бороздили всю Польшу и места еврейской оседлости в России. Ноги пришлось ему отрезать по колени. Когда он немного поправился, обитатели местечка смогли оценить его золотые руки и талант переписчика Торы. Каждый день хозяин дома отвозил его на тележке в синагогу. От несчастного остался жалкий обрубок, но он оказывал мелкие услуги и потому не был так уж в тягость. «Говорил он, — пишет рабби Лейб из Сасова, — только о делах житейских: о хлебе, о вине».

Сидел себе Праведник в своей тележке, как живая свеча, поставленная в темный угол синагоги, недалеко от амвона, когда случилось, что местный раввин ошибся в толковании священной книги. Хаим поднял брови, подставил свое единственное ухо, осторожно прочистил горло, еще раз проверил самого себя — нет, молчать о правде Божьей — тяжкий, тяжкий грех... Наконец, в последний раз проверив себя, он оперся рукой на тележку и попросил разрешения сказать слово. Его тут же засыпали вопросами. Мучаясь от смущения, он блестяще на них ответил. В довершение всего старый раввин Земиоцка впал в какой-то слезный экстаз.

— Владыка вселенной! — восклицал он между приступами рыданий. — Владыка душ наших! Повелитель мира! Только послушайте, какие перлы вдруг исторгли эти уста! О, нет, дети мои! Не могу я

дольше оставаться вашим раввином, ибо сей несчастный скиталец куда учнее меня. Да что я говорю! Ученее? Только ли учнее?

И, подойдя к нему, он обнял своего ошеломленного преемника.

ЗЕМИОЦК

1

Рассказывать о том, как Хаим пытался всех перехитрить, как, в конце концов, его разоблачили, как у него получилось с женитьбой, на какие уловки он пускался, только бы его торжественно не отправили в Киев... Нет, не подходящее это дело для исторического повествования. Да и все равно в эти рассказы никто не поверит.

Остается только сказать, что, несмотря на самые тонкие ухищрения, ему вскоре пришлось отказаться от тележки, на которой его возили в синагогу.

Один набожный ремесленник соорудил для него нечто вроде кресла на колесах. Не кресло, а настоящий трон, обтянутый бархатом по самые спицы. На него торжественно усаживали Праведника, набрасывали ему на бедра парчевую накидку, дабы скрыть увечье, справа шел кантор, слева вышагивал отставной раввин, чтобы в случае надобности быть поближе к здоровому уху Праведника, старейшина катил трон, а сзади, воздавая почести Божьему Плясуну, следовал целый кортеж верующих.

Поначалу дети тоже выказывали ему уважение, но однажды — разумеется, не без наущения какого-то сорванца — они преградили дорогу процессии, выставив некоторое подобие бывшей тележки.

Мужчины бросились унимать проказников. Хаим ликовал.

— Оставьте их, — сказал он, — они же смеются над троном, над тележкой они не смеялись.

Этот довод не утешил евреев Земиоцка — они сочли себя оскорбленными. Собрали совет, вспомнили о том, что существуют деревянные ноги, и заказали столяру выпилить такую пару, чтоб была достойна владельца: велели обить кожей, а сверху покрыть тонким шелком. Роскошные ноги торжественно преподнесли Блаженному с тем, чтобы он немедленно начал учиться на них ходить. Но они оказались просто орудием пыток. Вместо того, чтобы постепенно привыкнуть к ним и загрузеть, культы делались все более и более чувствительными, пока однажды не нагноились. Пришлось отказаться от деревянных ног. В комнате Праведника воздвигли ковчег завета и начали там молиться. На том и кончились унижительные выезды в синагогу.

Опьяненные присутствием великого человека в их среде, хотя и оставаясь, по их собственному признанию, немного выбитыми из колеи, обитатели Земиоцка задумали возвеличить еще больше славу Праведника, приписав ему репутацию чудотворца, против чего не возражали местные коммерсанты. Хаим, правда, сразу же заявил, что никаким особым даром не наделен, разве что слезным. Тем не менее он принимал у себя больных, прописывал им разные травы или другие деревенские средства, а иногда врачевал животных на соседнем гумне.

Но даже в тех случаях, когда ему нечем было помочь страждущему, он всегда с ним беседовал. Нет, не о высоких материях, как можно было бы ожидать, а о самых простых, обыденных вещах: о семейной жизни, о работе, о детях, о корове, о курах... Странное дело — люди уходили довольные и рассказывали, что он умеет слушать, что, следя за вашим рассказом, начинает понимать, какой червячок точит вам душу. Если же он вас плохо слышит, то подставляет левое ухо, говорили они, прикладывает к нему ладонь и добродушно подмигивает: «Как же ты хочешь, чтобы я интересовался твоей душой, если ты не считаешься с моим больным ухом?»

— Ой, старуха, старуха, не благодари ты меня: душа моя льнет к тебе потому, что, кроме нее, мне нечего тебе дать, — сказал он однажды нищенке.

Он мог бы открыть иешиву, так много народу стекалось к нему из самых отдаленных мест: и ученые талмудисты, и богатые цаддики в кунных шубах, и бедные странники, чьи глаза горят священным огнем, — все приходили «вести ученые споры» с Ламеддванником. Но он либо молчал, либо отделялся банальными фразами о тайне познания.

Когда же светило солнце, он и вовсе не впускал к себе бородатых талмудистов и, подобравшись к окну, подолгу сидел там, вдыхая свежий воздух и глядя с тоской на далекий горизонт. В такие дни за домом устанавливалась тайная слежка, потому что соседские мальчишки так и норовили юркнуть в комнату Праведника. Под подушкой у него они находили то изюм, то орешки, то миндаль, то иные лакомства, которые Праведник для них выпрашивал у своих почитателей. Взамен угощения он заводил с детьми бесконечные беседы — о погоде, о прочности снега и о том, почему вишни вкуснее, если их есть прямо на дереве.

— Ох, дети мои! — восклицал он иногда среди шумного разговора. — Вы возвращаете мне ноги, — и, вздыхая, добавлял: — Ноги... Нет, пожалуй, не только ноги...

Однажды двое мальчишек очутились у него под кроватью. Захваченные врасплох приходом каббалистов, они там целый день грызли орехи, отчего у ученых мужей волосы на голове поднимались дыбом. Когда же маленькие челюсти начинали работать слишком громко, рабби Хаим просто замечал:

— Послушайте, дети мои, не забывайте, что я веду серьезную беседу.

Вконец растерянные посетители решили, что он заклинает домашних духов. Происшествие это несколько смутило жителей местечка.

Всем хотелось, чтобы Праведник предавался заня-

тиям, более достойным не только его самого, но и того почета, который ему оказывался. И действительно, вскоре после недоразумения с каббалистами в нем произошла перемена. Он попросил много чернил, бумаги и гусиных перьев. Все обрадовались, решив, что добряк образумился. Одни заявляли, что он составляет большой комментарий к трактату Таанит; по мнению других, речь шла о фундаментальном толковании понятия *цдака*¹.

Наконец, выяснилась истина: Праведник писал сказки для детей! Он их сочинял всю жизнь.

Когда родился первый сын, рабби Хаим возрадовался: все доведено до конца, круг его жизни завершился. Иначе как бы он предстал перед Всевышним? В тележке? Смешно даже! Потом сердце его на миг сжалось от страха: «О, Владыка! Что за жалкий дар приношу я Тебе! Где опустится на этот раз твой разящий меч? Какая смерть мне уготована?» Жизнь обитателей местечка текла мирно под ясным небом Земиоцка, тем временем как Хаим, размышляя над кончиной каждого из своих многочисленных предков, уповал на всемогущего Создателя.

Хаиму было под сорок. Мало кто из Праведников так долго жил, теперь уже, видимо, дело дней, ну, пусть недель... Но когда прошло полгода, действительность предстала перед ним с ошеломляющей ясностью: Земиоцк — такой спокойный городишко и так удален от всего мира, что даже Праведнику ничего не остается, как умереть на своей постели!

Человеческие бури, говорят, проходят обычно дорогами, проложенными для торговли и промышленности. А Земиоцк свернулся клубочком в долине и был укрыт от посторонних взглядов: окрестные жители проходили по холмам, поблизости не было ни помещика, ни священника, и крестьяне относились к

¹ Цдака — праведность, справедливость, милостыня (иврит).

этим евреям-ремесленникам и резчикам по хрустально по-человечески. С незапамятных времен, лет сто уже, если не больше, верующие евреи там тихо умирали на своих постелях и ничего не боялись, кроме чумы, холеры и священного имени Божьего.

Хаим призадумался. Каждую ночь он стал выбираться на дорогу, ковылял по ней на деревянных ногах или катил во всю мочь на тележке. Но кончалось всегда одним и тем же: жители местечка его догоняли, силой укладывали на большую кровать, поднимали ее на плечи и под торжественные звуки *шофара*¹, как гроб, несли назад в свой Богом забытый городишко.

Когда живот его жены округлился снова, взволновался весь Земиоцк. Сначала шептались по углам, потом собрали совет. Наконец, делегация самых почетных граждан Земиоцка отправилась к изголовью Праведника поведать ему о всеобщих опасениях. Они сказали примерно следующее:

— О, почтеннейший Праведник! Что вы наделали, что натворили? Ваши отцы давали миру одного сына и затем умирали... А что, если следующий ребенок тоже будет мальчиком? Что вы скажете тогда? Который из двух будет Ламедвавником?

— Друзья мои, — ответил им Хаим, — более двух лет не познавал я жены моей, боясь идти наперекор предначертаниям Всевышнего. Но потом я подумал, что нехорошо мужчине так обращаться со своей женой. Если Бог захочет, так будет девочка.

— А если все-таки будет мальчик? — не унимался юный ешиботник.

— Если Бог захочет, — повторил Хаим, — будет девочка.

Спустя несколько месяцев родился мальчик. Снова делегаты попросили у Праведника аудиенцию. Они застали его в крайне подавленном состоянии духа. Он лежал на кровати и смотрел такими страдальче-

¹ Шофар — трубный рог (иврит).

скими глазами, словно сам только что вышел из родовых мук.

— Ну что вы меня терзаете? — взмолился он. — Не я решаю такие дела. Я ничего не делал, чтобы отдалить от себя смерть.

— Но и рождение второго ребенка отдалить не старались, — понимающе сказал ешиботник. — У вас красивая жена...

— Она еще и добрая, — возразил Хаим. — Может быть, — добавил он со вздохом, — я вовсе и не Ламедвавник. Вы соорудили мне трон, но воссел я на него против своей воли. Я никогда не чувствовал себя Ламедвавником, не слышал никакого внутреннего голоса. Даже вознесшись столь высоко, я продолжал считать, что последним Праведником в нашем роду был мой отец, бедный Яков, да отогреет Бог его душу. Явил ли я вам хоть когда-нибудь чудо? Я просил только тележку.

— А воссели на трон! — по-прежнему не унимался ешиботник. — Так бы сразу и говорили, что никакой вы не Праведник!

— Что вам сказать, друзья мои? Увы, я всего лишь человек!

— Увы, что верно, то верно, вы это вполне доказали своей жене, — криво улыбнулся ешиботник.

В комнате воцарилось тягостное молчание.

Две слезы выкатились из глубоко запавших глаз Праведника. Медленно, одна за другой, исчезли они в шрамах на его лице.

— Сказано, что Бог, — ответил он спокойно, — исполняет желания тех, чьи помыслы устремлены к Нему. Вот Он и исполнил твое желание найти удобный случай высмеять меня.

Эти слова пронзили сердца собравшихся. А ешиботник, ко всеобщему удивлению, начал душераздирающе кричать и застыл в том положении, в каком настигла его речь Праведника. Когда снова наступила тишина, все по очереди подошли к изголовью калеки, поцеловали у него руку и потихоньку на цы-

почках покинули комнату. Ни один человек из тех, кто присутствовал при этой сцене, словом о ней не обмолвился, но по всей Польше разнесся слух, что Бог не решился послать смерть Хаиму Леви, чье сердце было подобно сердцу ребенка.

К великому смущению рабби Хаима, его жена родила, кроме дочек, еще троих сыновей.

Сначала Хаим считал, что отличить будущего Праведника среди его братьев окажется не труднее, чем лебедя среди утиног выводка. Но, по мере того, как сыновья подрастали, он вынужден был признать, что ни в одном из них не проявлялось Божественное присутствие. Злоба раздирала первых четырех, и они грызлись между собой, оспаривая право на высокое звание — вполне достаточное доказательство тому, что ни один из них его не имел, наивно полагал Хаим.

Ну, а пятого просто не приходилось принимать в расчет: безбожник, глупец, самый настоящий *шлимazel*¹. «Выродок-а-не-брат» — вот какое он получил прозвище. Читать не умел, в голове было пусто — вряд ли хоть одна мысль ее когда-нибудь посетила. Вместо того, чтобы молиться или обрабатывать хрусталь, он ухаживал за своими дурацкими овощами, которые растут сами собой. Умей только есть — другого искусства они не требуют! Жил он в вонючей хибаре, среди собак, черепах, лесных мышей и прочей мрази. И обращался с этими тварями, как с родными братьями, — кормил, поил, высвистывал их, в ноздри им дул... Родился он уродом: пустой взгляд, отвислая губа. Появление в семье идиота — знаменательный признак. Хаим видел в нем подтверждение тому, что Бог взял назад свое слово.

¹ Неудачник.

Легкая кончина Праведника была омрачена тем, что Выродок-а-не-брат при ней не присутствовал: он спокойно занимался своими тварями — пас одних, выгуливал других.

Патриарх допустил к одру только тех сыновей, которые были подле него. Они спорили между собой, кому достанется в наследство высокое звание, а умирающий спрашивал себя, достоин ли этого кто-нибудь из них. А так как они, кроме того, еще и скудное имущество никак не могли поделить, то рабби Хаим горько плакал, слушая их. Говорят, он каялся в том, что так долго жил — и ради чего, спрашивается? Чтобы умереть в своей постели, как женщина, как христианин?

Вдруг он повеселел и, откинувшись на подушки, тихо засмеялся сдавленным смехом.

— Этого еще не хватало! — холодно сказал старший сын, раздраженно поглаживая бороду. — Теперь что будем делать?

Но тут, собравшись с силами, умирающий начал снова ровно дышать, и лицо его озарилось легкой улыбкой, хотя в уголках черного рта застыли жемчужные пузырьки.

Взглянул оживился, лицо порозовело.

— Дети, — произнес он с несвойственной ему злобой, — не впадайте в заблуждение: мне осталось жить самую малость, но я в здравом уме.

Затем, прикрыв невидящие глаза морщинистыми веками, он, вероятно, так глубоко ушел в свои мысли, что больше не чувствовал ни умирающего тела, ни ноющих костей, ни надвигающейся на него тьмы.

— Дети, — сказал он полусонным голосом, — паскудные дети мои, разве, умирая, человек не имеет права улыбаться, если Бог посылает ему легкую смерть? Нет, я еще не чувствую, чтобы слабоумие коснулось моего чела... ни малейшего его признака еще не чувствую... — сказал он в уже мокрую от пота седую бороду. — Навострите уши и послушайте, почему я сейчас смеялся. Потому что сквозь

слезы я услышал: «Возлюбленный мой Хаим, слабеет твое дыхание, поспеши же объявить Ламедвавником того, которому сыновья твои дали прозвище «Выродок-а-не-брат», и да будет он им до последнего вздоха».

И, снова засмеявшись от счастья, старый Хаим вздрогнул, икнул, еле слышно проговорил: «А знаете... Бог забавляется» — и умер.

2

Вернувшись вечером с поля, Выродок-а-не-брат начал по-дурацки плакать навзрыд у изголовья отца, вместо того, чтобы радоваться только что унаследованному чудесному венцу.

А уже на следующий день он пригрозил, что покинет Земиоцк, если к нему будут приставать, чтобы он стал раввином.

Ни запугивания, ни посулы земных благ — ничего не помогло. Он не хотел отказаться ни от одной из своих привычек. Каждое утро, съев миску жирного супу, новый Праведник вскидывал заступ на плечо, высвистывал своих собак и отправлялся в поле, где польский крестьянин сдавал ему клочок земли. Подношения гнили в его хижине. Изысканные пирожные, медовые пряники, печенья на сливочном масле — все, чего не хотели его собаки, шло соседским детям. Сам же Праведник довольствовался здоровенными порциями крестьянского супу, в который он макал черный хлеб или, за неимением такового, слобную булочку.

И, хотя был он невероятно уродливый, невероятно грязный, невероятно глупый да еще и мочился где попало (кроме синагоги, в которой он сидел, словно со страху аршин проглотил), самые красивые девушки Земиоцка мечтали только о нем. Потому что теперь (в чудесном свете славы) его недостатки идеализировались и выглядели просто достоинствами. Муж-

чины — и те не могли устоять перед такой славой. Подавленные, уничтоженные, но в глубине души восхищенные, они нервно крутили пейсы, приговаривая: «И не скажешь, что именно, а что-то в нем все же есть».

К нему приводили самых завидных невест. Но Выродок-а-не-брат, скрестив руки на груди или ковыряя в носу, как ни в чем не бывало спокойно разглядывал весь этот цветник и... не двигался с места. Малейшее упоминание о женитьбе выводило его из себя. Однажды какой-то отважный папаша в полной уверенности, что выражает тайные помыслы Праведника, наклонился к его уху, показал на свою дочь и, выбрав слова подходчивее, прошептал:

— А не хочется ли тебе, Выродок-а-не-брат, уложить эту голубку к себе в постель?

Праведник перевел влажный взгляд на девушку, глуповато ухмыльнулся в знак ободрения, поднял кулак наподобие молота и опустил его на голову смельчака. К предложению больше не возвращались.

Был у Праведника всего один-единственный друг — племянник его, Иехошуа Леви, по прозвищу Рассеянный, ребенок во всех отношениях нормальный, если не считать явно выраженной мечтательности. Маленький Иехошуа ходил иногда со своим дядей в поле и смотрел, как тот трудится. Впоследствии утверждали, что Выродок-а-не-брат подолгу беседовал с мальчиком, хотя никто ни разу не заставал их за этим занятием: когда бы их ни видели, один всегда молча копал землю, другой — так же молча мечтал. Выродок-а-не-брат как-то подарил племяннику рыжую собачонку — вот и все. Но много времени спустя вспоминали, что в отличие от всех остальных мальчик никогда не называл дядю Выродком, а, переделав его прозвище по-своему, называл просто «Братом». Сначала это сходило за детскую рассеянность и только позднее озарилось особым светом.

Когда пришло время умирать (был чудесный май-

ский вечер), Выродок-а-не-брат потребовал, чтобы к нему впустили его собак, козу и пару коричневых диких голубей. Но семейство Леви настаивало, чтобы прежде он назвал имя своего преемника, а так как он делал вид, будто знать ничего не знает, то они и не допускали к умирающему всю эту воющую, BLEЮЩУЮ и воркующую компанию.

Рассказывают, — но кто знает, правду ли? — что семья Леви приставала к Выродку до последнего его вздоха: он не хотел никого называть.

— Сжальтесь, сжальтесь надо мной, — молил он. — Клянусь вам, я не слышу никакого голоса свыше!

Короче говоря, еще долгое время после смерти Выродка злые языки болтали, будто семья не оставляла его в покое, даже когда уже наступила агония. Поэтому из боязни, что ему так и не дадут умереть, он уступил и прежде, чем уснуть вечным сном Праведника, назвал своего племянника Иехошуа Леви. «ну, знаете, у которого моя рыжая собака?»

Теперь уже всем стало ясно, что венец славы может свалиться на какую угодно голову. Создались партии. Некоторые нещадно давили на названного Выродком Праведника, и жизнь Иехошуа Леви превратилась в сплошное страдание. Он пообещал своей второй жене — «увы, такой молодой!» — назначить Праведником плоть от плоти их сына, но во время агонии в последнюю минуту у него сорвалось с языка имя какого-то ничем не отличающегося племянника. Тут уж все только руками развели, не зная, что и думать. Несчастные Леви тщетно пытались распознать приметы Божьего избранника. Усердные моления? Работа в поле? Любовь к животным? К людям? Высокие поступки? Или жалкое, зато такое спокойное, существование в Земиоцке? Кто будет Избранником?

Так дни текли за днями — песчинки, уходящие в бесконечность, — а земиоцкие евреи упорно продолжали считать, что для людей время остановилось на

горе Синай: они спокойно жили по Божьему времени, которое не показывают ни одни часы. Какое значение имеет день или даже век? Ведь от сотворения мира и до наших дней сердце Всевышнего успело произвести всего половину удара.

Все витали мыслями в облаках, и никто не удосужился посмотреть, какие же изменения производит время у христиан. А меж тем рождалась польская промышленность, она подтачивала основы еврейских ремесел, и каждый новый завод железным каблуком давил сотни надомных работников. Порою старики вспоминали лучшие времена, куда более сообразные с семейными устоями и синагогальным укладом. Но войти в эти Богом проклятые вертепы, в эти фабрики, где не соблюдается суббота и нельзя выполнять, как у себя дома, шестьсот тринадцать мицвот¹, — ни за что! И они благочестиво умирали с голоду.

Со временем более отважные из них и не столь строгие в соблюдении обрядов двинулись в Германию, Францию, Англию, часто даже добирались до Америки — Южной и Северной. Так и получилось, что почти треть польских евреев стала жить почтой, то есть почтовыми переводами, которые приходили от их «посланцев» из-за границы. То же самое происходило и с жителями Земиоцка, где обработка хрустала больше не кормила еврея.

Но семья Леви не получала никакой помощи «с почты» и даже не ждала ее.

Кому это не известно, что покинуть родину — значит отдаться на милость американских идолов, добровольно покинуть Бога! И если польские евреи считали, что лучшего места, чем Польша, для Бога нет, то семья Леви полагала, что особенно хорошо Он себя чувствует в Земиоцке, на территории, отве-

¹ Согласно еврейской религиозной традиции Тора содержит 613 повелений или заповедей: 248, обязывающих выполнение предписаний, и 365 запретов.

денной Праведникам. Поэтому они остались в Земиоцке нищенствовать, лишь бы быть поближе к Богу.

Так как они были теперь просто нищими, то бедняки Земиоцка собирали для них нечто вроде подаяния. Ведь богатые испытывают сострадание только к себе подобным, верно же? В разгар летнего сезона семья Леви нанималась на работу в соседние хутора. Но польские крестьяне презирали тощие еврейские руки и платили им за труд такую же тощую мзду.

К концу XIX века детей Леви распознавали очень просто: ни кровинки в лице.

Мордехай Леви (дед нашего друга Эрни) родился в бедной семье резчика по хрусталу. В детстве у него было узкое лицо, живой взгляд и огромный нос с горбинкой, который как будто тянул все лицо вперед. В те годы еще не было ясных признаков того, что по натуре он искатель приключений.

Однажды, когда на столе не оказалось даже традиционной для бедняков селедки, Мордехай заявил, что завтра же идет наниматься на соседние фермы. Братья удивленно на него посмотрели, а мать подняла крик. Она вопила, что польские крестьяне обидят его, побьют, убьют и Бог знает что еще с ним сделают.

Началось с того, что ему вообще отказали: евреев брали на работу только в случае крайней необходимости, и то скрепя сердце. Наконец, после многих дней тщетных поисков его наняли копать картошку на каком-то очень далеком хуторе. Управляющий сказал:

— Ну и здоровенный же ты еврей! Что твой дуб! Положу тебе десять фунтов картошки в день. Только вот, не побоишься ли ты драться?

Мордехай встретил холодный взгляд управляющего, но ничего не ответил.

На следующее утро он встал за два часа до восхода солнца. Мать не хотела его отпускать: с ним бу-

дет то же самое, что было с тем и вон с тем, и вон с этим. А что с ними было? Все они вернулись в крови! Мордехай ее слушал и улыбался: он же — «что твой дуб».

Но когда в сером свете наступающего дня он оказался на дороге один и все тепло от жидкого чая и наспех проглоченной перед уходом картошки из него вышло, он вспомнил и другие слова управляющего. Боже мой, подумал он, ну чего бояться: ведь идет он туда работать, со всеми будет ниже травы и тише воды; у самого черта не хватит духу его обидеть...

Утро прошло спокойно. Широко расставив ноги, он усердно орудовал мотыгой, подкапывал жухлый картофельный куст, освобождал его от налипшей земли и снятую картошку клал на край канавы. Слева и справа от него продвигались вперед рядами польские батраки — примерно с той же скоростью, что и он. Его заботило только одно: не отстать бы. Поэтому он не замечал, с каким злобным удивлением смотрели они на огромного еврейского подростка. Ишь ты какой! Степенный и в черный длинный кафтан вырядился! А мотыгой-то как машет! Прямо тебе лихой кузнец и усердный ксендз сразу!

Дойдя до середины поля, он снял свою круглую черную шляпу и положил на кучку картофеля.

Но пот по-прежнему застилал глаза, и еще через десять шагов он оставил на борозде и аккуратно сложенный кафтан.

Когда, наконец, подвижный ряд сборщиков картофеля почти достиг края поля, спина у Мордехая так ныла, что он не мог распрямиться. Будто тысячи паучьих лап впились в нее и раздирают на части. Согнутый в три погибели, он медленно поднял мотыгу и так же медленно ударил ею по комку земли. «Боже!» — сказал он про себя и тут же почувствовал, что в глубине души впервые зародились слова: «Помоги рабу Твоему!». Мордехай повторял мольбу у каждого куста. Только благодаря ей, как он полагал,

ему и удалось кончить борозду одновременно с поляками.

В полдень он взял шляпу и кафтан и, дрожа от холода и смутного страха, подошел к костру, вокруг которого сидели батраки.

При виде его они замолчали. Он присел на корточки и сунул в золу три картофелины. Эти молчаливые взгляды наполняли его душу смертельной тоской. Управляющий ушел по своим делам, и Мордехай почувствовал, что попал в волчью пасть — еще движение, челюсти сомкнутся, и острые зубы разорвут его на части. Тяжело дыша от сдавившего грудь страха, он вынул из золы одну картофелину и стал усердно перекачивать ее с ладони на ладонь.

— А есть и такие, что, не спросясь никого, к чужому костру пристраиваются! — прогремел сзади чей-то голос.

Мордехай в испуге уронил картофелину и приподнялся, выставив вперед локоть, словно защищаясь от неминуемого удара.

— Я не знал, панове, — пролепетал он из-под руки, с трудом подбирая польские слова, — простите меня, я верил...

— Слыхали? — радостно заорал поляк. — Нет, вы только послушайте его! Он «верил»!

Крестьянин был примерно его ровесник. Несмотря на лютый холод, он стоял в одной рубашке с закатанными рукавами, и из расстегнутого ворота виднелась бычья шея. Он ухарски подбоченился, словно припаял жилистые руки к бокам, и эта поза еще больше подчеркивала его сходство с могучим животным.

Мордехай задрожал: красная рожа ухмылялась и светло-голубые глазки с чисто польским спокойствием сверлили его ненавидящим взглядом.

— Да чего тут разглагольствовать! — услышался чей-то голос. — Деритесь уже!

— Ну зачем же, зачем драться? — запротестовал Мордехай. И, повернувшись к неподвижно сидящим

крестьянам, он применил старый способ защиты, который рекомендуют в подобных случаях самые древние авторы.

— Панове, — начал он, выразительно разводя руками, — пожалуйста, сделайте милость. будьте свидетелями... я же не хотел обидеть этого пана. Верно? Ну, испек я картошку в золе, но не в обиду же... А раз обиды никакой не было...

Он стоял на коленях, голос его дрожал, но ораторское вдохновение вздымало ему грудь.

— А раз обиды никакой не было, то достаточно мне извиниться... Верно, панове?.. И ссоры как не бывало... — закончил он на болезненно тонкой ноте.

— Ну и мастаки же они языками чесать, эти жи-ды! — убежденно сказал молодой поляк и, размахнувшись что было силы, опрокинул Мордехая на землю.

Тот на четвереньках быстро отполз в сторонку. В нос бил запах земли. Далеко-далеко, где-то вне времени и пространства, крестьяне хохотали над его испуганным нелепым видом. Он стер с подбородка ком грязи, который попал в него, когда он падал.

Молодой поляк шагнул вперед. Мордехай приложил руку к ушибленному месту. Нужно показать этим людям, что они совершают непростительную ошибку! Нельзя заставлять драться еврея да еще религиозного, который всей душой противится насилию: оно никак не вяжется с учением наших мудрецов. А уж про молодого Леви и говорить не придется: он ни разу в жизни даже не присутствовал при драке, и что такое удар кулака, знает только понаслышке. Но обидчик, играя мускулами, продолжал наступать, и Мордехай понял, что доказывать что бы то ни было бесполезно.

— Да разве эта обезьяна способна что-нибудь понять? — закричал он вдруг на идиш.

Только он встал и собрался бежать, как в поясницу больно ударили деревянные башмаки, и он снова повалился ничком на землю. Всякий раз, когда Морде-

хай хотел подняться, молодой поляк колотил его по заду, спокойно приговаривая: «Жид пархатый, жид пархатый...» И такое торжество звенело в его голосе... Мордехай почувствовал, что презрение к этой обезьяне переходит в мучительный огонь, который пожирает душу, дает волю плоти и превращает его тело в натянутую тетиву...

Он не знал, как это случилось. Не помня себя от ярости, он вскочил на ноги.

— Ты что? — заорал он и бросился на молодого поляка.

3

Мордехай совсем озверел. Пьянея от крови, он колотил поверженного противника чем попало: кулаками, локтями, ногами, чуть ли не всем телом. Когда же крестьяне оттащили его, он понял: христианский мир насилия раскрылся перед ним сразу и до конца.

— Этот еврей не такой, как другие, — сказал один из свидетелей драки.

Жгучий стыд медленно затоплял сердце Мордехая.

— Значит, я могу теперь печь картошку в вашем костре, — заявил он, и его наивное высокомерие всем понравилось.

Этим вечером он вернулся домой, уже зная, что у него есть преимущество перед остальными членами семьи. Крохотное, горькое, но есть. Ведь он стоит ногами на земле и тесно связан со всем, что его окружает: со слабыми былинками и с могучими деревьями, с безобидными животными и с опасными зверьми — включая тех, которые называются людьми.

Первое время каждая новая усадьба означала драку. Но по мере того как он колесил вокруг Земиоцка, репутация «злого еврея» вызывала к нему симпатию. А вот «добрые евреи» в его родном местечке смо-

трели на него косо. С одной стороны, они уважали его и жалели: Леви нельзя не уважать, а падшего Леви нельзя не жалеть. С другой стороны, они относились к нему, как к знаменитому пирату: презирали и втайне завидовали. Семья же наблюдала за ним с недоверием: его грубые руки так и притягивали к себе испуганные взгляды. А что стало с осанкой! Ни традиционной сутулости, ни привычной отрешенности! Он выпрямился во весь рост, шептались вокруг. Неслыханный скандал!

Мало-помалу привык он возвращаться в Земиоцк только в канун субботы, что, конечно, всем бросалось в глаза. Суббота проходила в покаянии, а в воскресенье чуть свет он аккуратно укладывал в котомку молитвенник с талесом и снова исчезал, как в поле ветер.

Однажды шел он из Земиоцка на дальнюю ферму и встретил по пути старого еврея, разносчика мелких товаров. Тот сидел у края дороги на своем коробе, и по глазам было видно, что его мучит недуг. Мордехай взялся донести товар до соседней деревни, где у старика была, как он сказал, «кое-какая семья». В коробе лежали популярные романы на идиш, разноцветные ленты, стеклянные бусы и другая мелочь. Дорóгой Мордехай забавы ради торговал понемногу в деревнях, а старый разносчик с улыбкой наблюдал за его стараниями. Но когда спустя три дня они дошли до места, он сказал Мордехаю:

— Кончен бал! Я свое отработал. Нет у меня больше сил бродить по свету. Бери короб — и в добрый час! Вот тебе мой товар, мои причиндалы, вот названия деревень, где я торговал — бери и отправляйся. Ты — Леви из Земиоцка — значит, я ничем не рискую. Заведется у тебя немного злотых — вернешься сюда и отдашь мне начальный капитал. Иди, говорю тебе, иди!

Мордехай медленно взвалил на плечо короб.

Разносчик легко находил себе ночлег в любом местечке: он вносил свежую струю воздуха в этот затхлый мир.

Держался Мордехай непринужденно, громко смеялся, ел до отвала, перебранивался с теми, кто разглядывал его товар с кислой миной. Но, как только на горизонте показывался Земиоцк, в глазах потухал живой огонек и тихонько накатывала тягучая волна тоски. С какой-то не то робостью, не то смущением клал он на край стола свою выручку, подавленный холодным молчанием всего семейства Леви.

— Ну, что, вернулся? — в конце концов, говорил отец с легкой иронией. — Смотри-ка, и на сей раз *они* тебя отпустили на все четыре стороны!

И, так как Мордехай пристыженно опускал голову, добавлял:

— Подойди ко мне, бездельник, подойди! Дай посмотреть, как выглядит мой сын, похож ли он еще на еврея. Да иди же сюда, я хоть обниму тебя. Ну, чего ждешь? Прошлогоднего снега?

Мордехай дрожал, как осиновый лист.

Когда же он снова выходил на проселочную дорогу и покосившиеся стены Земиоцка оставались позади, на ум приходили очень странные вопросы. Как-то другой разносчик товаров в знак расположения к Мордехаю преподнес ему финик. Все приходили поглазеть на этот диковинный плод и торопливо перелистывали Пятикнижие, чтобы снова и снова насладиться словом *тамар*, что значит «финик». И, хотя Мордехай уже давно стал жестким коммерсантом, он никак не мог вдоволь налюбоваться своим сокровищем. Всякий раз, когда смотрел он на этот маленький плод, ему казалось, что он видит весь Израиль. Вот пересекает он Иордан, вот подходит к могиле Рахили, стоит в Иерусалиме у Стены Плача, купается в теплых водах Галилейского озера, где карпы так и сверкают на солнце... И всякий раз, когда Мордехай возвращался к действительности, он задумывался: Боже, как это все понять? Затерявшийся среди

полей одинокий торговец, Леви, «злой еврей», просто молодой человек на пороге жизни, финик, Галилейское озеро...

И еще много подобных вопросов приходило на ум, очень много...

А однажды, подходя к окрестностям местечка Крыжовницк, что в двадцати днях ходьбы от Земиоцка, если не больше, он даже спросил себя, зачем вообще Бог создал Мордехая Леви. Конечно, в Земиоцке уже давно не было своего сумасшедшего, а, как сказано, «в каждом местечке есть свой сумасшедший и свой мудрец». «Но что делать такой скотине, как я? — опечалился вдруг Мордехай, — полосатый я какой-то — немножко того, немножко сего...»

Нужно, правда, принять в соображение, что он в тот момент не чувствовал под собой ног от усталости: отправился в путь ни свет ни заря, а сейчас того и гляди стемнеет. Крыжовницкие холмы так и пляшут перед глазами — до того он изнемог. Он то и дело тревожно посматривал на небо: не зажглась ли еще первая звездочка — признак того, что на землю опустилась Суббота. Однажды уже случилось, что она застигла его посреди дороги. Пришлось оставить предметы торговли тут же на поле в высокой траве.

У входа в местечко Мордехай увидел колодец. Молодая девушка набирала воду. Казалось, она, как грациозный котенок, играет веревкой, изъеденной холодной водой. На девушке был субботний наряд: туфли на низком каблуке с перламутровыми пуговками и длинное платье темно-зеленого бархата с традиционными кружевами вокруг шеи и на рукавах.

Мордехай еще издали почувствовал, что есть в ней что-то напоминающее хищного зверя: в мягкой красоте ее движений таилась опасная сила.

Неслышно ступая по траве, он подошел совсем близко и увидел настоящую еврейскую красавицу, стройную, ростом почти с него. Короткий нос, брови оттянуты к вискам, невысокий лоб. Кошачий про-

филь, удивился он. Тяжелые косы, туго заплетенные от самого затылка, оттягивали голову немного назад. «Да простит меня Бог, — сказал он про себя, — она мне нравится!»

Спустив короб на траву почти у самых ног девушки, Мордехай крикнул зычным голосом разносчика, расхваливающего свой товар:

— Эй, голубка, не покажешь ли мне, как пройти в синагогу?

При звуке этого окрика девушка вся вздрогнула, даже веревку выпустила из рук, но тут же поймала ее снова и поставила деревянную бадью на край колодца.

— Мужик! — воскликнула она, оборачиваясь.

Но увидев улыбку на лице молодого человека, усталого и белого от пыли, она сразу же подобрела и степенно добавила на мягком гортанном идише:

— Зачем так на меня кричать? Я же не лошадь и не осел. Можно подумать, что быка погоняют. Или верблюда.

Подвигая бадью, она тряхнула головой и отбросила назад косы. Черные, как угли, глаза смотрели на Мордехая со жгучим любопытством, но губы поджались крайне пренебрежительно.

— Вообще-то я с посторонними не разговариваю, — сказала она, наконец, — но если хочешь, так иди на десять шагов позади меня, и по дороге я тебе покажу, где синагога.

Окинув его лукавым взглядом, она гордо выпрямилась и направилась в местечко, не обращая больше внимания на «постороннего».

Мордехай даже присвистнул.

«Да простит меня Бог, — вздохнул он про себя, с трудом взваливая короб на плечо, — она мне нравится и даже очень, но я с удовольствием... *выдрал* бы ее хорошенько».

Движимый этим противоречивым чувством, он не переставал отпускать колкости в ее адрес, однако дистанцию в десять шагов сохранял. Она же при каж-

дом его замечания сердито встряхивала головой, и тогда косы мотались по ее красивым плечам, как грива по шее норовистой лошади. В этом движении сквозило животное кокетство, и оно подстрекало Мордехая на новые колкости.

— Ах, вот как принимают гостей в этом краю? Подпускают не ближе, чем на десять шагов? А известно ли вам, что Бог вознаграждал гостеприимство Авраама, давшего приют неимущим странникам? Призадумайся-ка, может, я тоже Божий посланец?

Но гордая барышня продолжала свой путь, упорно делая вид, что ничего не слышит, а Мордехай не решился сократить дурацкое расстояние, отделявшее их друг от друга.

Он громко смеялся, глядя на танцующий впереди него силуэт девушки.

— Тебя послушать, парень, так скорее ты посланец дьявола, — вдруг донеслись до него резкие слова, чуть смягченные ветром.

Они крайне удивили Мордехая, он просто ушам своим не поверил, но, пока он размышлял, рассердиться или нет, черная грива торжествующе взметнулась в знак победы, и Мордехая стал душить смех.

— Дьявола! — добавила она. — Это еще мягко сказано...

Странная тоска напала на Мордехая. Он решил обидеться и замолчать. Ох, как короб намаял плечо! вдруг почувствовал он. И, наверно, впервые за всю жизнь он пожалел, что желтая подкладка его тулупа висит клочьями, сапоги каши просят, а шляпа потеряла всякую форму, потому что служила ему и тарелкой и кружкой. «Да мне-то что! — вдруг разозлился он. — Что я, золотая монета, чтобы всем нравиться!»

В эту минуту он увидел, что девушка поставила бадью на землю, улыбаясь, обернулась к нему и насмешливо передернула плечами, словно хотела сказать: «Ну, ну, не сердись — сам же и затеял, верно?» Затем она тряхнула головой, подхватила тяжелую

бадью, и та снова закачалась в такт ее мягкому шагу. С виду она несла воду легко, как букет цветов, но теперь водяные брызги стали выплескиваться на ее бархатное платье, покрывая его сверкающими капельками. Молодой человек почувствовал все очарование этой минуты.

За церковью начали уже попадаться первые еврейские хижины: дряхлые и покосившиеся, они жались друг к другу, как пугливые старушки. То тут, то там вдоль стены скользила черная фигура — тряслась длинная борода и поблескивал муаровый кафтан. Совсем стемнело. Посыпал мелкий дождь, и не стало барышни — только танцующая тень маячила впереди. Внезапно тень перестала двигаться, и тонкий белый палец показал на соседнюю улицу: синагога там, говорил этот палец. Потом исчез и он.

«За кого она меня принимает? — вознегодовал в душе Мордехай. — Что я ей, собака, которая... которую...»

Поставив короб на землю, он стремительно ринулся вперед, как человек, уверенный в своей правоте.

Услышав за собой шаги, девушка поспешила укрыться в подворотне. Он увидел ее всего в нескольких шагах от себя — она стояла в тени, такая красивая... И он нежно подумал: «Ну, на самом-то деле не ей же меня благодарить...» Она напряженно поджидала его, держась на всякий случай рукой за шею.

— Хочешь... — вдруг пробормотал он. — Позволь донести бадью.

— Ты ведь бродячий торговец. — чуть задыхаясь, сказала она, — сегодня здесь, завтра там... Как же ты смеешь со мной так разговаривать?

И, улыбаясь ему широкой лукавой улыбкой, в которой (по крайней мере, ему так показалось) мелькнула легкая тень сожаления, она наклонилась к уже наполовину пустой бадье, взялась за ручку, медленно выпрямилась и, тряхнув на прощанье гривой,

пустилась бежать... Вот она уже скрылась за водяными брызгами, а он даже не успел заметить, в какую улочку она свернула.

Медленно поднял Мордехай свой короб и поплелся к синагоге. Мерцала на небе звезда, то прячась за черными домами, то появляясь снова. Но сегодня звезда не напоминала ему о легком свете Субботы, потому что лоскут неба, куда была приколата эта золотая булавка, казался ему выкроенным из темного бархатного платья: перед глазами стояла еврейская девушка.

4

Кончилась вечерняя молитва, но верующие из синагоги не ушли, а, собравшись вокруг печки, повели между собой спор. Они задыхались от дыма, кашляли, кричали, размахивали руками и все никак не могли решить, кому на сей раз выпадет честь оказать гостеприимство. Обычно стоило людям поглядеть на Мордехая, как его отправляли к какому-нибудь почтенному еврею, известному своим повышенным интересом к внешнему миру. Но на сей раз раввину и в голову не приходило принять пришельца за «веселого разносчика»; он счел его «паломником, подрабатывающим торговлей», и пригласил к собственному столу.

— Рабби, добрый рабби, — сказал Мордехай, — не место мне за вашим столом, непутевый я еврей. Просто, понимаете, немного грустно мне сегодня.

— А почему тебе грустно? — удивился раввин.

— Почему мне грустно? — улыбнулся Мордехай. — Потому что не получился из меня хороший еврей.

Маленький толстенький раввин еще больше выкатил и без того выпученные глаза.

— Идем без всяких разговоров! — проверещал крохотный рот, прятанный в бороде.

Ужин был царский, о лучшем Мордехай и мечтать

не мог: рыбный холодец, говяжье жаркое, а на закуску — необыкновенно вкусный цимес¹. Мордехай был настолько очарован приемом, что рта не раскрывал: сидел чинно, словно в Земиоцке в кругу степенных Леви. Но когда хозяйка принесла блюдо с рожками — тут уж он не выдержал и весело похлопал себя по животу.

— Эх, братья мои, полакоимися рожками! У них же райский вкус, у этих рожков! Только увижу их — вспоминаю Землю Израильскую. Ну, а уж когда в рот возьмешь — сразу же начинаешь мечтательно вздыхать: «Всевышний, верни нас в землю нашу, в край, где козы жуют «рожки в изобилии».

Эти слова настроили присутствующих на определенный лад, и начались вечные вопросы: когда придет Мессия? Явится ли он на облаке? Вернутся ли с того света мертвые? И чем люди будут питаться? Ибо сказано: «В тот день я заключу мирный союз между вами и всеми тварями».

— И как можем мы, кроткие агнцы мои, ускорить его пришествие? — спросил, наконец, раввин, беспомощно разводя руками.

Гости хорошо знали, что сейчас дискуссия, продолжающаяся уже две тысячи лет, достигнет той головокружительной вершины, откуда можно объять все Мироздание.

— Мы должны страдать, — начал старик, сидевший по правую руку от раввина.

Оттопырив отвислую розовую губу, прикрыв впалые глаза и не переставая качать головой, он продолжал:

— Страдать, страдать и еще раз страдать, ибо...

— Господин Гриншпан, — раздраженно перебила его хозяйка, — а что, по-вашему, мы делаем? Или вам еще мало?

— Ша, ша, — робко прошелестел раввин.

— ...ибо сказано, — продолжал, как ни в чем не

¹ Цимес — морковь в сладком соусе.

бывало, старик: «Страдание идет народу израильскому, как красная лента белой лошади». И еще сказано: «Мы несем на себе страдания всего мира, мы взяли на себя эту ношу, и на нас будут смотреть как на проклятых Богом и униженных. И только когда Израиль погрузится в страдания каждой косточкой, каждой жилочкой своего растерзанного на перекрестке дорог тела, тогда и только тогда пошлет Бог Мессию». Увы! — закончил господин Гриншпан, выкатив глаза, словно видел перед собой эту страшную картину. — Только тогда и не раньше.

— Господин Гриншпан, — грустно пропищал раввин, — ну, я вас спрашиваю, ну, что вам за удовольствие нагонять на нас страх? Мы что, Праведники, чтобы жить с ножом у горла? Знаете что, дорогой господин Гриншпан, поговорим лучше о чем-нибудь веселеньком: что слышно о войне?

Едва успев произнести последнее слово, раввин затрясся от хохота, хотя эту убеленную сединами шутку знали все присутствующие. Он так зашелся, что все по-настоящему перепугались за него. Но с помощью обычных опрыскиваний и постукиваний по спине приступ веселья прошел так же внезапно, как и напал на него, и раввин вернулся к столу.

— Так о чем мы тут говорили? — пробормотал он смущенно, но, заметив всеобщее неодобрение, напустил на себя задумчивый вид и замолчал.

— Я знаю, дорогой господин Гриншпан, — проговорил он, наконец, — сколь неуместной могла показаться моя шутка. Даже обидной. Но хочу вам заметить, что ни против вас, ни против ваших слов я ничего не имею. Развеселился я исключительно потому, что радуюсь субботе. Вы мне верите?

— Охотно верю, — растрогался старик, — но позвольте и мне вам заметить, что, согласно учению рабби Ханина...

Завязался разговор о смехе. Что такое смех? Каким законам он подчиняется? Каков его человеческий и божественный смысл? И, наконец, совер-

шенно загадочным образом дошли до того, что стали выяснять, какая связь между смехом и приходом Мессии.

Оставаясь верным своему положению бродячего торговца, Мордехай до сих пор сидел тихо. Перед мысленным взором порой проплывало темно-зеленое платье. Как бы увидеть его снова? Эх, была не была! Он наклонился вперед, как делал в таких случаях отец, и важно заявил:

— Позвольте заметить. Что значит *ицхак*? Имя «Ицхак» значит не что иное, как «он будет смеяться». Добавлю еще: Сарра увидела, что сын Агари, Исмаил, *мецахек*, то есть «смеется». Осмелюсь отсюда заключить, что сыновья Авраама, Исмаил и Исаак, отличаются между собой тем, что первому назначено было смеяться сейчас же, а Исааку, отцу нашему, — только в будущем. С приходом Мессии, благословенно имя его, все будут смеяться. А до того нужно плакать. Так скажите же мне, братья, может ли сердце истинного еврея смеяться в этом мире, если только не при мысли о мире грядущем?

После столь высокого рассуждения Мордехай поднес ко рту рюмку, запрокинул голову и, к великому удивлению окружающих, выпил залпом, как простой мужик.

Затем, прищелкнув языком, он не без лукавства добавил:

— К счастью, у нас сердца не совсем еврейские, иначе как бы мы могли сейчас наслаждаться субботним покоем?

Последнее замечание было крайне высоко оценено. Раввин усмотрел в нем хасидский дух. Он начал удивляться такому кладезю мудрости в простом разносчике товаров. Вот тут-то Мордехай и довершил свой тонкий маневр. Кокетливо наклонив голову, он сказал, что он — Леви из Земиоцка.

— А я мог бы в этом поклясться! — воскликнул маленький раввин.

— Но я вовсе не Праведник, — скромно уточнил

Мордехай, широко улыбаясь обольстительной улыбкой, а про себя добавил: «Да простит меня Бог, если только Он может, но уж очень она красива».

Утром Мордехай проснулся в большой супружеской кровати, куда накануне его силой уложили раввин с раввиной. Он сразу же пожаловался на недомогание: онемело все тело, не двинуть ни рукой, ни ногой — словом, верные признаки близкого приступа лихорадки.

Ему тотчас же дали новую кружку, и в сопровождении огорченных хозяев он отправился к реке.

— Река, река, — сказал он. — дай мне воды на дорогу.

Затем в присутствии многочисленных зрителей, хранивших должное молчание, он семь раз прокрутил новую кружку над головой, выплеснул воду через плечо и закричал:

— А теперь, река, унеси свою воду вместе с моей лихорадкой! Заклинаю тебя, река, именем нашего общего Создателя!

Вся процедура была проделана с большим искусством в истинно земноцком духе.

Затем больной и его сопровождающие вернулись в дом раввина. Мордехай снова уложили в постель, и у его изголовья собралось много жителей местечка: их привлекала слава Ламеддавника. У него ужасный вид, беспокоились они, вот-вот на тот свет отправится! А он и в самом деле плохо выглядел, потому что провел бессонную ночь, заранее терзаясь угрызениями совести.

Кое-как дал он себя уговорить не отправляться снова в путь. Это было бы безумием! А так как лихорадка все никак не отпускала его, то он еще и согласился заменить на зиму крыжовницкого синагогального сторожа. Все пришли в восторг от такого решения, но больше всех — густая грива. Несколько дней

назад он увидел ее снова: почему-то он случайно бродил вокруг колодца.

— Знаешь, твоя болезнь меня не очень-то напугала.

— Правда? — огорчился он.

— Как? Разве ты на самом деле...

Она даже отступила назад и прислонилась к колодцу. От лукавства не осталось и следа: его вытеснило выражение заботы и тревоги. Мордехай почувствовал, что у него радостно екнуло сердце, и он, как заправский бродячий торговец, лихо подкрутил усы.

— Да. Я на самом деле болел, — сказал он, хитро улыбаясь, — и теперь я болен. Да так серьезно, как никогда прежде, — закончил он выразительно.

Она так и покатилась со смеху. В тот день Мордехаю было дозволено следовать на расстоянии уже только пяти шагов. На следующий день это число сократилось до трех, а затем и до нуля. Счастливым, как ребенок, он тоже держал ледяную ручку бадьи.

Этот последний знак благосклонности его опьянил. Он не переставал говорить всякие слова: нежные, грустные, серьезные, — все, какие, по его мнению, полагалось говорить девушке из Земиоцка или из Крыжовницка, или откуда бы то ни было. Но ему дали понять, что предпочитают видеть в нем «веселого разносчика», и Мордехай с тоской в груди покорился. Вот оно что! Ей, значит, нравится в нем шут гороховый, которого он из себя разыгрывал, чтобы привлечь ее внимание. С каким удовольствием он задушил бы сейчас этого шута.

— Охота была выть на луну! — говорила девушка. — По-моему, когда любят, стараются сделать приятное. Чего на меня вздыхать? Что я, луна? Я — Юдифь.

Однажды она как бы в шутку призналась, что никогда в жизни не видела такого разносчика, как он: такого высокого, сильного, нежного и веселого. И, конечно же, быть замеченной самим Леви из Земи-

оцка — большая честь, да вот она, дура такая, никак не может это прочувствовать. Она предпочла бы просто Леви. Что за кровавые истории рассказывают о его семье? Какие-то сплошные ужасы! Даже дрожь пробирает! — продолжала она шутливо, но, увидев, какое высокомерное выражение появилось у него на лице, взорвалась:

— Не хочу я э т о г о, слышишь? Я жить хочу, жить! Зачем мне Праведник?!

— А я и не Праведник! — запротестовал Мордехай.

— Знаем мы вас! Кто это скрывает, тот и есть настоящий Праведник. Зачем тебе страдать за весь мир? Как такое только в голову приходит?! Что, этот мир страдал за тебя хоть разочек?

— Да не страдаю я вовсе, клянусь тебе!

Но Юдифь его не слушала. Она заламывала руки, закатывала глаза, ноздри у нее дрожали, губы покрылись крохотными капельками слюны, как у кошки, и, как-то странно посмотрев на молодого человека, она сказала:

— Ну почему должно было случиться, чтобы из всех ливней, из всех потоков слез, какие только Бог посылает на землю, на меня упала самая горькая капля? Ламедвавников не тысячи и не сотни — всего-навсего тридцать шесть! Так надо же, чтобы именно я, Юдифь Аккерман, дура из дур, сумасшедшая из сумасшедших, полюбила его! Не успел он показаться мне на глаза, как — нате вам! — я его уже люблю! Слышишь?

Она нежно вздохнула — удивительно, как из груди такой статной, такой своенравной девушки мог вырваться такой нежный вздох! Подавленный, Мордехай молчал.

— Ты слышишь, убийца? — крикнула она.

Вместо ответа Мордехай соорудил настолько покорную и жалостную мину, что девушка бросилась на своего палача и, закрыв ему глаза обеими руками, неожиданно поцеловала прямо в губы. Мордехай

стоял, ошалев от радости, и растерянно улыбался. Сколько в ней силы, сколько жизни, думал он. Самые веские доводы рассудка по сравнению с ее губами — ничто, как легкие пушинки они улетают в высокий серый небосвод мыслей. Сжимая ее в объятиях, он вспомнил, как ему хотелось задушить в себе шута, и прошептал:

— Хочешь, я буду... я буду... твоим шутком, хочешь?

Дух Земиоцка, скрытый в Мордехеае, проявился сразу же после помолвки, которая в его глазах означала поворотный момент. Уже посаженный на цепь, дикий зверь только и ждал, когда, наконец, он войдет в клетку, а робкий воздыхатель вдруг превратился в мужа, в повелителя, охраняемого законными правами, как железной решеткой. При первом же столкновении он взял верх.

— Раз ты меня не понимаешь, значит, не хочешь понять! — пронзительно крикнул он и, смирившись с этой истиной, напустил на себя гордый вид, отчего лицо его как-то сразу обрюзгло.

Юдифь крайне удивилась.

— Тут и понимать-то нечего, — объяснил он. — У нас прежде, чем жениться, мужчина обязан переписать семейную хронику, историю всех Леви, чтобы передать ее детям. А ты хочешь, чтобы с этим было покончено только потому, что я встретил красивую гриву? Ты же сама понимаешь, что хоть один раз я должен съездить в Земиоцк!

— Ну и поезжай! Скатертью дорога! — закричала Юдифь. — Но больше не возвращайся!

Мордехай пристально на нее посмотрел и после короткого колебания решительно повернулся спиной.

Когда он уже переступал порог, две руки схватили его за плечи, и он почувствовал на затылке горячее дыхание невесты.

— Возвращайся поскорее, — прошептала гордая Юдифь.

Он давал обещания, плакал, снова обещал... Если бы Юдифь сумела сыграть на своем поражении, она удержала бы его, но такой вид оружия ей был незнаком, и Мордехай отправился в Земиоцк. Чего только не нагрузили на телегу! Копченая говядина, банки с вареньем, клетка с курицей и в придачу на две недели корм для нее, всякие печенья, вышитые салфетки, катушки с нитками, пуговицы, носки — словом, всевозможные подарки для семейства зятя.

На фоне всего этого добра он выглядел весьма уверенно, но когда спустя три недели показался вдали Земиоцк, от его опьянения не осталось и следа.

Все семейство он застал за столом, а на столе — одну-единственную селедку. Низкий, облупившийся потолок, под ним балка, на которую давно уже не подвешивают копченья, худые лица. Отец даже не поднялся ему навстречу.

— А я уже думал, что ты женился, не переписав семейной хроники, — пустил он тонкую шпильку. — Хорошо еще, что...

— Я ее люблю, — тихо сказал Мордехай.

— Нет, вы только послушайте! Он ее любит! — закричал старший брат, воздев худые руки к балке, словно призывал небо в свидетели столь неслыханного явления.

— А я? Я не любил? — медленно проговорил отец. — Но я почему-то полагал, — продолжал он саркастически, — что жена должна следовать за мужем. Или ты считаешь иначе?

— Она не хочет переезжать сюда, — горестно сказал жених и тут же, покраснев, закусил губу: признание было встречено дружным взрывом хохота.

— Тихо! — коротко и властно навел порядок отец.

Он встал. Согбенный под тяжестью лет, но все еще очень высокий, руки скрещены на груди, запавшие глаза горят — не старик, а величавое воплощение

долга. Очень четко, возможно, приготовив слова заранее, он произнес:

— Запомни, сын мой: человек, в котором женщина убила мужчину, не найдет ни судьи, ни правосудия.

Затем он снова сел и вообще перестал замечать присутствие сына.

5

Юдифь не узнала «веселого разносчика», который всего лишь несколько недель назад расстался с ней: борода у него отросла, лицо осунулось, побледнело, даже желтоватым стало. Он рассеянно ее обнял.

— Жизнь моя, сердце мое, — вздыхала она у него на груди. — Как похудел! А печальный какой! Ты нездоров?

— А как же! Любовью его болезнь называется, — весело сказала ее мать, женщина крепкая и краснощекая, которая в это время хлопотала в кухне, готовя изрядную выпивку. — Прекрасная болезнь! — добавила она убежденно. — Очень полезная для селезенки и для блеска в глазах.

— Это правда? — обрадовалась Юдифь.

Мордехай молчал, и ее вдруг осенила страшная догадка.

— Ты меня больше не любишь?! — воскликнула она и даже отпрянула назад.

Мордехай не сводил с нее глаз, но в них не было огня, они застыли неподвижно — серые тучи в далеком небе — и наполнились слезами.

— Отец не дал благословения, — наконец, сказал он еле слышно и, вдруг оживившись, добавил: — Но Бог нам поможет. Верно?

К великому удивлению присутствующих, он снова повеселел, стал прежним удалым разносчиком, взял рюмку, постучал ею по бутылке с квасом и важно произнес:

— Тещенька, что нужно сказать? «Дайте водочки

умирающему и вина страждущему!» — перефразировал он Писание на свой лад.

Какие славословия квасу! Ну, вот он и смеется, успокоилась Юдифь.

Но спустя несколько дней она увидела, что Мордехай снова замыкается в себе. Насколько до этого проклятого Земиоцка он любил веселье, настолько теперь он всячески избегал даже повода к нему и до изнурения просиживал целыми днями в синагоге. Юдифь не знала, что и думать.

Казалось бы, они должны сходиться все ближе и ближе, Мордехай должен перед ней раскрываться все больше и больше, но вместо этого странный жених будто броней заковывался: глазом эта броня не видна, но сердце об нее больно ударяется.

Она начала торопить со свадьбой. Когда, по обряду, Мордехай разбил стакан — символ холостяцкой жизни, — она расплакалась. Тем же вечером счастливые молодожены устроились в доме у родителей Юдифи, которые содержали пекарню и были в восторге от могучих рук Мордехая: такими руками только и месить тесто. Видно, Бог послал им утешение на старости лет.

Юдифь воспряла духом: проходили дни и недели, а Мордехай не пресыщался близостью с женой, всегда такой доступной и такой недосыгаемой. Ее тело по-прежнему было источником неизведанных наслаждений и кладезем невинности. Каждую ночь оба они приходили в изумление. Будто небо опрокидывается и низвергает пучину света, думала она.

— Ну, как же! Разве до тебя кто-нибудь знал, что такое любовь? Разве кто-нибудь может иметь о ней представление? Никто на свете! — подшучивала над ней мать.

А Мордехай мучился вопросом: нет ли в этом наслаждении излишества, не отдает ли оно немного язычеством и не отдаляет ли его от Бога?

Ему все больше и больше становилось не по себе, и он смутно ощущал, что виною тому — покинутый

им Земиоцк. Девушки в его местечке тем и привлекали, что от одного только взгляда утрачивали свою волю. Любой муж, будь он тихим, как мышь, держал жену в узде. А ну, попробуйте-ка обуздать Юдифь! Не то, чтобы по струнке ходить — она сама еще приказания мужу дает! Да еще с какой легкостью! Будто муху от глаз отгоняет!

Но если хорошенько разобраться, то, пожалуй, более всего тревожило Мордехая ее желание кокетничать, как до замужества. Чуть что, она сейчас же наотрез отказывается ему в ласках, и в своем неукротимом стремлении дразнить эта несчастная способна не проронить ни единого нежного слова или вздоха два и даже три дня подряд. Ну, разве бывает такое сердце у еврейки?

Так и получилось, что, пока он разбирался в бесстыдном поведении жены, она при помощи своих чар обрела над бедным разносчиком такую власть, что тот только спрашивал себя, уж не женился ли он на демоне в облике прелестной девушки. Куда заведет их эта страсть, которой они предавались каждую ночь?

Все чаще и чаще Мордехай ловил себя на том, что тоскует по Земиоцку.

Эта защитная реакция вырабатывалась в нем очень постепенно.

Когда Юдифь заметила, что муж совсем стал книжным червем, было уже поздно возвращаться к полной раскованности их прежних интимных отношений. Казалось, каждое слово, которое произносит Мордехай, несет на себе Божью печать, и даже желание приходит чуть ли не по велению свыше, а исполнение супружеских обязанностей — не более чем соблюдение заповеди Всевышнего.

На этот счет у Юдифи было свое особое суждение. И все же настал такой день, когда Мордехай начал отдавать приказания, затем такой день, когда его своенравная супруга начала ему подчиняться, и вскоре он ее уговорил переехать в Земиоцк.

Уже с самого начала она оказалась белой вороной. Ее свободная манера разговаривать, ее гордая походка удручали представителей обоих полов. «Нет, вы только посмотрите на эту цыганку! — говорили кругом. — Ой-ой-ой! Вот что значит таскаться по дорогам!» И чужеземке давали понять, какая пропасть лежит между «Юдифями» и порядочными земиоцкими женами.

Первое время она то плакала ни с того ни с сего, то раздражалась гневными речами, в которых изливала все свое горе, обвиняя мужа в том, что он умышленно разбил ей сердце и искалечил жизнь.

— С первой же минуты, с первой секунды ты меня обманывал. Я была для тебя игрушкой. «Голубка моя, разреши поднести твою бадейку, принцесса моя». Как же! Бродячий торговец! Гренадер! Александр Македонский! По дорогам он шагает! А я, дура такая, думала, что у нас будет не жизнь, а сплошной праздник. И что же оказалось? Леви несчастный! Утром молится, вечером молится, а когда мы вдвоем — он тоже молится! Ты же прикидывался! Комедию ломал! И приручил-таки свою голубку. Сегодня ему нужно переписать семейную хронику, завтра — отец не дал благословения, а там уж остался один шаг — и вот вам Земиоцк! Ой, Земиоцк, Земиоцк! Моим злейшим врагам я тебя не пожелаю! Ну и местечко! Кругом одни Леви! Куда ни посмотришь — повсюду Леви! Полместечка принадлежит Леви! Кто бы мог подумать, что их так много, этих Леви! У моего отца ты вкусный хлеб выпекал. А здесь что? Хрусталь он обрабатывает! Тоже мне занятие! От такой жизни скоро сама хрустальной станешь — насквозь будешь просвечиваться. Но кому до этого есть дело? Пусть бы меня убили — ни за что не стала бы молоть всякую чепуху, бубнить молитвы в синагоге с утра до вечера и философствовать со всеми этими учеными бородами. «Т-те-те, что вы скажете о небесах?», «Э-э-э, а что вы думаете об аде?» Кому это нужно? Богу, что ли? Насколько я Его знаю, он думает точно, как

я: какая муха их укусила? — спрашивает Он себя, почесывая в затылке. Но, вот что: всему приходит конец! Довольно! Я ухожу! Навсегда ухожу! Слышишь? Вернусь к себе в Крыжовник, к своим ослам и невеждам. Скажу, что ты умер, и надену по тебе траур. Можешь мне поверить, что стать вдовой в тысячу раз легче, чем быть твоей женой. Слышишь, Александр Земицкий? Чтоб меня холера взяла, если я...

Мордехай смотрел на нее, скорбно подняв брови, и, как терпеливый дрессировщик животных, повторял только одно слово, всегда одно и то же: «Ну, ну, ну...»

При этом «ну, ну, ну...» он гладил густую гриву и так молодо и нежно улыбался, а усы так залихватски поднимались вверх, что бедная Юдифь, обезумев от радости, бросалась ему на шею.

Так кончались все их ссоры. Мордехай не вступал с женой в объяснения по той простой причине, что не понимал ее упреков. А ночью, когда она лежала рядом, ему становилось жалко ее, себя, эту супружескую пару, этих чужих людей, которых любовное безумие бросило в одну кровать и которым до сих пор так и не удалось поговорить между собой по-человечески.

— Хоть бы я понимала, что это за история с Праведниками, почему они должны так страдать? — спрашивала она иногда, еще нежась в любовной истоме.

Мордехай выходил из оцепенения. Он шарил в темноте рукой. Тело Юдифи вкусно пахло молоком и корицей.

— Радость ночей моих! — восклицал он шутливо и прижимался губами к расслабленному телу. — А кто не страдает? Посмотри, как ты мучаешь меня и как сама мучаешься. Но наше страдание отягощено грехом. Поэтому оно не возносится к небесам, а ползет по земле, как червь, как оскверненная молитва.

— Что еще за грех? Ты о чем? — отталкивала его от себя Юдифь, скрывая этим нежность.

— А Ламедвавник, — продолжал он все так же шутливо, — принимает наше страдание на себя. Он возносит его на небо и кладет к ногам Всевышнего. И Всевышний нас прощает. Вот почему мир продолжает существовать, несмотря на наши грехи, — заканчивал он мягко.

— Тогда объясни мне, почему это Ламедвавники из Земиоцка умирают на своих постелях. — язвила Юдифь.

Мордехай сердился и резко отодвигался от гибкого тела жены. Прочь от этого бурного потока жизни! Туда, к скалистым и опасным берегам суровой действительности!

— Это очень старый вопрос, — задумчиво говорил он не столько жене, сколько себе самому. — Чтобы на него ответить, нужно знать, что творится в душе у Ламедвавника. А он и сам того не ведает. Он не знает, что сердце его кровоточит: думает, это жизнь в нем бурлит. Говорят, когда Праведник улыбается ребенку, он страдает не меньше, чем Праведник, которого пытаются. Видишь ли, плачет ли Ламедвавник или лежит в постели с любимой женой, вот как я сейчас, он все равно принимает на себя одну тридцать шестую часть всех земных страданий. Но об этом не знает ни он, ни его жена. Даже в минуты блаженства только одна половина его сердца поет от радости, а другая — кричит от боли. Ну, а раз так, то что могут добавить пытки? Как знать, может, Бог хочет, чтобы Леви чуть-чуть передохнули? Как знать?

— Наверно, я совсем дура, — нежно заверяла его из-под одеяла Юдифь и плотно прижималась к нему, не переставая смеяться. — Я ведь ни слова не поняла! — продолжала она весело щебетать ему в ухо, поцелуями испрашивая прощение за свое признание. — И в жизни не пойму! Расскажи мне лучше о раввине, который творит чудеса — изгоняет злой дух,

словно занозу из ноги вынимает. Помолится-помолится, молитва вознесется к небу, гоп — и готово! А какие чудеса творили твои Праведники?

— Праведнику не нужно творить чудеса. Он, как ты, — сам по себе живое чудо. Ну, хоть это ты поняла, дуреха?

В ночной тишине Юдифь на минуту широко раскрывала глаза.

Однажды она посетила Праведника, рабби Рафаэля Леви, и долго с ним беседовала. Спустя несколько месяцев этот Праведник скончался при странных обстоятельствах. Случилось так, что кого-то обвинили в краже и только показания рабби Рафаэля могли подтвердить обвинение, поэтому у него не хватало духу их дать. Накануне суда, как потом рассказывали, он всю ночь терзался сомнениями: не мог выбрать между ангелом Милосердия и ангелом Справедливости. Когда занялась заря, он лег на пол, закрыл глаза и умер. Такая кончина немало порадовала Мордехая.

— А что особенного в его терзаниях? — полюбопытствовала Юдифь. — Пожалуйста, у нас в Крыжовнице сторож, которого ты сменил, вознесся на небеса точно так же. Кто-то ему намекнул на связь его жены с Хацкеле-Луженой-Глоткой. «Бедняжка моя, что бы с ней было, если бы она узнала, что мне все известно! Только ничего ей не говорите, ладно?» — сказал он, зашел к жене в комнату, улегся рядом с ней и утром был уже мертв. Вот это терзания — так терзания! Кстати, он как две капли воды был похож на твоего рабби Рафаэля: такой же маленький, остренький, борода косо подстрижена и язык высовывает, когда разговаривает. Понимаешь, остренький такой, но не колючий.

Мордехай пристально посмотрел на жену.

— А откуда ты знаешь, что Ламедвавник — да отогреет Бог его своим дыханием — был, как ты выражаешься, «остреньким»? Он же никогда не выходил из дому, как же ты могла его видеть?

Ноздри у Юдифи задрожали, она фыркнула, заржала, забрыкалась, но призналась.

— Ты же знаешь, какая я, — начала она плаксиво, — но я все же не хочу тебя позорить. Вот я и пошла к нему за советом. За два года моей жизни в Земиоцке, объяснила я ему, хоть бы чуточку я изменилась! Как была сумасшедшей из сумасшедших, так ею и осталась. Что делать? Поскольку, мол, он с Богом в таких хороших отношениях, может, он за меня немножко помолится?

Мордехай смущенно отвел от нее взгляд.

— И что же он тебе ответил?

— Глупости! — разозлилась Юдифь, вспомнив беседу с рабби. — Сначала он вообще ничего не мог ответить — так он хохотал. Как курица — квох-квох-квох. Потом высунул язык и говорит: «Ты Юдифь? квох-квох-квох... ну и оставайся Юдифью. Однажды верблюды... квох-квох-квох... захотел обзавестись рогами... квох-квох-квох... и лишился ушей». Ну! — оскорбленно тряхнула она гривой.

— Ах, ты кобылица моя бешеная!

Забыв всякую сдержанность, Мордехай со смехом бросился к ней, зажал ей нос между пальцами и нежно потрепал холку.

Охваченная своим великолепным гневом, Юдифь встала на дыбы, но в глубине души была в восторге.

Она поняла, что уже на всю жизнь останется «безмозглым существом». Сначала чуть что — она этим оправдывалась, а потом и кичиться стала.

— У меня же ума с гулькин нос, — любила она говорить, начиная этим вступлением свое вторжение в мир духовных интересов, — я же дура набитая, — продолжала она таким двусмысленным тоном, что невольно напрашивался вопрос, уж не считает ли она ум недостатком, от которого она, слава Богу, избавлена, — я же полное ничтожество, но я полагаю, что...

И несмотря на все, она, совершенно непонятно почему, гордилась своим родством с Леви, и это слабое

утешение помогло ей в конце концов почувствовать себя такой же обитательницей Земиоцка, как и его уроженки.

Приданое Юдифи позволило им обосноваться в маленьком двухкомнатном домике недалеко от мастерских. Но ремесло резчиков по хрусталю хирело, и вместе с безработицей пришла нищета не в пример прежней. Новорожденные дети болели неизвестной болезнью, которая за четыре-пять недель превращала их из розовошеких карапузов в сморщенные синие комочки, и умирали, не дожив и до трех месяцев. То ли от холода, то ли от голода, а может, от синюхи...

Первые три плода вышли из чрева Юдифи мертворожденными. Всякий раз, когда Мордехай испытывал высшее блаженство от малейших успехов в изучении Талмуда, в голову приходила мысль, что это блаженство дается ему ценой жизни невинных младенцев. И, когда Юдифь снова забеременела, он решил вернуться к торговле, пусть даже в ущерб своим отношениям с Богом.

В то зимнее утро Юдифь смущенно сказала, что уже две недели знает, что беременна, но не решается ему признаться.

— Чего ж тут не решаться? — спросил он, улыбаясь. — Не первенец же у тебя!

— Как бы это объяснить, — грустно усмехнулась она, — радость наполняет мой живот, но не доходит до сердца...

Тем не менее она отступила назад, чтобы муж до нее не дотянулся, и стояла по другую сторону стола, укутанная в свою когда-то любимую, совсем истрепавшуюся шаль. Ее опасения передались Мордехаяю, и он страшно побледнел. Радость его потухла, душа похолодела, и от этого прояснились глаза. С устрашающей ясностью увидел он, как изменилась его

прекрасная Юдифь за те пять лет, что они прожили в Земиошке...

По другую сторону стола в нескольких шагах от Мордехая стояла женщина на вид лет тридцати, хотя ей еще и двадцати пяти не исполнилось. И вдруг он понял: не годы тому виной. Вечные несчастья ожесточили ее характер, что в свою очередь наложило на ее черты отпечаток преждевременного старения. Лицо стало совсем кошачьим и, вероятно, останется таким уже до самой смерти. Широкий и костистый у основания лоб сужается вверху желтоватым конусом, словно утес, у которого только верхушка видит солнечный свет. Брови сходятся над коротким крепким носом, и дуга, которую они описывают, поднимаясь до середины висков, вырисовывается так четко, словно переписчик Торы вывел ее пламенным прикосновением своей кисточки. От носа ко рту спускаются две горькие складки и, приподнимая отвисающие щеки, придают новому лицу Юдифи сходство со старой кошкой.

— Ты прав, мы должны радоваться, — тихо выдохнула она и, обойдя стол своей танцующей походкой, прижалась к мужу.

От волнения ее движения сделались неловкими, она спрятала лицо у мужа под бородой и держалась за его бедра, как слабый растерянный зверек. Мордехай чувствовал у своего горла влажное дыхание, которое постепенно становилось ровным и спокойным.

— Да, да, будем радоваться, — вздрогнул он.

Но сердце его сжималось от тоски, и, кроме как о холоде, голоде и синюхе, он больше ни о чем не мог думать. Какие только напасти не ждут это благословенное Богом чрево, которое сейчас бьется рядом с ним новой жизнью...

Подавленный, он весь день провел в синагоге, пытаясь проникнуть в неисповедимое сердце Всевышнего и найти в нем ответ. К концу он разрыдался, чем вызвал всеобщее удивление. Затем его вдруг

обуяла радость, и он, как безумный, выбежал из синагоги: решение было принято.

6

Домик примостился на дальнем конце местечка, как раз у самой тропинки, ведущей на холм Трех Колонцев, но снег был так глубок и так плотно покрывал все вокруг, что в тот вечер Мордехаю пришлось в темноте отыскивать дорогу. Юдифь поджидала его и отодвинула засов, едва он появился на пороге. Она заранее припасла хворосту, так что теперь красные языки пламени, плясавшие в печи, состязались с желтым кругом над старой керосиновой лампой, которая нещадно коптила посреди стола. Мордехай удивился, увидев на Юдифи ее старое бархатное платье: она берегла его и надевала только по праздникам. Не успел он стряхнуть снег с тулупа, как она обняла его, кокетливо улыбаясь.

— Посмотри-ка, что на столе, видишь? Мамаша Финк одолжила мне кусочек масла, а мука, по моему, прибыла от мадам Блюменкранц. Ну, как, нравится?

Мордехай посмотрел на нее, и она показалась ему такой желанной, что у него даже голова закружилась. Он наклонился к ее лицу.

— Ах, ты кобылица моя прекрасная! Пусть этот праздник не значится в календаре, но...

Рот Юдифи пылал таким светлым пламенем, что все вокруг померкло.

— Жена моя, кобылица моя прекрасная, — выдохнул он, — теперь моя очередь сделать тебе сюрприз.

— Молчи, — сказала Юдифь встревоженно и положила палец ему на губы.

— Значит, так, — продолжал он, прижимая ее руку к щеке и покусывая палец, закрывавший ему рот, — я только что говорил с Максом Гольдбаумом. Он получил денежный перевод от брата. Помнишь

его брата? Рыжий такой, и нос картошкой. Он уехал в Америку три года назад. Макс одолжит мне двести злотых. Завтра же отправлюсь в Зратов, куплю немного товара. Я все рассчитал: имея двести злотых, вполне можно начать дело. Ну, что скажешь на мой сюрприз? — закончил он, запуская руки в густую гриву и притягивая к себе любимое лицо, как он обычно делал во время ночных объятий.

— Как! Ты молчишь?

Черты ее лица окаменели, а во взгляде засверкала гордость.

— Наоборот, я говорю, — произнесла она. — Говорю, что ты не имеешь права!

— Но всего четыре года назад ты же сама... сама меня умоляла подумать о том, что надо кормить...

— Вчера — это не сегодня, — отрезала Юдифь. — Ты знаешь, что твое место в синагоге, в Земиоцке, и нечего таскаться по дорогам, как бродяга.

— А как же ребенок? — закричал Мордехай, окончательно сбитый с толку.

Отбросив концы шали, молодая женщина простодушно приподняла ладонями бархатные груди, словно хотела преподнести их в дар мужу.

— Посмотри на мою грудь, посмотри... Наши дети болеют не от голода: у меня всегда полно хорошего молока! И потом... — вдруг нахмурилась она.

— Что «потом»?

Тут пальцы Юдифи скрючились, стали похожими на когти, и она подалась вперед, как кошка, готовящаяся к прыжку. Смерив мужа презрительным взглядом, она дала волю своему негодованию:

— И потом, что скажут люди, если я тебя отпущу и ты будешь скитаться, как бездомная собака? Ты... ты же... теперь такой набожный, такой набожный... Только сегодня мадам Финк сказала, что с тех пор, как я стала твоей женой, я должна себя чувствовать ближе к Богу. Сегодня, понимаешь, как раз сегодня она это сказала. Этим змеиным языком дай только пищу — они же будут счастливы: «Ну, что вы скаже-

те! Муж на дорогах давится позором, а она тут объедается икрой! Боже, какая жалость! Не женись он на этой кукле, возьми он в жены порядочную еврейку из Земиоцка — он же мог стать святым! А теперь где ему молиться? Под стогом сена? А ученые споры с кем вести? С коровами?»

Юдифь гневно тряхнула головой, будто старалась отогнать овладевшую ею мысль. Хитрая улыбка заиграла на ее влажных губах:

— И потом...

— Что еще? — сильно обеспокоился Мордехай.

Избегая его взгляда, Юдифь вдруг бросилась мужу на шею и, словно доверяя любовную тайну, прошептала в его слегка обросшее волосами ухо:

— А как же я? Что я-то буду думать о себе?

— Владыка небесный! — шутливо воздел руки Мордехай. — Чудо! Живое чудо!

Пока соседка обтирала бедра Юдифи от крови, та напряженно ждала первого крика новорожденного. Крик раздался лишь на шестой минуте. Акушерка сунула толстый палец в рот недоноска и, к большому удивлению роженицы, извлекла оттуда сгусток крови величиной с орех. Затем она набрала в могучие легкие побольше воздуха, языком приоткрыла ребенку губы и сделала долгий выдох. По синему комочку пробежала дрожь. Стараясь удержать дыхание жизни, крохотные пальчики на руках и на ногах судорожно скрючились, как при синюхе. Наконец, рот раскрылся, и раздался тоненький крик. «Ну, чего тебе?» — сочувственно прогремела акушерка, а взмогшая до костей Юдифь камнем свалилась на подушки: она снова была прочно связана с жизнью.

Ребенок был такой чахлый, что даже болезни тут не за что было уцепиться. Против всех ожиданий он выжил.

Был он хиленьким, можно сказать, еле-еле душа в теле, но в глазах светилась злая насмешка, от которой, по выражению Юдифи, испытываешь жгучую боль, словно тебя полоснули острием ножа. «Только

в кого он будет вонзать это острие, в других или в себя?» — сразу же добавляла она.

— Комарик, настоящий комарик, — сердито ворчал Мордехай, — и повадки комариные.

Он был уязвлен тщедушным видом сына: разве такой может быть истинным представителем их династии? Конечно же, Там произошла ошибка, уговаривал он себя. Но, когда Юдифь наградила его еще тремя Леви могучего сложения, он забыл о первой неудаче, возблагодарил Бога и простил комарика.

Это был не ребенок, а настоящий выюн. Без конца ерзал, крутился, бегал, прыгал, вертелся во все стороны, словно хотел заполнить своими движениями все доступное ему пространство.

Юдифь из себя выходила.

— Как его унять? — спрашивала она разъяренного Мордехая. — Его даже за руку страшно схватить — чего доброго еще оторвется, тогда что будем делать с этим крылышком? Кстати, напрасно ты к нему придираешься: не сам же он на свет появился! Плоть от плоти твоей, твой сын.

— К сожалению, только от плоти.

Поняв это, Мордехай не стал заниматься религиозным воспитанием комарика и все свободное время уделял трем младшим потомкам, которые успели обогнать старшего и в росте и в познаниях. Как только Биньямину исполнилось восемь лет, отец поспешил отдать его в обучение к портному: денег не прибавится, так хоть за столом одним ртом будет меньше.

Биньямин действительно был «острым», как выразилась Юдифь, но из тех, у кого «острие» легко обращается против них самих.

Он с детства зависел от прихоти хозяина, у которого учился ремеслу, и «острие заострилось». Он страдал.

К работе он относился прилежно, но от сидячей

жизни сделался нервным, с трудом перевозмогал себя и едва справлялся с вертлявыми бесами, которые так и плясали во всем его теле, так и поднимали каждую минуту маленького пленника с его табурета.

Предоставленный самому себе и догадываясь, что его держат подальше от клана Леви, он начал изучать мир не с точки зрения еврея, а со своих собственных позиций. Например, он уже знал, что если в Земиоцке владеет Праведник, то в остальном мире есть другие могущественные силы. А может быть, говорил он себе не без злорадства, там есть Праведник побольше Земиоцкого... все может быть.

Его подозрение усилилось, когда в день *бар-мицва* его, по обычаю, привели к тогдашнему Праведнику.

Ревматизм приковал семидесятилетнего старца к дому, и молодое поколение знало о нем лишь понаслышке, поэтому он представлялся им особо величественным и совсем необыкновенным. Дом его стоял неподалеку от Стекольной улицы, на которой валялись старые ржавые цепи, когда-то давно служившие оградой гетто.

Биньямин вошел в темный, затхлый коридор. Взятый напрокат по случаю *бар-мицва* костюм болтался на нем, как на вешалке, все чувства были крайне обострены. Он повел носом во все стороны в тщетной надежде обнаружить какие-нибудь признаки присутствия в доме Ламедвавника. Вместе с бледным отцом и матерью (бедная Юдифь была очень возбуждена: сейчас она воочию увидит «чудо») Биньямин вошел в маленькую мрачную комнату, и у него возникло радостное ощущение, что он попал на чердак: в полумраке беспорядочно громоздится мебель и всякие непонятные вещи, дрожит одинокий луч, словно пробившись сквозь слуховое окошко, и в нем пляшут пылинки...

— Ну, иди же! — прикрикнула на него Юдифь, выталкивая на середину комнаты.

— Эх-эх-эх, — раздался вдруг укоризненный голос.

Биньямин вытарашил глаза: из дальнего угла из-за железной кровати появился старик и стал пробираться к ним. На розовой макушке черная ермолка, длинный капот подпоясан серебряным шнуром. Старик опирался на палку, которую выставлял при каждом шаге вперед, словно закидывал в воду короткое и хрупкое весло. Он согнулся в три погибели и тяжело дышал, как загнанное животное. Когда он поровнялся с мальчиком, тот со злорадством отметил, что Ламедвавник несколько не отличается от знакомых ему старых хрычей, которые сидят на каменной скамье перед синагогой, чешут языки и не упускают случая потрепать тебя по затылку или дернуть за ухо да еще причмокнуть от удовольствия, если только их жилистые руки дотянутся до тебя. Воодушевленный своим открытием, Биньямин схватил свободную руку старика и, хитро подмигнув, накрыл ею свою голову, так что только одни уши торчали из-под руки.

— Боже мой! — пришел в ужас Мордехай. — Да простит святой человек этого сорванца! Я тебе что говорил? — обратился он к мальчику, улыбавшемуся из-под старческой руки. — Поцеловать нужно руку у святого человека! А ты что?

— Нет, нет, все хорошо, все прекрасно, — добродушно прошамкал старик, которого эта сцена, видимо, немало позабавила. — Все прекрасно... Ребенок благословил себя сам.

Старик, как и следовало ожидать, погладил Биньямина по голове, провел рукой по лицу и ласково приподнял ему подбородок.

— Вот он, значит, какой Биньямин, сын Мордехая? — сказал он с тоской в голосе, и ребенок дружелюбно подмигнул ему в ответ. — Сегодня, стало быть, еще одного еврея посылает нам Бог?

— Ну да! — ответил Биньямин снисходительно.

Под сводом темных бровей молодой взгляд добродушного старца засветился иронией, и Биньямин, чувствуя, что краснеет, опустил глаза.

— Ну-ка, скажи мне, Биньямин, что ты знаешь о Пятикнижии?

Ребенок молчал.

— Пусть святой человек его простит, — сказал Мордехай, — мальчишка не занимается, он в обучении у портного.

В комнате воцарилась глубокая тишина. Юдифь уставилась на мужа, а тот от смущения медленно попятился к дверям. Биньямин жалобно всхлипнул.

— А я что знаю о Пятикнижии? — сказал вдруг Праведник, как бы обращая к мальчику слышавшуюся в голосе нежность.

Биньямин удивленно поднял глаза. Над ним меланхолично тряслась седая голова и чернел раскрытый в ласковой улыбке старческий рот.

— Эх-эх-эх! Маленький портной, значит? — প্রশамкал Праведник.

Указательным пальцем он поддел ладонь мальчика, поднес его руку к своим скрытым бородой губам и... поцеловал.

Затем, словно придя в себя, он повелительным жестом, не допускающим возражений, отослал своих гостей: аудиенция была окончена.

Каждому хотелось получше разглядеть руку, которую поцеловал Праведник. На ней еще оставался желтый нимб — след от старческого рта, набитого жевательным табаком, — и с ребенка взяли клятву не умываться, пока не сойдет эта печать. Нимб, казалось, отметил не только руку, но увенчал и самого мальчика: Биньямина баловали посетители, обхаживали братья. Кто-то даже посоветовал обвязать руку лентой, но это предложение не имело успеха. Только Мордехай пожимал плечами и говорил, что ничего за этим нет — очередная причуда, каких много бывает у Праведников. А Биньямин, пожалуй, склонился к точке зрения, которую как-то мельком высказала мама Юдифь: в общем Праведник показался ей

«добрым старичком, как говорится, своим человеком». Биньямин втайне разделял ее мнение.

Слабые иллюзии относительно Праведников, еще сохранявшиеся у него, окончательно рассеялись, когда спустя много лет после всей этой истории он уже юношей, обученным ремеслу, попал в Белосток: он приехал туда усовершенствоваться в портняжном деле.

Во взгляде его уже не было прежней колючести, «острие» притупилось, и весь облик его смягчился.

Белосток был настоящим городом: большие дома, трехколесные велосипеды, извозчики — точь в точь, как на картинке в том единственном польском журнале, который был у его хозяина.

Биньямин прожил там два года. В маленькой комнате, всегда наполненной паром от утюга, работали по пятнадцать часов кряду. Пять различных запахов пота составляли своеобразный ароматический букет. Биньямин был и компаньоном, и подмастерьем, и мальчиком на побегушках, и мальчиком на черных работах, и нянкой, и даже кухаркой, когда тучная жена хозяина чувствовала себя чересчур усталой. Но ему казалось, что никто из династии Леви не жил так интересно, как он, потому что все, что его окружало, вплоть до черного воздуха мастерской, составляло часть несравненно более реального мира, чем мир Землюца, этого сонного заповедника грез.

В полдень он завтракал в обществе гладильщика, господина Гольдфадена, старого холостяка. С тех пор, как высохшие руки господина Гольдфадена стали с трудом поднимать огромный утюг, хозяин грозился прогнать его из мастерской. Биньямин был связан с господином Гольдфаденом безмолвной дружбой, проявлявшейся в повседневных мелочах. Однажды, когда свирепый господин Рознек пошел относить дорогой редингот, Биньямин поднял нос от иголки и спросил без всякой задней мысли:

— Простите, дорогой господин Гольдфаден, поз-

вольте узнать, что вы будете делать в тот день, когда совсем уже не сможете управляться с утюгом?

Старый гладильщик поставил утюг на треножник, и на мокром лице, словно раздувшемся за сорок лет жара, появилось неприятное выражение.

— Что я буду делать? — медленно проговорил он.

— С Божьей помощью, дитя мое, подохну с голоду.

— Но вы — хороший еврей, господин Гольдфаден, Бог не может...

— Я не хороший еврей, — жестко отрезал старик.

При этих словах его вздутое лицо осело от испуга: в соседней комнате Биньямин услышал увесистые шаги господина Рознека.

На следующий день Гольдфаден набрался духу и признался Биньямину, что вот уже скоро полгода, как он перестал верить в Бога. Биньямин непонимающе уставился на него: господин Гольдфаден, этот замечательный человек, который выказывал ему внимания больше, чем кто бы то ни было на свете, не считая старого Праведника, этот господин Гольдфаден не мог быть безбожником! Как же понимать...

— Что вы этим хотите сказать, дорогой господин Гольдфаден? Что значит, вы перестали верить в Бога? Что-то я вас не понимаю, — улыбнулся Биньямин.

Старик отвернулся. Казалось, по непонятной причине его раздражает тон молодого человека. А Биньямин продолжал со скептическим великодушием:

— Должен ли я вас понять так, дорогой господин Гольдфаден, что вы не верите в то, что Бог создал небо и землю, а затем и все остальное?

Пока он задавал свой вопрос, что-то молнией пронеслось в его уме, и он вдруг понял, что добрый господин Гольдфаден просто-напросто не верит в Бога. В его существование.

— Послушайте, дорогой господин Гольдфаден, — начал он, холодея от страха, — если бы не было Бога, кем были бы мы с вами? Вы и я?

— Бедными еврейскими рабочими, — сочувст-

венно улыбнулся старик, тщетно стараясь придать своему тону утраченные бодрые нотки.

— И только?

— Увы! — сказал старый гладильщик.

В ту ночь, ворочаясь на матрасе, положенном прямо на пол, Биньямин старался представить себе мир таким, каким его видит господин Гольдфаден. Мало-помалу он пришел к ужасающему заключению: если Бога нет, то Земиоцк — всего лишь ничтожная частица вселенной. Но в таком случае, спросил он себя, куда девается все людское страдание? И снова вспомнив пугающие слова господина Гольдфадена, он громко зарыдал в ночной тишине мастерской:

— Боже мой! Оно пропадает зря! Оно исчезает бесследно!

Он не посмел пойти в своих рассуждениях дальше. Он только долго плакал и, наконец, уснул.

С каждым днем гладильщик становился все более неловким. Теперь в отсутствие хозяина он поднимал утюг двумя руками. Наконец, однажды он его уронил, отчего тут же вспыхнула ткань.

Пожар оставил небольшой след — всего лишь черное пятно на полу, но на следующий день старого гладильщика в мастерской уже не было, и мрачное молчание господина Рознека больно задело Биньямина.

После обеда появился какой-то молодой человек. Руки у него были такие же худые, как и у господина Гольдфадена, но он, казалось, твердо решил утюга не ронять.

Биньямин с ним не сошелся. Молодой человек рассказывал пикантные истории, носил галстук и презирал «жалкие умишки», которые не способны увидеть жизнь в ее истинном свете. Он был настоящим безбожником, не то что господин Гольдфаден, который утратил лишь внешние признаки хорошего еврея — Биньямин это остро чувствовал. Тем не менее не стоило восстанавливать против себя такого

парня, как этот новый гладильщик, и в порядке поддержания добрых отношений однажды вечером Биньямин очутился с ним в переулке, где стояли женщины. Безбожник уладил все сам. Как во сне, поднялся Биньямин по ступеням, покрытым ковром, прошел по коридору, какой бывает только во дворце, получил комнату, которая пугала своей роскошью и сплошными зеркалами, получил толстуху, которая превратилась в живую куклу с синеватым дрожащим телом... Потом где-то над пузырьком электрического света робко засветило солнце Песни Песней... «Пойдем со мной с Ливана, невеста моя...» А живая кукла, присев на биде, начала манить его к себе: ее указательный пальчик сгибался и разгибался, сгибался и разгибался...

— Извините, пани, — пролепетал Биньямин польски, отдернул задвижку и выбежал вон.

7

Вернувшись в Земиоцк, Биньямин окончательно отошел от поисков истины. Только бы снова найти немного той чистоты в повседневной жизни, с которой он расстался два года назад и которую ставил с тех пор превыше всего, — больше он ничего не хотел.

При виде сына у Юдифи задрожали ноздри и раstopырились пальцы. Когда он выскользнул из-под ее еще трепещущих крыльев, его принял в свои объятия Мордехай. Он заглянул сыну в глаза, увидел, что взгляд его чист, и произнес бенедикцию¹, благословляющую приходящего. Пока он торжественно шевелил усами у самого лба Биньямина, тот со всей силой вновь обретенной убежденности заключил: Бог ты мой, если даже это и заблуждение, то я предпочитаю его маленьким правдишкам безбожников.

¹ Бенедикция — молитвенная формула, содержащая благословение Бога.

Но провести линию разделения было очень трудно, ибо если Земиоцк — всего лишь греза, кто же в таком случае он, Биньямин, коль скоро теперь он даже не принадлежит этой грезе?

В тот год, когда он вернулся в родное местечко, где-то в Европе вспыхнула война.

Тихие обитатели Земиоцка узнали об этом лишь в феврале 1915 года из писем, полученных от парижских, берлинских и нью-йоркских родственников. Поползли странные слухи. Рассказывали, что во Франции и в Германии евреев заставили надеть военную форму — символ ненависти — и драться между собой, совсем как эти дикие звери-христиане: евреи обязаны были драться!

Столь устрашающие события послужили предметом острых диспутов между стариками. Некоторые из них считали, что нельзя бросить камень в тех верующих, которых насильно заставляют носить оружие Антанты. Но, когда со следующей почтой пришло известие о том, что мальчики из одного местечка, родные братья, поселившиеся во враждующих странах, рискуют в этой слепой бойне убить друг друга, как это делают христиане, споры тотчас же уступили место черному трауру, молитвам и скорби. Все со стоном повторяли туманные слова Праведника. «Случилось это потому, — сказал он, — что Израиль устал чувствовать у своего горла нож заклания. Жертвенный агнец вступил в ряды Антанты. Он преклонил колени перед их идолами. Ему было больно, и он не хотел больше пребывать в Боге. Наши несчастные братья стали французами, немцами, турками, а может, и китайцами, вообразив, что, перестав быть евреями, они покончат со страданием. Но вот сегодня Всевышний видит такое, чего Он ни разу еще не видел за все две тысячи лет нашего изгнания: обряженные в чужие доспехи, говорящие на разных языках и поклоняющиеся безликим идолам, евреи убивают друг друга! Проклятье!» Усевшись прямо на землю, Праведник посыпал седые волосы пеплом и,

раскачиваясь из стороны в сторону, начал издавать крики, как раненый зверь.

Женщины рассказывали странную историю, неизвестно кем занесенную в Земиоцк. На фронте ночь. Темно. Выстрел. До еврея, который только что стрелял, доносится стон...

«И тут, мадам, у него волосы становятся дыбом: в трех шагах от себя он слышит, что вражеский голос читает на иврите предсмертную молитву. Боже мой, оказывается, этот солдат только что убил еврея, брата своего. Боже мой, какое горе! Обезумев от стыда и отчаяния, он бросает винтовку и бежит по фронту. Он сошел с ума. Понимаете? Помешался. Те, что по другую сторону, стреляют в него, а по эту сторону ему кричат, чтоб он вернулся. Но он не хочет. Он остается посреди фронта и погибает. Боже, какое горе!»

Не успела кончиться война, как просочились слухи о революции, а затем и о погромах, которые вспыхивали быстрее местечковых сплетен. Украина пылала огнем и истекала кровью. Революционные банды Махно и желто-голубые отряды генерала Петлюры поочередно обрушивались на еврейские общины по всей Европейской равнине. Коршун с ястребом делят небо! Даже жители укрывшегося за холмами Земиоцка, и те не знали, что им думать. Много раз, напуганные ложными вестями, они зря убегали на лесистые холмы. Те же, кто оставался лежать в своих постелях, потом смеялись над беглецами. Так и получилось, что в час истинной опасности очень многие, решив, что и на сей раз тревога ложная, оказались застигнутыми врасплох...

В ночь перед наступлением конца в стороне села Пешкова засветились яркие огни. В августе часто вспыхивают лесные пожары, и люди успокаивали себя этой мыслью. Первые крики послышались на заре. Все произошло в мгновение ока. Казаки уже ворвались в Земиоцк, а некоторые евреи в ночных рубахах и ермолках, еще полусонные, выглядывали в

окна и растерянно спрашивали бежавших по улицам людей, что случилось.

Юдифи и Мордехаю удалось добраться до вершины горы Трех колодцев живыми и невредимыми. Из всех детей с ними оказался только Биньямин. Прежде, чем побежать за родителями в лес, он не смог удержаться и оглянулся на местечко, попавшее в руки казакам. Его поразила красота развернувшегося перед ним зрелища. Долину охватывало приподнятое над землей кольцо тумана, и зеленые склоны скрывались за этой сероватой завесой, но пятьюдесятью метрами ниже выступали снова. Черные силуэты с усердием муравьев взбирались на соседние холмы. Посреди кольца, сотканного из тумана, с ослепительной четкостью вырисовывались розовые крыши домов. Биньямин только было собрался отыскать глазами свободное от крыш пространство церковной площади, как вдруг услышал крики и тут же увидел черные клубы, которые, как по мановению волшебной палочки, выросли над розовыми крышами. Приглушенные расстоянием крики напоминали смешной писк сгрудившихся в гнезде птенцов. И над всем этим расстиралось неподвижное голубое небо. Биньямин чуть не взвыл. Он уже даже рот открыл, но спохватился. Воздух застыл и онемел.

— Ну, чего ты ждешь? — раздался шепот.

Биньямин обернулся, и невольная улыбка тронула его губы: шагах в десяти от него над кустарником торчит голова мамы. Смертельно-бледное лицо и раскрытый в беззвучном крике рот. А сквозь листву, словно живое существо, выглядывает рука, и указательный палец умоляюще подзывает к себе — так дети в прятки играют. Действительно, глупо сейчас улыбаться, подумал Биньямин, но улыбка не сошла с его лица. Ему показалось, что он сделал всего один длинный-предлинный шаг по затихшей земле — и десяти шагов между ним и подлеском как не бывало: он очутился в хрустящей тенистой чаще, верхушки

замшелых сосен заодно с голубым небом равнодушно посматривают туда вниз, на дымящиеся розовые крыши.

— Они гонятся за нами? — едва выдохнула дрожащая Юдифь.

— С чего вдруг станут за нами гнаться? — нелепо ответил Биньямин.

Во рту стоял запах смолы. Вселенная разделилась на два мира: тот, что внизу, и тот, что здесь. Который из них реальный? Мама стоит босая в пальто, надетом прямо на голое тело, над туго застегнутыми пуговицами виднеется грудь. Тяжелое угловатое лицо бледней стены, но на скулах красные круги, словно щеки припудрены тонкой пудрой. Глаза так широко раскрыты, что не видно век. Биньямин вдруг понял, чем вызвана его невольная улыбка: мама не успела надеть парик, который положено носить каждой замужней еврейской женщине, и недавно выбритая голова, покрытая лишь седым пушком, кажется головой старого ребенка. Биньямину захотелось, чтобы мама ничего не заметила, и он отвел глаза. «Иди сюда, иди...» Она схватила его и потащила в чашу. От страха она задышалась, тяжелое лицо побавровело и взмогло. Глубокое смятение чувствовалось в каждом ее движении, в каждом слове. Она сама не понимала, что говорит и что делает.

Войдя вслед за матерью в лес, Биньямин увидел отца. Вон он, поодаль — огромный дровосек, сошедший прямо со страниц Торы. Он не только успел полностью одеться, но у него еще хватило времени и духу захватить с собой талес и покрыться им, как броней, защищающей от зла, которым насыщен воздух. За всю эту длинную дорогу Мордехай ни разу не пускался бежать, как Юдифь или Биньямин, — он только прибавлял шаг. И всякий раз, когда Биньямин в нетерпении оборачивался к отцу, ему чудилось мечтательное выражение на изможденном старческом лице, тогда как движения этой огромной фигуры дровосека были продуманы и точно рассчита-

ны. Биньямин увидел, что и мама обернулась к Мордехаю, и услышал ее свистящий голос:

— Ты нас задерживаешь. Тебе что, не терпится поскорее умереть?

Старый человек остановился посреди тропинки и спокойно, словно стоя в синагоге среди верующих, торжественно произнес:

— Женщина, женщина! Ты надеешься отдалить назначенный Богом час?

И он медленно двинулся в туман, словно какая-то подземная сила сдвинула с места мраморную колонну. Сожаление и упрек, которые слышались в голосе мужа, задела Юдифь за живое, и она яростно огрызнулась:

— А ты непременно хочешь приблизить этот час?

Биньямин в ужасе почувствовал, что она собирается затеять ссору, но в этот момент из долины донесся выстрел, и она в панике бросилась бежать. А Мордехай спокойно продвигался вперед в тени подлеска и, казалось, не замечал, что ветки царапают ему лицо, не слышал криков, которые все еще доносились из долины, и даже не обращал внимания на полные ненависти взгляды, которые метала в него бедная Юдифь, останавливаясь через каждые десять шагов, чтобы подождать его; потом снова стрелой бросалась вперед, не чувствуя, что ноги у нее стерты в кровь и одна грудь совсем вывалилась из пальто. Через некоторое время она решительно остановилась и прошептала:

— Давайте спрячемся в чаще.

Биньямину было страшно смотреть на ее искаженное страхом лицо. Вдруг она, видимо, заметила, что поверх расстегнувшегося пальто белой грушей болтается ее голая грудь. Она медленно обвела обезумевшим взглядом обоих мужчин, подняла воротник и, сжав его сведенными от стыда пальцами, разрыдалась. Мордехай сел и прислонился к елке. Тяжелый взгляд серых глаз уставился в бело-голубые просветы между ветвями, а борода шевелилась, словно

он бормотал молитву. Биньямин тоже уселся и застыл. Все трое так глубоко ушли в свои мысли, что не заметили приближения казака... Они втроем — и ни души вокруг. Время от времени тревога, неотступно преследующая Юдифь, вырывалась наружу: «Боже мой, что Ты сделал с остальными моими сыновьями? Бог мой, только меня и моих сыновей... Только нас...»

Оказалось потом, что некоторые казаки поодиночке шарили в землицких лесах в поисках прятавшихся там молодых девушек.

Вдруг в поле зрения Биньямина выросла фигура светловолосого человека в кавалерийских сапогах. Солнечный луч отбрасывал его тень до самых ног Биньямина. Казак держал перед собой обнаженную саблю. В распахнутый ворот виднеется волосатый треугольник груди, водянистые карие глаза светятся хитростью. Квадратное лицо украинского крестьянина. Он тихонько-тихонько подкрадывается, высоко поднимая ноги... Биньямин не шелохнулся. Он по-прежнему сидел, опустив голову на колени, и думал: «Неужели родители делают вид, что не слышат позади себя хруста, или они действительно прислушиваются только к своим тревожным мыслям?» А еще он поразился тому, что сердце не забилося сильнее и ни единый звук не вырвался у него из груди. Он даже не вздрогнул. Сразу же пришла в голову утешительная мысль, что все это лишь спектакль, в котором он участвует как зритель. Мордехай по-прежнему сидел, прислонясь к ели, а Юдифь стояла посреди прогалины с закрытыми глазами, дрожа всем своим грузным телом, и сжимала пальцами воротник пальто. Биньямин отметил про себя, что казак очутился между ней и Мордехаем одним прыжком и что Мордехай в ужасе вскочил на ноги. Казак посмотрел на свои жертвы презрительно и разочарованно, остановил выбор на Мордехае и не спеша на-

правил саблю на горло старого человека. До этого момента Мордехай оставался относительно спокойным. Но, когда лезвие чуть ли не коснулось его, он повернулся лицом к стволу, приложил к нему ладони, откинул голову назад и, возведя обезумевший взгляд к небу, выкрикнул первые слова предсмертной молитвы:

— Шма, Исраэль!

В голосе слышалось такое отчаяние, что Биньямин даже удивился: он не ожидал в отце такой жажды жизни.

Вдруг казак показал пальцем на искаженное ужасом лицо Мордехая (оно, видно, представилось ему очень смешным) и захохотал. Схватившись одной рукой за живот, а второй опираясь на саблю, которая врезалась в землю, он прямо помирал со смеху. Никто не проронил ни единого слова. Биньямин увидел, что Юдифь опомнилась, и догадался, что в ней закипает гнев. Она пришла в ярость, как это случилось с ней дома. Что было дальше, он видел уже смутно. Юдифь шагнула вперед и со всего размаху ударила казака по лицу кулаком (а может, раскрытой ладонью). Казак свалился на землю, она выхватила саблю и начала рубить его по голове, по плечам, по чему попало, как рубила на кухне мясо. Казак прикрыл голову руками, и Биньямин отчетливо увидел, как широкое лезвие вошло ему в запястье и ладонь отлетела в сторону — так иногда отлетает кусок мяса при рубке. Когда отец бросился на Юдифь, Биньямину показалось, что у него с глаз спала пелена. Неужели все это наяву? Ему еще не верилось.

Темной ночью Биньямин рискнул выбраться на опушку леса. В долине было тихо, но оттуда поднимался скверный запах, и в густой синеве ночи вырисовывались черные завитки дыма. Он медленно спускался с холма; то тут, то там появлялись светящи-

еся точки. Он миновал лужайку, где обычно стирали белье, и очутился позади какого-то дома. По улице проплыл темный силуэт. Борода и кафтан — значит, еврей. В руках свеча. Дрожа всем телом, пробирався Биньямин по пустынным улицам Земиоцка. Из центра местечка доносилось какое-то бормотание. Там по церковной площади бродили десятки теней: со свечами в руках люди разыскивали своих мертвых среди груды изуродованных трупов. На заре Биньямин нашел всех троих братьев в подворотне какого-то дома. Весь следующий день копали могилы. Возле старого кладбища выросло новое. Много раз подряд ходил туда Биньямин вместе с отцом в надежде увести Юдифь с холмика, под которым лежали трое ее сыновей. Потом Мордехай на целую неделю заперся с ней в комнате. Ей мерещилось, что Бог ее наказал за то, что она убила того казака, она чувствовала себя виновной и перед сыновьями и перед их убийцей и все время вонзала себе в грудь воображаемую саблю. Потом горячка прошла.

Выяснилось, что погром устроили белогвардейцы, которые по чистой случайности проходили через забытый Богом и людьми Земиоцк. По приказу немецкого, французского, английского и американского командования они шли на Украину, чтобы вместе свергнуть новый режим. Их вел знаменитый атаман Козир Зирко. Многим земиоцким евреям удалось спрятаться на холмах. Оставшихся же Козир Зирко велел собрать на церковной площади. Подавая пример своим солдатам, он вздернул младенца на пику и заорал:

— Его не жалко! Это революционное семя!

Странное дело: целые семьи умирали, утопая в потоках крови, росли груды сплетенных в объятьях трупов, а старый Ламедвавник ходил среди них и тщетно молил солдат: «Убейте меня, убейте, ну, убейте же!» Но солдатам было смешно, они только потешались над ним и всего-навсего отрезали ему бороду. Они, правда, много раз инсценировали его

казнь. Стоя на коленях с закрытыми глазами, старый еврей впадал в экстаз. Но каждый раз естественное отчаяние человека перед лицом смерти и законная надежда Праведника на достойную кончину оказывались напрасными: он один оставался в живых на церковной площади.

Земиоцкий погром прошел незамеченным среди сотен других. Постепенно начала поступать помощь. Европейские и американские евреи в очередной раз собрали деньги. Когда же после двадцатых годов установился мир, уцелевшие после погрома евреи в Земиоцке спрашивали друг друга, как могло случиться такое чудо, что Праведник остался в живых. Одни в этом усматривали милость небес, другие — загадочную и страшную иронию Всевышнего, на которую намекают священные книги. Злоба вселилась в сердца некоторых жителей Земиоцка. Молодежь начала вступать в Объединенный Союз Еврейских Рабочих России и Польши, и страстное желание жить и умереть на запретной земле Ханаанской острым ножом вдруг пронзило еврейскую душу. Совсем осмелев, Юдифь открыто заявила, что, после того, как Праведник остался в живых, смешно даже говорить о том, что семья Леви еще может на что-то претендовать. Биньямин в душе с ней согласился. Мордехай посмотрел на них с беспредельной горечью и с удивлением. Он чувствовал, что по отношению к нему совершено предательство, и только не мог понять, кто его совершил, Юдифь с Биньямином или Бог. Его сыновья мертвы, а Ламедвавник жив! Может, в этом кроется особый знак Всевышнего?

Терзаемый сомнениями, он разрешил Биньямину уехать за границу. А если бы он и не дал своего согласия — все равно его слабеющий авторитет не мог уже противостоять отныне непреклонной воле Юдифи.

ШТИЛЛЕНШТАДТ

1

Биньямин задержался в Варшаве. Он никак не мог выбрать страну своего изгнания. У него было такое чувство, будто он играет в детскую игру. Названия стран, которые ему предлагали, казались такими же причудливыми и выдуманнными, как названия, которые он с мальчишками надписывал на еврейских классах, когда они прыгали по их клеточкам: «хала», «вздох», «фунт орешков», «обида», «курятина», «поляк ударил», «миллион злотых», «тиф», «ангелы» и, наконец, «погром». Шарик катился по названиям, занесенным в список Эмиграционного комитета, влек его за собой от одной страны к другой и грустно возвращался к исходной точке ни с чем.

На слове «Англия» он вовсе не задерживался: это ведь остров, как с него бежать в случае чего? На слове «Америка», наоборот, он останавливался охотно, но лишь из праздного любопытства туриста: это слово напоминало прежде всего о необходимости пересечь грозный океан, который навсегда разлучил бы Биньямина с родителями, а затем оно напоминало отрывок из Библии, в котором дано описание плясок вокруг Золотого Тельца, потому что бывший хозяин Биньямина, земиоцкий портной, сравнил как-то эти пляски с жизнью американских евреев, а потом представлялся и сам Телец: жирный, похотливый, выпучил свои слепые глаза и смотрит на творение Всевышнего. Что же касается слова «Франция», то оно просто раздражало слух: сразу же вспоминалось

слово «Дрейфус», а Биньямин его слышал не раз. Говорили, будто французы сослали этого Дрейфуса на Чертов остров. Уже одно название вызывает дрожь, как же можно при этом туда податься?

И, наконец, после этого путешествия по горестному миру Биньямин решил в пользу слова «Германия».

Ведь немецкие евреи, как ему сказали, настолько хорошо устроены в этой стране, что многие из них чувствуют себя немцами чуть ли не больше, чем евреями. Это во всяком случае любопытно, хотя и не похвально, но свидетельствует главным образом о мягкости и терпимости немецкого характера. Биньямин немедленно воодушевился, представив себе, насколько чувствительны, обходительны, наконец, благородны эти немцы. Настолько, что евреи в восхищении не могут устоять и всей душой стремятся тоже стать немцами.

Берлин разочаровал его сразу же. Ну и город! Ни конца, ни края. Сутки еще не прошли, как Биньямину захотелось из него удрать. Но, Боже милостивый, на сей раз куда? Комитет поселил его вместе с другими беженцами из Восточной Европы в бывшую синагогу. Большой зал был расчерчен мелом на «комнаты», в которых жили целые семьи. Коридор шириной с полметра (тоже нарисованный мелом) вел к выходу. Каждый делал вид, что не замечает присутствия соседа. Переступить меловую черту значило вторгнуться в чью-то личную жизнь. Поэтому, прежде чем зайти в гости, люди с улыбкой произносили «тук-тук-тук» и вежливо ждали ответного «войдите». Казалось, все с ума посходили, оттого что у них нет крыши над головой. На веревки, прикрепленные к потолку, люди подвешивали — кто зеркало, кто картину, кто семейную фотографию... И только дети не обращали внимания на «стены», зачем-то нарисованные взрослыми, что вызывало постоянные ссоры.

— Все они ждут квартир и верят, что получают их! — в первый же день сказал Биньямину молодой человек, разместившийся возле самого «коридора».

— А вы чего ждете? — улыбнулся Биньямин, беспокойно поглядывая на выплывшее из тени лицо: рыжие вихры торчали во все стороны, поперечная морщина, как шрам, пересекала лоб.

— Я? Я жду прихода Мессии, но он не торопится, — съязвил молодой человек. — А зачем ему торопиться? Перед ним вечность! Ну, ладно, здравствуйте!

Так произошла первая встреча с несчастным молодым человеком из Галиции, которого Биньямину предстояло видеть еще долгие недели; он либо лежал, либо сидел на кровати, обхватив голову по-старчески дрожащими руками. Биньямин подозревал, что он умирает с голоду, и поэтому, получая от Комитета вспомоществование, сразу же предлагал молодому человеку разделить с ним яичницу, кошерные сосиски (совсем как дома!) или другие деликатесы, которые сам готовил. В зависимости от настроения молодой человек из Галиции либо принимал приглашение (хоть и раздраженно улыбаясь), либо оскорблял Биньямина раньше, чем тот успевал рот раскрыть.

— Хоть бы кто-нибудь меня избавил от вас! — закричал он однажды на Биньямина.

— Извините, — пролепетал Биньямин. — Я как раз работу нашел... решил устроить маленький праздничный ужин... Понимаете?

— Убирайтесь-ка вы отсюда, — сказал молодой человек уже спокойнее, почти великодушно. — Знаю, знаю: вам ужасно хотелось найти работу. Я заранее себе представлял, как вы будете из кожи вылезать в тот день, когда найдете ее, и от счастья на седьмом небе окажетесь. Вот я и поздравляю вас. Чего вам еще?

— «А у кого не будет вечером куска хлеба?» — затянул Биньямин.

Мягкий свет озарил тусклые глаза молодого чело-

века, потом ровное пламя затрепетало и вдруг вспыхнуло непонятной злобой.

— Вот вы и ешьте за меня! — вызывающе выкрикнул он.

Биньямин предусмотрительно попятился назад под дружный ропот соседних «жильцов». Они единодушно клеймили позором молодого человека из Галиции, хоть их и коробило слишком хорошее отношение к нему Биньямина — они усматривали в столь деликатном обращении некий упрек их рассудительности добропорядочных людей.

Вернувшись в свою «комнату», Биньямин оглянулся: молодой человек уже успел принять обычную позу — обхватил голову руками и весь ушел в никому не ведомые мечты; эти мечты надежно охраняли его одиночество от окружающего мира и враждебные взгляды двух сотен людей для него не существовали. «О чем он все-таки думает?» — спрашивал себя Биньямин, испытывая острую тревогу не только от присутствия молодого человека из Галиции, но даже при одной мысли о нем.

Биньямин уткнулся в котелок и без всякого удовольствия принялся за кошерные сосиски. «Я, наверно, слишком надоедаю этому несчастному парню, но если бы он только знал, как мне и больно и тепло в его обществе...»

На минуту перестав жевать, Биньямин, наверно, в тысячный раз вернулся к наболевшему вопросу: пресловутое «острие» колет только других или его самого тоже?

Однако Биньямин почувствовал большое облегчение (хоть и упрекнул себя в том), когда на следующий день, проходя по дороге на работу мимо молодого человека из Галиции, убедился, что тот едва скользнул по нему пустым взглядом. Молодой человек лежал на кровати одетый и бесцеремонно выставил босые грязные ноги прямо под нос детям, которые играли возле него в «коридоре», стучась в воображаемые двери. На его лице не дрогнул ни один

мускул. Да, он окончательно перерубил последнее волокно слабого крепления, удерживавшего его еще в синагоге, и теперь Биньямину казалось, что он с каждым днем все дальше и дальше уходит от родного берега, плывет на своей кровати в открытое море, известное лишь ему одному, и только грозные бури отражаются в его глазах.

Однако молодой человек из Галиции, с которым у Биньямина, как он считал, все было кончено, появился в его жизни снова — на сей раз в образе товарищей Биньямина по швейной мастерской. Они тоже были заражены (правда, в меньшей степени) «берлинской лихорадкой», как он сам называл это душевное состояние, когда пришел его черед испытать это состояние на себе.

Все работники господина Фламбойма были беженцами, уцелевшими от погромов. И, хотя на всех остались, можно сказать, следы кораблекрушения, в мастерской царил атмосфера язвительной насмешки и горькой иронии по поводу прошлой жизни в Польше или в России, которую они старались представить в более черном свете, чем она была на самом деле. Какой-то бесовский дух вселился в этих несчастных людей. Он превращал чистую воду в кровь, уничтожал на корню само понятие добра, не давал взрасти ни одному побегу еврейской мысли. Биньямин протягивал руку, и ему чудилось, будто он видит, как на ней появляются когти. Он никому не противоречил, благоразумно не поднимал головы от иголки, но это не помогало: все копья, стрелы и шпильки были направлены именно против него. Над ним потешались. Однажды в отсутствие хозяина закройщик по имени Лембке Давидович вскочил на стол и, «по-берлински» оскалившись, не то серьезно, не то плаксиво выкрикнул:

— Послушайте, если наш раввинчик будет и дальше оставаться девственником, у него на спине крылышки вырастут! Вот будет здорово! Всем хватит пищи! Вы или я, или последний немецкий смор-

чок — кто только проголодается, тот и цапнет себе крылышко или лапку, и — пожалуйста, ешь на здоровье! А знаете, что будет потом? Кроме ангельского сердечка, ничего не останется! А скажите мне, дорогие мои соотечественники, кто позарится на сердце, на этот дряблый кусочек мяса? Грош ему цена в базарный день! Даже на берлинской бирже он и то не котируется! И вот тогда возьмут этот жалкий ошметок, усадят в поезд, и ту-ту! Гремите, Божьи трубы: еврейское сердечко едет домой!

Его речь вызвала бурное оживление. Оратор раскланялся на все стороны, спрыгнул со стола и стал пожимать тянувшиеся к нему руки. О жертве совсем уже забыли, как вдруг кто-то закричал:

— Смотрите, смотрите, он поранился!

Биньямин оторопело смотрел на свой палец, с которого текла кровь, да еще прямо на рулон светлой ткани.

В мастерской стало тихо.

— Это мы его ранили, — тихо сказал Лембке Давидович.

— Это мы, — слышался еще чей-то голос.

— Неужели мы уже все позабыли? — начал снова Лембке, глядя на Биньямина с таким удивлением, словно впервые открыл для себя его присутствие в мастерской.

Плотная фигура Лембке Давидовича, казалось, осела под тяжестью этого открытия. Длинные ресницы дрогнули, глаза округлились, и взгляд стал по-женски печальным и растерянным.

— Неужели мы и впрямь стали «немецкими господами»? — наконец, произнес он.

Его смущение тотчас же передалось остальным работникам господина Фламбойма. Кто-то взволнованно спросил:

— Кость хотя бы не повреждена?

Лембке подошел к Биньямину.

— Послушай! — закричал он, размахивая руками.

— Скажи что-нибудь! Ну, обругай ты нас! Только не молчи! Да скажи же хоть слово!

Но Биньямин лишь задумчиво качал головой. Глаза у него блестели от еле сдерживаемых слез, и он не переставал сосать пораненный палец, что придавало ему печальный и в то же время комичный вид. Вместе с горьким привкусом собственной крови он уже вкушал сладкое чувство, подсказывавшее ему, что у этих людей навсегда отпала охота ранить его.

2

Биньямин стоял перед синагогой и, неистово вытирая ноги в польских башмаках о грязную и мокрую от снега тряпку, думал о том, что в этом подлом мире одной головой не обойтись.

А войдя внутрь под высокий темный свод, едва освещенный крохотными язычками свечей, сразу же почувствовал тоску при виде этих людей, выставленных на всеобщее обозрение. Вон старик под одеялом охает, вон молодожены прильнули друг к другу и застыли, пригвожденные любопытным взглядом бледной девчонки. А вон и мать девчонки — присела на корточки возле печи и как бы пытается удержать дрожащими руками языки пламени, которые так и норовят улизнуть по холодным как лед плитам. А какой шум поднимают дети! Биньямин не знает, то ли слух у него обострился, то ли их крики стали пронзительней от долгого заточения в этой огромной общей спальне без воздуха и света...

— Уже вернулись, господин Биньямин?

Биньямин остановился посреди «коридора». Он медленно узнал этот голос, но сделал вид, будто всматривается в темноту, пытаясь понять, кто его окликнул.

— Вы и узнавать меня уже не хотите, дорогой господин?

Биньямин смутился.

— Простите, здесь темно, прямо хоть глаз выколи. Ну, Янкель, что хорошенького расскажете?

Страдальческое лицо молодого человека из Галиции выглянуло из тьмы.

— Ничего. Жив еще, — проговорило это лицо. Юношеская худоба только подчеркивала горькие складки вокруг нервного рта и длинного висячего носа с горбинкой. Из узких глаз исходил такой холод, что Биньямин едва выдержал их взгляд.

— Да входите, входите, честное слово, я за вход денег не беру, — сказал Янкель спокойно.

По необычному поведению юноши Биньямин тотчас же учуял, что в так называемой комнате «пахнет душевной болью», и, осторожно подняв ногу, аккуратно переступил меловой круг.

— Ну, Янкель, как жизнь идет?

— А она мне не идет: слишком велика на меня и в длину и в ширину. Или слишком мала, не знаю. Но вы, наверно, спрашиваете себя, с чего это Янкель вдруг заговорил со мной, целых два месяца не здоровался и вдруг — здрастьте вам. Не иначе как яичницы захотелось или кошерных...

— Нет, нет, — запротестовал Биньямин, — ничего такого у меня и в голове не было!

— Извините, — сказал Янкель, — я просто не знал, как подступиться. Уж такой у меня язык. Не язык, а нож во рту, сам чувствую. Стоит ему высунуться, как он тут же кого-нибудь ранит. Только, знаете, он не всегда был таким, мой язык...

— Правда?

— Правда-правда, — рассмеялся Янкель. — Когда-то язык у меня был шелковый, можете мне поверить! Когда-то... Да садитесь, садитесь. Ну, зачем на краешек! Располагайтесь поудобнее. Вот так. А теперь дайте посмотреть на вас. Полюбоваться, так сказать, новым человеком. Ах вот оно что! На вас еще шерстяная кепка! И все те же неуклюжие башмаки! И хасидский кафтан! Боже мой, вы еще и пейсы

не остригли! Вы что же, до сих пор не знаете, что живете в Берлине?

— Это я не знаю? Вы что, шутите? — удивился Биньямин.

Молодой человек из Галиции неопределенно улыбнулся.

— Еще как знаю! — взволнованно продолжал Биньямин.

— А раз так, — удивленно зашептал Янкель и, не спуская беспокойного взгляда с соседних кроватей, в отчаянии заломил руки под самым носом у Биньямина, — если вы *это* знаете, как же вы можете... ну, скажем, ходить по улице... Нет, в самом деле, вот, идете вы по улице или даже лежите, как, например, я сейчас... Вам не кажется, что вас что-то давит? Вы не чувствуете, как наваливается на вас какая-то тяжесть? И с каждым днем она увеличивается...

Биньямин даже подскочил от испуга: кто-то читает его мысли!

— Ну, конечно! — оживился он. — Вы очень точно говорите. Именно тяжесть. И... и даже шаг ускорить нельзя: фонари мешают...

— Какие фонари? При чем тут фонари?

— Ну, как же! — слегка усмехнулся Биньямин. — Раньше я ходил посреди тротуара, знаете, как немцы, военным шагом. Но на меня все смотрели, и я начал семенить поближе к домам. Все бы ничего, да вечно кто-нибудь из парадной выходит или фонарь торчит на дороге.

Янкелю понравился ответ Биньямина, но он не подал виду.

— Ну, и как же вы из этого выкручиваетесь?

— Представьте себе, — сказал Биньямин, переходя на шутливый тон собеседника, — да простит меня Бог, хожу остороженько, бочком, бочком, семеню себе, как положено еврею.

— Как положено еврею! — расхохотался Янкель. — А люди? Или вы полагаете, что вам удастся не сталкиваться с людьми?

— Где там! Ой, люди, люди! От них-то и «тяжесть», о которой вы говорите. А мне еще ни разу не удавалось избавиться от нее... Тем более здесь. Даже когда я представляю себе, что сижу дома, там, в Польше, она и тогда давит меня. Люди здесь и правда ужасные. Хуже машин! Даже евреи... — Биньямин задумался. — Даже евреи давят меня. Ну, так, что же, прикажете рвать на себе волосы?

Биньямин заметил, что на соседней кровати сидит человек, уткнувшись в раскрытую на коленях Библию, и не шевелится. Свеча, которую он держит возле виска, освещает морщинистое лицо и курчавую бороду. Будто страж ночной. Биньямин почувствовал, что он прислушивается к их разговору. Янкель перехватил взгляд Биньямина и презрительно бросил:

— Брат мой и соплеменник! Не обращайтесь внимания на сумасшедшего старика. Он воображает, будто занят размышлениями. Сыч он противный! Ночью то и дело заглядывает мне в лицо — хочет знать, сплю я или нет.

Человек даже не поднял глаз и лишь слегка вздрогнул, отчего свеча наклонилась, и неживой слезой на книгу упала капля воска.

— Ну, видите, все мы варимся в одном котле! — зло загоготал Янкель.

Его голос опять стал свистящим, а рука рассекла темный воздух и сорвала коричневое кашне, обмотанное вокруг шеи. Под кашне оказалась рана. Черная струйка крови запеклась на шее и на голой груди, покрытой легким пушком.

— Последний подарок Берлина! — засмеялся Янкель.

Огорченный Биньямин догадался, что Янкель борется с желанием что-то рассказать, что признание комом застряло у него в горле, и участливо спросил:

— Брат мой, пожалуйста, расскажите, что они с вами сделали...

Темноту пронзил ледяной смешок.

— Ну, знаете, вам признаваться — одно удовольствие: ничего не пропадает зря, все входит в ваше доброе сердце. Ох, сердце, сердце! А все почему? Потому что вы еврей, можно сказать, из наших. Ангел, а не еврей!

Заметив покорное выражение на лице Биньямина, Янкель смягчился и, согнувшись в три погибели, глухо сказал:

— Простите. На мой язык не надо сердиться. Вот уже два года, как ему тесно во рту: он не знает покоя, так и выворачивается, так и выворачивается.

Его сгорбленная спина неожиданно распрямилась, широко раскрытые глаза затуманились, а голос звучал по-детски растерянно:

— Подумать только! Два года! Даже не верится! Мне все кажется, что это случилось вчера. Каждое утро, когда я открываю глаза, мне кажется, что погром был вчера. Вам тоже так кажется, дорогой мой брат? Странно. Нет, в самом деле странно, что время остановилось. Понимаете, я все еще сижу в колодце. Понимаете, в том, куда я тогда спрятался. Вода мне по горло, а там наверху — круглый кусок голубого неба, он даже ни капельки не изменился. А потом стало тихо-тихо. Я и сейчас слышу, как кругом тихо. Вот, пожалуйста, — ни одного звука... Потому что, когда я вылез из колодца, у нас в местечке уже не осталось ни души. Синагоги тоже не было. Ничего уже не было. Кроме меня, конечно...

Янкель хитро подмигнул, словно в том и заключался необычайный фокус, который с ним проделали.

— Да, да, — зашептал он снова, — я всех-всех хоронил, все местечко — ноготка не осталось. И над каждым прочел молитву. Даже над этим паршивым жуликом Мойшеле, моим соседом. Над каждым, над каждым я прочел все молитвы. От первого до последнего слова. Я же в то время был знаменитым молельщиком перед Всевышним, ай, ай! И целую неделю я все хоронил и хоронил, хоронил и хоронил... В ме-

стечко носу никто не показывал — крестьяне боялись. А когда кончил хоронить — почувствовал себя глупо, неловко: ну, а теперь что? Понимаете? А дальше что? Что дальше? Было это на кладбище. Я очнулся, начал хватать камни и швырять их в небо. И в какой-то момент небо расколосось. Вы меня понимаете?

— Еще бы! — пробормотал Биньямин, глотая украдкой слезы. — Очень даже понимаю.

— Расколосось. Как простое стекло. И осколки на землю попадали. И вот тогда я себе сказал: «Янкель, если Бог — в этих осколках, что же в таком случае значит быть евреем? Ну-ка, посмотрим поближе». И что вы думаете? Как я ни смотрел, как ни разглядывал, кроме крови, я ничего не видел. Кровь, сплошная кровь... А смысла — никакого. Ну, ладно, а какое место занимает в мире еврейская кровь? Вот в чем вопрос. И что делать еврею, который больше уже не еврей? А?

В полумраке синагоги безумный взгляд молодого человека из Галиции делал его лицо неправдоподобным. То мертвенно бледное, то пылающее жаром, оно призрачно поблескивало от пота в желтоватом свете коптящих свечей.

— Что же не нашел себе хорошую еврейскую девушку? — боязливо спросил Биньямин. — Такой красивый парень...

Янкель на секунду сбился, но тут же тряхнул головой, словно отгоняя неуместное вторжение в его рассказ, и зарычал:

— Будете вы меня слушать или нет? — Он схватил Биньямина за локоть с такой силой, что тот даже вздрогнул. — Ну, значит, сегодня они устроили демонстрацию, — без всякого перехода заговорил он о чем-то другом, словно торопясь покончить со своим безумным признанием. — Нет, конечно, не евреи. Вы что же хотите, чтобы евреи начали выставлять напоказ свою беззащитность, свою слабость? Интересно, как вы себе это представляете: армия несчастных ок-

ровавленных сердец вышагивает по Унтер ден Линден — раз-два, раз-два... Так, что ли? Ой, вы — просто прелесть... Нет, — продолжал он с какой-то сдержанной яростью, — демонстрацию устроили спартаковцы. Серп и Молот. И вот, я увидел, как они идут по улице... Спокойно так — прямо река течет. А над головами — красное знамя. Я и сам не понимаю, почему бросился в их ряды... Но, хотите, верьте, хотите, нет — сначала они меня не распознали. Иду это я с ними в ногу, вижу перед собой знамя... Так странно было... Вы меня понимаете? Я даже их духом проникся. Ха-ха-ха! Но тут ко мне обернулся сосед: «А тебе какого черта здесь надо, жид? Тут ведь будет драка!» Он сказал это беззлобно, просто от удивления. Но тот, что шагал сзади, заорал: «Провокатор! Не иначе как провокатор!» И тогда... Тогда они вытолкнули меня на тротуар... Но я за себя отомщу! — неожиданно заорал он, переполошив всех обитателей спальни. — Отомщу! Вот увидите!

Мгновенно вокруг странного разговора выросла стена молчания.

— Что же все-таки они с вами сделали?

— Ничего. В том-то и дело, что ничего. Они же вас топчут, не замечая! Идут себе, а вы под ногами валяетесь. Вот они и шагают по вас! А как же иначе? И тогда я сказал себе: «Янкель, сердечко мое, ты мне доставишь большое удовольствие, если постараться не попадать больше в такое дурацкое положение». Вопрос только в том, что делать еврею, который больше уже не еврей? Что должен он делать, чтоб не стать на четвереньки? Сегодня я целый день об этом думал и, кажется, придумал. Это очень просто. Достаточно лишь... Словом, так: ага, ты хочешь потащить меня на бойню? Ну, так я сам стану живодером!

— Что с вами! Кого вы собираетесь убивать?

— Кто говорит «убивать»? — Янкель растянул рот в ехидной улыбке. — Никого не нужно убивать! Может, вы и готовы к этому, а я — нет. Мне еще

нужно подумать! Э, да о чем тут толковать... — вдруг добавил он рассеянно.

Усевшись на кровати поудобнее, он с любопытством начал следить за Биньямином своим пронзительным взглядом, как за пойманной птицей. Казалось, он вдруг увидел, что между ним и этим бледным трепыхающимся птенцом лежит целая пропасть. «Ну, как вам это нравится! — говорил его взгляд. — И что меня дернуло довериться этому пустому месту!»

— Ладно, — наконец, произнес он, насмешливо улыбаясь, — вам этого все равно не понять, вы еще стоите одной ногой в прошлом, так сказать, в сонной грезе. Впрочем, как и все эти несчастные, — добавил он, указывая величавым жестом на окружающих. — Ну, идите, идите. Дайте мне побыть одному.

— Да вы же сами начали разговор, — неуверенно возразил Биньямин.

— Знаю. Спасибо вам. Начал, потому что во мне еще живет маленький Биньямин, который бьет крылышком. Ай, как ему не хочется умирать! Посмотрите, посмотрите, как он отбивается! Тсс! Не мешайте нам теперь уснуть. Мне и ему. Ладно?

И вспомнив про недружелюбное окружение. Янкель раскланялся на все стороны и, улыбаясь, потрепал Биньямина по щеке. Потом он поднял длинные руки и спокойно стянул с себя майку, словно был один в четырех стенах. На голом теле, испачканном кровью, торчали худые ребра.

Биньямин молча посмотрел на него: что все это значит? Рассеянно поскребывая пейсы, он поднялся и, не сказав ни слова, прошел к себе. С чувством облегчения он перешагнул меловую черту и принялся готовить фрикадельки. Съел самую малость и улегся на матрац с мыслью о том, будут ли его сегодня заедать клопы, как обычно. В синагоге все еще стоял негодующий ропот, потом наступила ночь, огласившаяся плачем бессонных малышей. Биньямин закрыл глаза, и ему представилось, что меловой

прямоугольник начинает медленно подниматься вверх... Вот он уже превратился в стены, которые дошли до потолка и стали такими толстыми, что вскоре Биньямин почувствовал себя надежно укрытым от всего мира.

На следующее утро кровать Янкеля оказалась пустой. Но вернувшись из швейной мастерской, Биньямин обнаружил, что ее уже заняла похожая не черепашу старая дама, одетая во все черное. Не успел Биньямин с ней поздороваться, как она втянула голову в плечи, словно торопилась спрятаться в скорлупу своего возраста. Биньямина даже смех разобрал.

Тремя месяцами позже молодой человек из Галиции появился в последний раз. Рассеянный, ко всему равнодушный, сидел он на самом краешке кровати у Биньямина, ни на кого не смотрел и с какой-то, можно сказать, нежностью катал по одеялу оказавшуюся там катушку ниток. Его нескладную длинную фигуру украшал костюм английской ткани, а цыплячью шею наполовину скрывал крахмальный воротничок, под которым болтался ошеломительный галстук. Замедляя шаг, Биньямин еще успел отметить, что кудлатая рыжая пакля превратилась в прилизанную прическу с аккуратнейшим пробором посредине. Лицо по-прежнему было худым и бескровным, но губы пополнели и выпятились вперед.

— Простите, — сказал он, вставая и протягивая Биньямину холеную руку, — я позволил себе зайти в ваши апартаменты без приглашения.

Холодные глаза смотрели по-прежнему грустно, хотя пополневшие губы подрагивали в иронической улыбке.

— Чтоб меня холера взяла, если вы не стали другим человеком! Настоящий «господин»! — воскликнул Биньямин и тут же об этом пожалел.

— «Другим человеком», говорите? — огорчился Янкель.

— Но как? Каким чудом?

— Успокойтесь, брат мой, я никого не убил. Просто стал коммерсантом. Я торгую. Что, возможно, еще хуже.

— А чем вы торгуете?

Янкель улыбнулся хитро, как старая лиса, но глаза и на сей раз остались печальными.

— Брат мой, — по-мальчишески вызывающе сказал он, — в Берлине все покупают и все продают.

Острая жалость к Янкелю вдруг пронзила Биньямина. Рука его поднялась сама по себе и боязливой птицей опустилась Янкелю на плечо. Губы тоже раскрылись сами собой, давая волю откуда-то появившимся непривычным словам.

— Брат мой, очнись, прошу тебя! К чему тебе весь этот стыд, этот ужас?

Но Янкель, видимо, остался глух к его словам, и, испугавшись своей непрошенной смелости, Биньямин отдернул руку.

Однако его столь сильный душевный порыв все же подействовал на Янкеля. Он встал, напустил на свое постное лицо загадочную улыбку и дрожащим от усталости голосом пробормотал:

— Еврей. Настоящий еврей! Из наших! Ах, какой вы благородный. До того благородный, что хочется выбить вам зубы. Все до одного.

Он резко повернулся, переступил меловую границу и, пройдя по синагоге своим крупным неровным шагом, вышел и исчез навсегда.

А еще через час, забираясь под одеяло, Биньямин обнаружил между матрасом и подушкой спрятанный там конверт и догадался, что в нем целое состояние. Несколько строк на идиш были выведены каллиграфическим почерком конторщика: «Милый человек, эти деньги — вполне законная прибыль от вполне законной торговой сделки. Они украдены честно, по всем правилам коммерции. Видимо, скоро мне пред-

ставится возможность (по крайней мере я надеюсь) наворовать на собственный дом. Бросьте-ка вы грандиозный Берлин, перебирайтесь в провинцию и вызовите к себе родителей, если, конечно, они у вас есть. Потому что в Польше, мой друг, еврей еще может выстоять один, держась за свою селедку и синагогу, но здесь, поверьте мне, если, кроме собственных ног, других корней у вас нет, живые соки не дойдут до сердца. Даже до вашего, милый мой человек. Не судите меня строго. Спасибо. Ваш Янкель».

3

Биньямин вышел на перрон маленького прирейнского вокзала, пододвинул к себе перевязанный веревкой ящик (весь свой багаж) и очутился нос к носу с неким господином, одетым на немецкий лад, который, очевидно, и был штитленштадским раввином. Биньямину его облик скорей напоминал сатану, чем раввина, и поэтому он понес свой «чемодан» сам, утверждая, наперекор истине, что он легче перышка. По дороге раввин расхваливал мастерскую, которую ему удалось подыскать на Ригенштрассе. Просто находка!

— Господину Гольдфусу, владельцу мастерской, непременно хотелось облагодетельствовать какую-нибудь жертву преследований из славянских стран, а вы как раз и есть такая жертва, верно, дорогой единоверец? В стоимость помещения — не стоимость, а щедрое пожертвование — входит утюг, швейная машина и кое-какая мебель, правда, подержанная.

Все оказалось точно, как говорил раввин, кроме одной мелочи: Биньямин не представлял себе, что помещение и мебель могут оказаться настолько «подержанными».

— С другой стороны, дареному коню в зубы не смотрят, — заметил раввин, улыбаясь.

Пока они так беседовали, в мастерскую вошло че-

ловек десять, как Биньямину показалось, немцев. Они бросились к нему, начали пожимать ему руку. Биньямин испуганно вскрикнул и чуть было не потерял сознание, но тут он с облегчением заметил среди немецких лиц две-три еврейские бороды. Окружив его со всех сторон, посетители стали громко, как на базаре, рассуждать о нем.

— И не стыдно вам? — раздался низкий женский голос. — Вы же его совсем раздавите! Из него косточки вылезут, как из сливы!

Проложив себе дорогу к «жертве преследований из славянских стран», плотная еврейка в цветастом платье и в шляпе с перьями остановилась перед Биньямином, улыбаясь слишком ярко накрашенными губами.

— Раз так, — заявила она хозяйским тоном, не допускающим возражений, — он достанется мне!

— Что вы хотите этим сказать? — едва выдохнул Биньямин, предусмотрительно кладя руки на «чемодан», подле которого он понуро стоял, как на сторожевом посту.

— Да оставьте ваш ящик! Неужели вы боитесь, что эти господа его стянут?

— Ничего, ничего, — пробормотал Биньямин, чувствуя, что недоверие его возрастает, — смотрите, я поднимаю его, как перышко.

Однако он так пыхтел и сопел под непосильной тяжестью, что роскошная дама не сдержала своего любопытства:

— Брат мой, что там у вас такого ценного?

— Все, — ответил Биньямин, изнемогая от усталости.

Со вчерашнего вечера, с того самого момента, как Биньямин выехал из Берлина и поезд нырнул в туннель (вот оно, новое погружение в темные недра изгнания!), он ни на минуту не расставался со своим ящиком, в котором действительно заключалось все, чем он обладал на этой земле: два-три отреза, купленных по случаю, несколько утюгов, манекен,

ввинчивающаяся ножка к нему, гладильная доска, разные швейные принадлежности — словом, все, что удалось приобрести на те деньги, которые неизвестно почему подарил ему молодой человек из Галиции. Полагаясь больше на ящик (его трудно незаметно стащить), чем на свою способность распознать карманного воришку, Биньямин зашил остаток «состояния» в ту часть манекена, где заканчивается спина и начинается другая часть фигуры. В поезде щемящее чувство тоски, страха и опасения почему-то обернулось героическим решением напустить на себя вызывающий вид. Время от времени Биньямин издавал короткие восклицания, чем вызывал тревогу у своих попутчиков. Эти провинциалы, как замороженные, смотрели на странного заморыша. Одет на русский лад, отчаянно трет кулаком подбородок с жидкой бороденкой, глаза какие-то остекленевшие, но полные жгучего страдания...

Ночью Биньямину представилось, что отныне он видит мир глазами молодого человека из Галиции, и, к великому удивлению попутчиков, он ни с того, ни с сего сказал вслух на идиш:

— Да, я утверждаю и буду утверждать: в этом безрассудно-жестокоем мире на удар меча ответ один — удар меча.

Старая дама зажала рот, чтобы не закричать, и выскочила из купе. Если бы крик успел сорваться с ее губ, от «берлинской лихорадки» не осталось бы и следа, и Биньямин, наверняка, упал бы в обморок.

Итак, готовый к худшему, усталый и голодный, он увидел в штитленштадских евреях лишь немецкие манеры и непонятный интерес к своему драгоценному ящику. Биньямин даже не задумался над тем, куда ведет его эта представительная дама, так энергично им завладевшая. «Да он ничего не весит», — сказал Биньямин, когда она снова наметнула на непосильную тяжесть ноши.

Не согласился он расстаться со своим ящиком и в гостинной, хотя господин Фейгельбаум, муж модницы

с перьями, всячески пытался расположить Биньямина к себе хорошим приемом. (Прием, конечно, хороший, но наш «берлинец» научен жизнью). Даже в столовую он упрямо поволок «чемодан» за собой. И все же запах настоящего еврейского супа с мозговой костью, который, как считал Биньямин, умела варить только мама, зашекотав ноздри, наполнил его ощущением «человеческого счастья».

И когда Биньямин мечтательно опустил ложку в суп, произошло нечто странное. В груди образовался легкий комок, который затем разбух, поднялся к горлу и плотно его закупорил. Потом под желтоватой поверхностью супа появилась мама. Вот ее бритая голова, вот глаза, полные жгучего стыда... Вслед за мамой возник повелительный профиль отца, но почему-то без бороды: ее, наверно, чудом унес ветер. Потом всплыло бескровное лицо молодого человека из Галиции. Как языки пламени взметались и опали его рыжие вихры. Наконец, появились прижавшиеся друг к другу три лица, а вот и кровавая лужа, оставшаяся тем ранним утром после погрома в Земиоцке. Как по мановению волшебной палочки рождались и умирали под золотистой пленкой вкусного супа различные видения. Они разливали благодатное тепло по всей груди Биньямина, замороженно склонившегося над тарелкой...

— Боже мой, он плачет! — воскликнула мадам Фейгельбаум.

Биньямин покраснел и попытался изобразить улыбку.

— Не... не... Просто суп горячий, — промямлил он.

Скорее догадываясь, чем чувствуя, что по носу течет слеза, он поднес пустую ложку к губам, долго и старательно дул на нее и, наконец, отправил в рот.

До сих пор господин Фейгельбаум молчал и только хитро улыбался в бороду. Но тут он начал ругать жену, и та залилась краской.

— Ты что же, не видишь, что суп слишком горя-

чий! — напал он на жену, — Дура ты, дура! Сто раз тебе говорил: не подавай слишком горячий суп. Ну и дура же ты! Сто раз говорил...

Вдруг господин Фейгельбаум переменил тон и, лихо размахивая кулаком, принялся громко расхваливать «бутылочку», как настоящий пьянчужка. Но жена не двигалась с места, поддакивала мужу и, сияя от любви к нему, повторяла: «Бутылочка, ай да бутылочка!» Наконец, господин Фейгельбаум подвинулся к буфету и достал зеленую бутылку с длинным, как лебединая шейка, горлышком, в которой, как он утверждал, хранилось настоящее вино из самой Палестины.

— Уж очень она застоялась! — кичливо воскликнул он, вытягивая губы трубочкой. — Эх, дети мои, поверьте мне, она будет распита еще до прихода Мессии! Клянусь вам!

Биньямин с удивлением заметил, что бравый господин Фейгельбаум не совсем уверенно держится, и его крепкая рука дрожит, наливая драгоценную влагу, привезенную с горы Кармел. Но вот он поднял бокал (почти как гусар, подумал Биньямин) и затынул во все горло старинную песню на идиш:

Пой, брат мой, пой,

Пой, умоляю тебя...

А еще Биньямин удивился тому, что господин Фейгельбаум вкладывает столько души в этот напев, который, пожалуй, того не стоит, и в начале каждого куплета в уголках его глаз появляется сверкающий шарик, а к концу куплета — исчезает.

Вдруг певец прервал себя.

— Невинная душа, я вам тут такого петуха пускаю, а вы терпите...

— Но... — начал Биньямин.

— Ни слова! — приказал господин Фейгельбаум.

Потом одно за другим последовали разные блюда, каждое из которых Биньямин с удовольствием оставил бы на закуску. Но еще до того, как кончилась трапеза, в столовую начали гуськом входить евреи.

Они просили не обращать на них внимания и молча усаживались за стол — все больше напротив Биньямина. Умильно глядя на него, они одобрительно качали головами, словно он выполнял здесь священную миссию: как в капле воды отражал в себе страдания и гибель польских евреев. Совещаться начали незадолго перед тем, как приступили к умопомрачительному штруделю, возвышавшемуся посреди стола. Страсти разгорелись, и после двух часов споров и сложных рассуждений госпожа Фейгельбаум, настаивающая на том, чтобы Биньямин питался только у нее, пошла на следующий компромисс: на обеды она его никому не уступит, а ужины — пожалуйста, пусть делит с другими штиллейштадскими евреями, «если, разумеется, наш дорогой брат захочет к ним ходить», — добавила она не без коварства.

Уткнув нос в тарелку и дрожа от «человеческого счастья», Биньямин думал о том, что отныне и днем и вечером перед ним будет стоять прибор, стол будет ломиться от традиционных еврейских блюд, а он, Биньямин, будет блаженствовать. Успокоенный этой мыслью, он вдруг поднялся и начал рассказывать «наш еврейский анекдот», от которого, сказал он, «и мертвый захохочет».

Но рассказчиком он оказался никудышним: на каждом слове прыскал со смеху, терял нить, вставлял куски «совсем из другой оперы» и, сто раз извиняясь, начинал все сначала. «Вспомнил, вспомнил! — радовался он, но через секунду жаловался:— Ну, вот, опять забыл!»—и беспомощно размахивал руками, словно пытался поймать сбежавший от него анекдот.

Однако все непрерывно смеялись (что несколько задевало Биньямина), а некоторые из присутствующих, включая господина Фейгельбаума, прямо-таки помирали со смеху.

Штилленштадт оказался одним из прелестных немецких городков, сохранивших колорит былых времен. Тысячи игрушечных домиков под розовой черепицей, на окнах цветы в горшках — не город, а воплощение исконной немецкой сентиментальности, которая, проникая повсюду, связывает все воедино, подобно ласточке, что своей слюной соединяет отдельные хворостинки в уютное гнездо. Разница, однако, заключалась в том, что Штилленштадт не имел в себе ничего воздушного. Стоял он в долине и казался поддетым на вилы рекой, которая у самого входа в город разделялась на два рукава. Один из них, широкий и полноводный, питал обувные фабрики, выстроенные вдоль берега, и красильные мастерские, где чахли главным образом женщины. Другой, узкий и мелкий, робко бежал в деревню. Назывался он Шлоссе и был пригоден лишь для рыбной ловли и летних увеселений.

Сбитая на скорую руку дощатая перегородка отделяла мастерскую Биньямина от крохотной витрины, а коридор, выходящий на улицу, — от двухэтажной квартирki, сдававшейся впридачу к мастерской. Биньямину не терпелось поскорей заполучить клиентуру бывшего владельца мастерской, и поэтому раньше всего он начал наспех приводить в порядок «магазин», как он его уже с удовольствием называл. В первую очередь он приладил (волнующий момент!) коряво написанное на немецком языке объявление о том, что скоро откроется швейное заведение «Берлинский джентльмен».

Первые три месяца он спал на матраце, положенном посреди своей лачуги. Потом, когда он осмотрелся и успокоился, он стал подумывать и о том, как приукрасить «апартаменты».

Вначале ему казалось, что он живет не хуже американского миллиардера: швейная машина, заведение со стороны улицы... Но заказов было мало, и он ре-

шил сменить тактику. В квартале жил рабочий люд, проигранная война тяжело ударила по немцам, кризису не видно было конца. Приняв во внимание все эти обстоятельства, Биньямин изменил свой план действий. В одно прекрасное утро ошеломленные соседи увидели, что у эмигрантика появилась новая вывеска: закрывая часть витрины, огромная доска доходила до окон первого этажа, и на ней красивыми готическими буквами (нежно-голубыми на розовом фоне) было выведено: СПЕЦИАЛЬНОЕ АТЕЛЬЕ ПО ПЕРЕДЕЛКЕ И ПЕРЕЛИЦОВКЕ СТАРОЙ ОДЕЖДЫ — БАСНОСЛОВНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ — БЕРЕМ СТАРУЮ ВЕЩЬ — РАЗ, ДВА — И ВОЗВРАЩАЕМ НОВУЮ!!!

Биньямину так хотелось, чтобы «дело закрутилось», что он и в самом деле установил смехотворно низкие цены, граничащие с нечестной конкуренцией. В тот же день его завалили работой. На следующий день он орудовал иглой шестнадцать часов подряд и был счастлив. Ведь он уже думал, что потерпел крах. Поистине, только добрый гений мог подсказать ему поселиться в Штилленштадте. И мало-помалу по мере того, как проходили дни и недели, он стал забывать о низменной причине увлечения «Берлинским джентльменом». Биньямин дошел даже до того, что начал ублажать себя иллюзией (небесно-голубой на розовом фоне), будто его швейная машина окружена атмосферой всеобщей симпатии.

Поскольку он старался говорить на языке клиентов и тщательно выговаривал каждый слог, им удалось кое-что понять из его жаргона. Поэтому его так и тянуло беседовать с ними на темы, которые с одной стороны были доступны их немецким мозгам, а с другой приличествовали порядочному еврею и не слишком мучили его трудностями произношения. Больше всего располагали к установлению идиллических отношений между церковью и синагогой примерки. Втыкая булавку или приметывая отворот, Биньямин вился вокруг своего христианина, как му-

ха, и, стараясь завоевать его сердце, пускал в ход всю свою вежливость, всю любезность, будто хотел соблазнить женщину.

Прием клиента — дело кропотливое и утомительное.

— Не скажет ли мне господин, какой счастливой случайности обязан я... — легонько пожимал руку клиента Биньямин.

В рабочей блузе, в крестьянских штанах или при галстукe — клиент есть клиент и имеет право на соответствующее отношение к себе, которое, кстати сказать, вызывало у некоторых заказчиков недоуменное беспокойство. Но всецело поглощенный светской обходительностью, Биньямин не замечал ни вопросительно поднятых бровей, ни подозрительных, а подчас и откровенно недружелюбных взглядов. Ему нравилось думать, что эти простые люди от общения с ним перестают быть антисемитами, что им удастся разглядеть за его еврейской внешностью человека. Просто человека, как все люди! Видимо, у других евреев в этом городе общечеловеческая природа не так ярко проявляется — и в этом все дело. «Нужно показывать пример,—ликовал в душе Биньямин. — Уважение, которым я пользуюсь, сослужит хорошую службу всем евреям. Благодаря мне *goi* начинают понимать простые истины».

А еще через несколько недель он настолько осмелел, что рискнул употребить в разговоре кое-какие простонародные выражения, чем поставил себя на равную ногу с рабочими предместья. Нет, богохульственных слов или ругательств или, чего доброго, проклятий он, конечно, не произносил. Зато так смаковал выражения типа: «По рукам!» или «Брось, Карл!», или «Смех да и только!», так уверенно налегал на эти немецкие словечки всем своим тщедушным существом, что вполне можно было обойтись, как ему казалось, и без ругательств, хотя в могущественной силе последних он не сомневался.

Иногда он даже опускался до того, что, совсем как

простой христианин, поминал имя Божие всеу, правда, по-немецки и предварительно убедившись, что поблизости нет ни единого еврейского уха. «Э-эх, майн готт!» — робея, воскликнул он к крайнему удивлению клиента и тут же начинал мысленно читать молитву.

Движимый примерно теми же соображениями, он осторожно высказывал новомодные идеи и с удовольствием напоминал клиентам, что «толстосумы, сударь, наши общие с вами враги». Ему и в голову не приходило, что некоторые заказчики — особенно безработные — считали его одним из самых страшных капиталистов на всей улице. Поэтому после какой-нибудь примерки, во время которой Биньямин вкушал безоблачное «человеческое счастье», он, бывало, спрашивал себя, куда заведет его эта робкая симпатия к рабочему человеку. К счастью, на следующий день ледяной взгляд, насмешливая улыбка или указующий на него посреди улицы палец напоминали ему о том, что он — не более чем «жид».

Все-таки истинное «человеческое счастье» он находил лишь среди штитленштадских евреев, которые не только принимали его в свое общество, но еще как бы и почитали в нем некое тайное свойство, приписываемое его жалкой особе, подобно тому, как земиецкие евреи чтили ореол страданий, которым они окружили Ламедвавников. А может быть... иногда спрашивал себя с тревогой Биньямин. Но ему штитленштадские евреи не делали ни малейшего намека, и если разговор случайно касался тридцати шести Праведников, Биньямин убеждался, что немецкие евреи понятия не имеют о тайне, связанной с семейством Леви из Земиоцка. Только однажды раввин упомянул легенду о том, что Бог назначает Праведником одного из потомков знаменитого Йом Тов Леви, знаете, того, что умер в Йорке за священное имя Его? Нет, почти никто об этом не знал, и Биньямин успокоился на мысли, что эти «субботние евреи», как они сами себя с горечью называли, чтили

в нем яркое пламя польского иудаизма, видели в нем объект их великой жалости к этому иудаизму.

Через полгода Биньямину признались, как признаются в постыдном пороке, что город наводнен евреями, перешедшими в христианство. Они живут в аристократическом квартале, в этих роскошных шестиэтажных домах, что белеют за церковью. Ему рассказывали, какие злые эти выкресты, как они во всем подражают христианам (обезьяны им могут позавидовать!), как они особенно ненавидят эмигрантов из Польши и с Украины, называют их «азиатской ордой, отребьем человечества, подонками» и тому подобное. И когда ему показали одного из таких выкрестов (тот степенно проходил по улице, грузный и непроницаемый, как настоящий немец), Биньямина бросило в дрожь.

Второй вероотступник, которого ему показали, жил на Ригенштрассе, в нескольких домах от мастерской. Биньямин иногда видел, как он проходит мимо витрины, голова опущена, взгляд острый. В иные дни подбородок вероотступника был вытянут вперед, как нос корабля, в иные — униженно склонялся к груди. Типичный немецкий бургер: вид угрюмый, костюм военного покроя аккуратно застегнут на животе и сидит, как на манекене. Вероотступник работал в правительственном учреждении и принял христианство, по его словам, из патриотизма и потому, что на него сошла благодать. Биньямин вскоре узнал, что он всюду говорит, что Биньямин ест хлеб немецких рабочих.

— Он сказал, — донесла ему по секрету соседка, — будто вы даже не знаете, какого цвета немецкое знамя!

— Это я не знаю! — возмутился Биньямин, но так как он и в самом деле не знал, он убрался в свою мастерскую, сгорая от стыда.

Биньямин поджидал вероотступника, чтобы самым решительным образом выразить ему свое осуждение. Но стоило дрожащему с ног до головы Бинь-

ямину подойти поближе, как тот ронял едва слышное «пфьюйт» — и, задрав подбородок, шел себе дальше, презрительно вскидывая тросточку, словно его глазам предстало непристойное уличное зрелище.

И вот однажды этот вероотступник, по имени Мейер, явился в синагогу. Бросившись раввину в ноги, он начал жадно целовать его колени: «Не могу больше, примите меня обратно, сердце у меня осталось еврейским» и тому подобное. Раввин негодовал, гнал его прочь и, наконец, срочно созвал всех верующих Штилленштадта. В разорванной одежде, в ермолке на голове, посыпанной пеплом и землей, стоял вероотступник у входа в синагогу и униженно кланялся каждому входящему. Никто не отвечал на его поклоны. Не зная, чью сторону принять, Биньямин вошел в синагогу с высоко поднятой головой, но подрацки подмигнул вероотступнику, словно своему сообщнику.

Начался суд.

Забившись в последний ряд, Биньямин, как замороженный, не отрываясь, смотрел на странный силуэт вероотступника, который стоял на амвоне, вырисовываясь на фоне ковчега Завета.

По обе стороны два льва, присевшие на золотых ногах, стерегли несчастного, точно два жандарма в зале суда. На белом, как мука, лице пылали глубоко запавшие глаза. Пот струился по пеплу, падающему с взлохмаченных волос, и оставлял на лбу черные полосы, отчего страдальческое лицо напоминало карнавальную маску. На каждое оскорбление вероотступник преклонял колени, опускал голову чуть ли не до земли и, как метроном, бил себя кулаком в грудь. Губы его были крепко сжаты.

Не сводя с него глаз, Биньямин вспоминал, как однажды в Берлине, охваченный безысходной тоской, он твердо решил отправиться к христианам (к папе, к священнику или к какому-то еще церковному сновнику — он точно не знал) — «и пусть для меня

«все будет кончено». Поэтому теперь он видел себя на месте вероотступника и при каждом бранном слове невольно втягивал голову в плечи, словно удар нанесли ему. Вдруг бледный от бешенства господин Фейгельбаум взгромоздился на амвон и заявил, что сам видел, как его бывший друг детства, а ныне обвиняемый терзал своих родителей.

— Этому сатанинскому отродью показалось мало отречься от своей веры, он еще и родителей решил доконать. Пришел к ним в лавку и стал обзывать отца и мать «паршивыми жидами» и разными другими словами, которые я не могу повторить в этих святых стенах. Он не просто вероотступник, он еще и палач! Вот кто он такой!

Тут кто-то высказал предположение, что если вероотступник обратился в христианство чистосердечно, то и антисемитом он стал подлинным. «Поскольку, увы, эта религия по самой природе своей не терпит нас, верно?»

— Вы так считаете? — воскликнул господин Фейгельбаум и, повернувшись к вероотступнику, которого он испепелял взглядом, продолжал: — Неужели господин Генрих Мейер, в прошлом Исаак, может рассчитывать на то, что это послужит ему оправданием?

И тут случилось нечто такое, чего Биньямин решительно не мог понять. Вместо того, чтобы ухватиться за брошенную ему соломинку и сослаться на учение принятой им религии, вероотступник медленно поднялся и, чеканя каждое слово, презрительно кривя рот, с нескрываемой гордостью сказал:

— Вы что ж, серьезно думаете, что я хоть на минуту могу поверить в Бога, который, чтобы помочь бедным людям, не придумал ничего лучшего, чем, пройдя через тело девственницы, стать человеком, который перетерпел миллионы мук, потом смерть — и все это без мало-мальски серьезных последствий? Нет, — продолжал он снова униженно, — мой бывший друг Фейгельбаум прав, я терзал отца и мать потому,

что хотел жить, как христианин. Я стыдился быть евреем, просто-напросто стыдился.

— Ну, и что ты получил в награду? — презрительно спросил господин Фейгельбаум.

— Еще больший стыд.

Начали обдумывать наказание. Старались друг перед другом — кто изобретет более унижительное. Наконец, решили, что обвиняемый ляжет на пороге синагоги, и каждый член общины будет перешагивать через него. А тот бил себя в грудь и молил о еще большем наказании, изъявляя готовность «принять любые муки». Вдруг кто-то произнес имя Биньямина.

— А почему молчит наш брат из Польши? Возможно, он даст нам полезный совет или приведет в пример подобный случай.

Биньямин весь сжался, надвинул ермолку на самые глаза, словно прикрываясь от огня взглядов, наведенных на его маленькую особу.

— Послушайте, — наконец, пролепетал он, — я, право, не знаю, у нас в Зе... Словом, у нас никогда ничего подобного не случилось. Но помнится мне... да, да, конечно... еще в XV веке рабби Исраэль Иссерлейн сказал: тот, кто возвращается в иудаизм... вы меня слушаете? Значит, тот, кто возвращается в иудаизм, сам на себя налагает вечное наказание... Да, именно так: «вечное наказание»...

— Ну, и что же? — воскликнул плотный краснолицый сосед Биньямина, у него даже очки затряслись от волнения.

— Ну и что же... Ну и что же... — беззвучно повторил Биньямин. — А то, что... посмотрите на него! — вдруг взорвался он и, показав на вероотступника, отчаянно взвизгнул: — Как вы не понимаете! Он отказался от всех благ, какие дает христианство, от всех преимуществ... взвалил себе на плечи... чего только он не взвалил себе на плечи и чего только эти плечи не должны теперь вынести... Верно? Значит, он искупает свою вину... раз он снова становится... Не так, что ли? А раз так — зачем же еще навешивать

ему камень на шею? — закончил Биньямин на дрожащей от скорби ноте, что поразило верующих больше всех слов, вместе взятых.

Обведя растерянным взглядом умолкших собратьев, Биньямин, казалось, вдруг вспомнил, что он человек маленький: он опустил узкие плечи, весь задрожал, спрятал руки под талес и так стремительно сел на место, что ермолка опять наползла ему на глаза.

Вскоре, однако, из-под дрожащей ермолки снова послышался тоненький голос:

— Это точно, что рабби Исраэль Иссерлейн это сказал. Клянусь вам... Да и потом, кто так-таки ни разу об этом не помышлял, кто?

Эти слова были встречены глубоким молчанием. Все остолбенели, не веря своим ушам. Потом поднялась суматоха, как на ярмарке. Биньямин прирос к скамейке, и до него смутно доходили какие-то странные обрывки фраз: «Вот кто говорит как настоящий еврей!», «Неужели мы уже все позабыли?»... Чей-то пронзительный голос стрелой взвился над старейшинами, сгрудившимися вокруг амвона: «Кто ни разу об этом не помышлял, кто?»

Когда, наконец, все успокоились, штилленштадтский раввин кротко попросил вероотступника сесть среди верующих; «как раньше», — сказал он.

И тогда случилось невероятное.

Угромо молчавший до тех пор вероотступник залил саркастическим (а по мнению некоторых, сатанинским) хохотом, занял место раввина, который только что спустился с амвона, и принялся поносить присутствующих. Те пришли в ужас от такой внезапной перемены. С перекошенным от ярости лицом он проклинал Биньямина; он сорвал с головы ермолку, с издевкой швырнул ее на пол, топтал ее ногами, наконец, не переставая истерически хохотать и богохульствовать, он направился к дверям.

— Жидовской бойней тут несет, вот что! — выкрикнул вероотступник и вышел из синагоги.

Назавтра стало известно, что вероотступник покинул город, однако разговоры о нем не утихали. Раввин даже сказал, что Биньямину не следовало вмешиваться (пусть бы нес свое наказание), и на нашего апостола милосердия начали посматривать ко-со: у него, оказывается, есть странности. Только супруги Фейгельбаум чувствовали за этими странностями нечто недоступное человеческому пониманию.

Биньямина перестали приглашать в гости; «эта птица предвещает недоброе», — говорили о нем. И тут он купил лист дорогой бумаги и сочинил письмо, которое собирался написать с самого отъезда из Земиоцка.

Это послание, сохранившееся в анналах истории, начиналось так: «Дражайший и почтеннейший мой отец, и ты, моя дражайшая и почтеннейшая мать! Вот уже скоро два года, как ваш покорный сын вынужден был покинуть вас в поисках такого места на земле, где можно свить себе гнездо. Сегодня мое сердце, переполненное радостью, говорит вам: приезжайте, мои любимые, потому что настал, наконец, тот момент, когда птенцу с Божьей помощью удалось...»

Добравшись сквозь поток библейских образов и сравнений до сути, Юдифь радостно воскликнула:

— Ну, теперь с Земиоцком покончено!

— Ты, я вижу, вне себя от восторга, — горестно сказал Мордехай, — чего же ты ждешь? Почему мы еще не в поезде?

Всю дорогу сидел он неподвижно, как изваяние. Юдифь не обращала внимания на всякую чепуху, мелькавшую за окнами железного чудовища: она смотрела на Мордехая. Лицо его, выражавшее безропотную покорность судьбе, отяжелело, вокруг горбатого носа залегли горькие складки, невидящий взгляд устремился в пространство и застыл. Он молча качал головой, словно не мог поверить, что все это происходит наяву. Юдифь даже слышала, как

он бормочет в бороду: «Разве такое возможно... Леви из Земиоцка и вдруг...»

Биньямин ждал их на маленьком вокзале в Штиленштадте. Два года назад на этом же вокзале вышел из поезда тшедушный и юркий молодой человек, заросший бородой до самых глаз, словом, бесспорный еврей. Юдифь ожидала увидеть именно такого Биньямина: польские сапоги, черный кафтан, черная круглая шляпа... По правде говоря, черты его лица она помнила смутно, в памяти больше запечатлелся его маленький рост: рост всегда легче запоминается. И вот теперь, выйдя из вагона, она увидела перед собой невысокого немецкого господина. Длинные уши, приплюснутый, как у зайца, нос, остренький подбородок, и только взгляд остался таким, как был у Биньямина. У нее сжалось сердце. Почему у него такой жалкий вид? Может, оттого, что лицо без бороды? Во всяком случае Биньямин произвел на нее впечатление освежеванного зайца. С него шкуру содрали, а он, как ни в чем не бывало, куда-то скачет, что-то грызет и не замечает, что мышцы и нервы у него оголены. И мордочку скривил, будто улыбается... Да что ж это такое? Что произошло? «Ах, мне просто повезло!» — беспомощно твердил Биньямин. Так ей и не удалось что-нибудь еще из него выжать. Юдифь поняла: она не знает своего сына и никогда его не знала.

Мордехай холодно прижал к груди этот жалкий ошметок семейства Леви и позволил отвести себя «домой», как уже называла Юдифь квартиру Биньямина.

Чета Леви произвела сенсацию на улицах Штиленштадта. И он, и она, казалось, явились из прошлого века — ожившие персонажи старинных гравюр. Исполненные простодушного величия, во всем черном, выступали они степенно, неспешным шагом, занятые только собой, и, кроме маленькой фигурки, приплясывающей впереди, ничего не видели. А Биньямин обхватил тонкими руками множество пакетов

и пакетиков, которые Юдифь непременно хотела иметь при себе, и покорно тащил их. Мордехай нес на правом плече кожаный чемодан, а левой рукой опирался на плечо Юдифи. Оба были еще красивы той величественной красотой сильных людей, которая не изменяет им до конца жизни.

Биньямин тщательно продумал меню для приема дорогих гостей. Он боялся, что Юдифь устанет с дороги, и упросил госпожу Фейгельбаум приготовить торжественный стол.

— Это еще что за новости! — воскликнула Юдифь, заглядывая в сверкающую, как новая монета, кухню. — Ты что же, уже не доверяешь собственной матери? Почему это тебе варит какая-то здешняя еврейка? Еще неизвестно, какая она там еврейка!

Она долго и подозрительно нюхала каждое блюдо — одно слишком переварено, в другом тесто плохо вымешано. «Даже фрукты мама осмотрела!» — благоговейно отметил Биньямин.

Приступ той таинственной лихорадки начался как раз после супа.

Биньямин сидел в конце стола, справа от него — Юдифь, слева — Мордехай, точно, как бывало в последние дни его жизни в опустевшем после погрома Земиоцке. И, очутившись снова между двумя надежными опорами, он почувствовал почву под ногами. Кухня показалась такой знакомой, уютной... Стены побелены собственноручно, сверкающие плитки, которые он чуть ли не языком вылизал, вещи, приобретенные по одной на деньги, заработанные в поте лица, — все вдруг стало таким дорогим его сердцу... Он начал замечать в каждой вещи тысячи достоинств, о которых раньше и не подозревал. На трехножной жаровне что-то уютно шипит, но Биньямину неловко посмотреть, что там так вкусно пахнет. Отец пожевал кончик уса, опустил ложку в тарелку и устало проворчал:

— Значит, никто в Штилленштадте не знает, кто мы на самом деле такие?

К великому удивлению Юдифи, Биньямин насколько не смутился.

— Нет, — сказал он твердо, — никто не знает. И не узнает, — с раздражением добавил он, словно пригрозил.

— Так-так, — только и сказал Мордехай.

Он положил скрещенные руки на скатерть и застыл, выражая всем своим видом глубокую, полную достоинства печаль. Юдифь попробовала суп и причмокнула, и на лице ее отразилось полуодобрение и полуотвращение.

— Не так уж плохо для немки, — обратилась она к восхищенному Биньямину. — Я, правда, всегда кладу немного петрушки. Так ты говоришь, эта самая Фейгельбаум...

Бедный Биньямин вглядывался в спокойный прямоугольник стола, за которым сидел и он, в уютный прямоугольник кухни — неотъемлемую часть дома, и ему вдруг показалось, что он избавился от кошмара того другого прямоугольника, тесного и призрачного, который был начертан мелом и душил его в Берлине. Чтобы не потерять самообладания, он начал катать хлебный шарик и в тот же момент почувствовал, как в жилах тяжело застучала кровь после долгого, долгого застоя.

— Да он же обливается потом!

— Кто, я? — спросил удивленно Биньямин и, поднеся руку ко лбу, почувствовал, что она у него дрожит.

Когда на третий день этой странной лихорадки Биньямин утром проснулся, он почувствовал необычайный прилив сил и тотчас же принялся за работу. Взгляд у него оживился, лицо посвежело, делал он все с каким-то любовным вдохновением, отчего казался помолодевшим и еще более подвижным, чем прежде. Поэтому Юдифь заключила, что у него сменилась кровь.

После погрома в Земиоцке Мордехай очень изменился. Этот новый свой вид он сохранил уже до смерти. Ему предстояло еще поседеть, сгорбиться, покрыться морщинами, но массивная фигура и неторопливость движений — главное, что отличало его внешность, — не изменялись уже никогда. Подобно старому слону, который поднимает ногу так, словно с трудом вытягивает ее из самой неподвижности, он двигался как бы нехотя, всем своим видом выражая сожаление о нарушенном покое. В Штилленштадте он располнел и совсем стал похож не то на древнее животное, не то на могучее дерево под снежной шапкой. Однако полнота не коснулась его лица, как бы защищенного напряженной работой мысли. Тонкий нос по-прежнему был устремлен вперед, а тяжелый неподвижный взгляд серых глаз, казалось, покоится на выступающих скулах и видит не только зримые вещи.

Юдифь быстро перешла в третью фазу своей жизни, чего никак нельзя было сказать о Мордехе. Он жил «вполсилы». Как улитка прячется в свой домик, так он ушел в свою набожность, и с каждым днем это убежище становилось все более прочным.

Юдифь еще в Земиоцке заметила, что смерть трех «настоящих» сыновей нанесла Мордехая более чем смертельный удар: она разрушила всякую надежду на продолжение рода Праведников по его, Мордехая, прямой линии. Мордехай стал ко всему безразличен и постоянно спрашивал ее совета, как ребенок, которому послушание заменяет необходимость решать что-либо самому.

Однако вскоре после отъезда Биньямина ей показалось, что она замечает в муже кое-какие приметы возвращения к жизни: Мордехай начал смотреть на нее томным взглядом, улыбаясь, уверял, что она все так же красива, как прежде, и проявлял такую пылкую страсть, что бедная Юдифь не знала, что делать: оплакивать столь недавнюю утрату или радоваться тому, что муж снова обретает силу плоти. В смущен-

нии она лишь повторяла избитые истины типа: «се-дина в голову — бес в ребро», «лебединая песня» и так далее то ли в знак одобрения, то ли, наоборот, порицания. Вскоре Мордехай начал задавать ей все более и более недвусмысленные вопросы и, наконец, прямо спросил, не чувствует ли она каких-либо признаков «новой жизни». Бедная Юдифь поняла, что ее муж — это могучее древо — надеется на последний свой плод. Она ему напомнила, что ей пятьдесят, однако добавила, что с Божьей помощью все возможно. Если бы кто-нибудь сказал Аврааму, что Сарра выкормит своей грудью ребенка, он поверил бы? Но родила же она ему на старости лет сына!

И только в Штилленштадте прекратились их супружеские отношения.

Однажды ночью в разгар объятий она почувствовала, как он оттолкнул ее плечом, и поняла, что ее суровый любовник, спохватившись, отвернулся к стене.

— Спокойной ночи, жена моя, — послышался в темноте голос Мордехая.

Юдифь крайне удивилась, не понимая внезапно-сти такого решения. И все же, как следует поразмыслив, она вынуждена была себе признаться, что оно вовсе не застало ее врасплох. Не раз уже чувствовала она в неослабевающей страсти мужа примесь некой скрытой горечи, некоего скрытого упрека за то, что она такая красивая, такая желанная. Чем старше он становился, тем больше казалось, что порывы страсти навязаны ему плотским желанием, без радостного согласия его духа — не то что в первые годы их брачного союза. Но с той ночи, когда он пресек в себе и плотские желания, она начала замечать, что взамен он выражает ей больше дружелюбия, больше снисхождения и какой-то новый вид уважения.

Однако с каждым днем становился он все более далеким — холодное светило, неустанно вращающееся по тихим орбитам своих молитв и покаяний. Юдифь интуитивно чувствовала, что из тех небес-

ных далей, откуда он отныне устремлял к ней тяжелый и медлительный, как зимние тучи, взгляд серых глаз, любовь он приносил ей и только ей. И, хотя в ней еще жила женщина, этот преждевременный и преднамеренный разрыв супружеских отношений ее радовал, ибо в нем она видела некое тайное воздаяние почести ее красоте, своего рода возложение последних цветов на пьедестал ее плоти.

Последняя нить, связывавшая Мордехая с повседневной жизнью, была разорвана тонкими, но ловкими руками Биньямина.

С самого приезда в Штилленштадт Мордехай устремился на поиски какого-либо занятия, не желая, как он многозначительно говорил, быть сыну в тягость. Что он, не привык зарабатывать себе на хлеб?

Но в Германии свирепствовала безработица, и старому человеку, к тому же иностранцу, да еще еврею, не находилось места. После многих унижительных попыток Мордехай понял, что выброшен за борт, и в один прекрасный день он прибил к мастерской сына, целиком заполнив ее своей громадой. Он хотел научиться пришивать пуговицы, утюжить борта, выдергивать наметку, словом, освоить работу десятилетнего подмастерья. Но «одеревеневшие», как он говорил в свое оправдание, пальцы не могли заменить ловких рук Биньямина, и тому приходилось все переделывать заново. Биньямин в душе проклинал отцовскую манию быть полезным, но терпеливо молчал. Наконец, он не выдержал и заявил, что так продолжаться не может. Только тогда Мордехай отказался от мысли зарабатывать себе на кусок хлеба.

«Не покинуть мир, который покинул тебя, — не только несчастье, но и безумие; что ж мне, служить посмешищем?» — думал он про себя.

Он расстался с мастерской, забился в свою комнату и засел за священные книги.

Биньямин его успокаивал, увещевал, говорил, что

в каждом еврейском доме должен быть благочестивый человек, который молит Всевышнего за всех, при случае охотно отмечал превосходство молитвы над низким занятием портного («хрусталь резать — не бумагу кромсать», — говаривали резчики хрустала в Земиоцке) — одним словом, всячески старался его утешить.

Так, поддаваясь уговорам и с каждым днем все больше замыкаясь в себе, старый Мордехай постепенно забыл о зияющей ране, нанесенной его мужскому самолюбию: сын орудовал иглой, жена ведала хозяйством, а он трудился во спасение их душ.

И все же в один прекрасный день, задумавшись, как обычно, между двумя строфами молитвы над своим ничем не примечательным жизненным путем и бесславным концом, еще ожидающим его впереди, Мордехай в отчаянии решил, что нужно иметь внуков. Эта мысль его приободрила. Он быстро перебрал в уме штилленштадтских девиц на выданье и самой подходящей из всех нашел пигалицу Блюменталь, которая, казалось, рождена была для маленького двадцатипятилетнего портняжки. Мордехай едва ли взглянул, как выглядит его будущая невестка выше талии: ее округлые бедра обещали быть плодородными — это главное. Биньямин сначала взволновался, а потом понял, что отец хочет возместить потерю своих трех «настоящих» сыновей, и согласился, чтоб ему устроили встречу с пигалицей Блюменталь.

Она ему даже понравилась. Встреча с ним так очевидно ее взволновала, что он начал благосклонно рассматривать ее, пожалуй, слишком удлиненное лицо, плотно облегающее фигуру платье и особенно глаза: они у нее были такие голубые и бесхитростные, такие испуганные, но все же светились детским любопытством. А когда она залилась краской, он нашел ее даже желанной.

— Ну? — осведомился Мордехай, когда Биньямин вернулся.

Биньямин молча смотрел на него.

— Нет? — встревожился старик.

— Да... — лукаво улыбнулся Биньямин и, не дожидаясь поздравлений, погрузился в повседневную работу.

Он поднялся наверх, переоделся, тут же снова спустился в мастерскую и засуетился, не зная, за что раньше взяться.

— Ну, ладно, этим сыт не будешь, — произнес он вслух так значительно, что и сам удивился.

А потом в разгар работы, когда он меньше всего ожидал, внутри что-то екнуло, и он рассмеялся.

6

Часом позже, когда Мордехай зашел в мастерскую, Биньямин сидел по-турецки на закрытом столе и, положив пиджак на колени, быстро орудовал иглой. Висевшая прямо у него над головой лампочка обливала его ярким светом.

— Ты почему не носишь очки? — озабоченно спросил Мордехай.

Биньямин поднял на него глаза. От долгого шитья веки стали красными и воспаленными.

— Ну, ты доволен? — спросил он.

— Доволен, — ответил Мордехай. — Я только жалею, что они ничего не знают. Нужно им сказать, не откладывая в долгий ящик.

— А чего говорить, они и сами увидели, что девушка мне понравилась.

— Я не о том, сын мой, — сказал Мордехай сдавленным голосом.

Он шумно вздохнул, раздувая усы, и впервые со времени приезда Мордехая в Штилленштадт Биньямин увидел его не погруженным в самого себя.

— Я о другом... Им нужно сказать, кто мы такие. Кто мы на самом деле. Понимаешь?

При этом головокружительном «на самом деле»

Биньямин взмахнул иглой, и рука застыла в воздухе, словно покоясь на волнах электрического света.

— Извини, — сказал он, наконец, моргая от усталости и необъяснимого страха перед отцом, — но мы им ничего не скажем.

— Так-таки ничего?

— Так-таки ничего, — сухо подтвердил Биньямин.

— И ей тоже ничего не скажешь?

Биньямин поджал губы.

— О том, что ты страшный безбожник, я давно догадываюсь, — глухо пробормотал Мордехай, — но дети... Как же дети?

— Какие еще дети? — холодно спросил маленький портной, и рот Мордехая начал медленно растягиваться, обнажая желтые камни щербатых зубов, словно освобождая путь стремительному валу, который с грохотом обрушился на оторопевшего Биньямина.

— Разве когда собираются жениться, не думают о детях?

Двое любопытных прохожих застыли перед витриной мастерской.

Биньямин опустил плечи, еле заметным движением уклонился от хлынувшей на него волны гнева и тоненьким голосом робко возразил:

— Будут сыновья, не дочери — узнают попозже. Не стану я забивать им головы разными историями. Должен тебе признаться, мой почтеннейший отец, что я и сам в них больше не верю.

Боязливо съеживаясь и опуская голову чуть ли не до колен, он добавил на слабой высокой ноте голосом, исполненным горечи:

— Не хочу больше верить! Слышишь, папа, не хочу.

Не успел он закончить столь невероятное признание, как из груди Мордехая вырвался такой душераздирающий крик, что Юдифь с кастрюлей в руках прибежала из кухни.

Поняв с полуслова, в чем дело, она немедленно

вмешалась в спор о будущей судьбе семейства Леви и начала ее обсуждать так, словно все события, о которых шла речь, уже свершились. То потрясая кастрюлей, то нежно прижимая ее к себе, она кричала:

— Кто это собирается им говорить? Как Всевышний, да святится имя Его, захочет, так и будет! Еще не известно, как птенчика назовут, но будет так, как решил Всемогущий. Рано или поздно, птеник все равно узнает. Боюсь только, что рано, а не поздно, — горячилась она. — Не дай нам Бог иметь Праведника! Пощади нас, Всевышний!

— Папа, папа, — снова начал взволнованно Биньямин, — ты же сам знаешь, не стоит. можно сказать, быть Ламедвавником, во всяком случае — на этом свете, может, на том...

Подавленный их численным превосходством, Мордахай медленно отступил к двери. Уже открыв ее, он погрозил указательным пальцем и произнес тоном высшего презрения:

— Ради того, чтобы сохранить жизнь, потерять всякий смысл жить?

И он сдался, окончательно утратив какую бы то ни было связь с сыном.

В день свадьбы он едва поздоровался с родителями невесты, а саму барышню Блюменталь как бы и не замечал: она ему больше ни на что не годилась, она перестала давать пищу мечте всей его жизни. С того раза он целиком погрузился в свою старость.

— Этот старый слон, — говорила отныне Юдифь о своем муже, — этот старый отшельник, эта каменная глыба...

Хоть и крохотная и тонюсенькая, Лея Блюменталь была тем не менее хорошо сложена. Однако на это обратили внимание лишь в день свадьбы, благодаря соседке, которая помогала ей наряжаться. В Лее, казалось, не было ни капли природного кокетства: всегда опрятная, но без прелести, волосы тщательно

убраны, но прически настоящей нет, платьица аккуратненькие, но неинтересные.

Господин Биньямин Леви, ее супруг, постоянно задавался вопросом, как ей удается сохранить узкие и белые руки богатой женщины. Он так никогда и не заподозрил, что эта девственная белизна требует к себе внимания. Он не замечал, к каким ухищрениям прибегала жена, чтобы не сломать ноготок при чистке картошки, чтобы не поранить кожу, тонкую, как драгоценная шкурка горностая.

Юдифь вообще утверждала, что ее невестка ни к чему не притрагивается руками: она все делает щипчиками!

Что же касается Биньямина, то он был в восторге. Ночью, когда жена спала, он любил ощущать на своей ладони эти пальчики, которым его воображение придавало самые различные формы: зверьков, растений и даже пяти волосков, что уж совсем походило на бред, но он с упоением поглаживал их на мягкой поверхности подушки.

Первое время после свадьбы его удивляло, что она не перестает «вылизывать себя, как кошечка». Каждый раз после супружеских ласк она спускалась в кухню и мылась с ног до головы. Его терпение, в конце концов, лопнуло бы, но всякий раз она чуть-чуть душилась под мышками, отчего все ее свежеемытое тело начинало благоухать, а потом она появлялась в ночной рубашке, держа свечу подальше от волос, свежая и застенчивая, как ребенок, и комната наполнялась легким сиянием, и тени уходили прочь, и сердце господина Биньямина Леви начинало учащенно биться.

— Ну, госпожа Блюменталь, — говорил он, взволнованно улыбаясь, — нагулялись вдоволь?

— Так я же хотела сделать тебе сюрприз, — покорно отвечала она, садясь на край кровати, и в оправдание бегства с супружеской постели подносила ко рту своего скромного повелителя яблочко или бутерброд с маслом, или кусочек сахару.

Однажды он застал ее за странным занятием. Затянув пояском талию, она стояла в ночной рубашке одна посреди комнаты и, извиваясь, принимала призывные позы, словно русалка на вывеске парикмахерской. Распушенные по плечам волосы делали ее похожей на пушистого зверька, старили ее личико и вместе с тем придавали ему выражение детского кокетства. Биньямин расхохотался. На единственном примере своей жены он теперь знал, что все женщины — маленькие девочки, засидевшиеся в невестах; у всех у них тело развито больше, чем ум, и они любят окружать себя несуществующей тайной. И только позже он узнал, что маленькая Блюменталь жила в узком мирке, населенном страхами и еще двумя-тремя чувствами, тоже страшными по своей примитивности, в числе которых были любовь к нескольким существам и задушенная радость, доставляемая плотью.

Страх она унаследовала по прямой линии от матери, женщины властной и по натуре и на вид, но ставшей беспрекословной рабыней господина Блюменталья. На нее иногда нападали приступы жестокости, и в такие моменты она испытывала особое наслаждение. Но болезнь превратила ее в настоящую сварливую злюку, и, когда она умерла, господин Блюменталь не придумал ничего лучшего, как тотчас же жениться на такой же злюке. Маленькая Блюменталь терпела гнет этой чужой женщины вплоть до своего замужества, которого неистово добивалась ее мачеха. Вскоре та поняла, что город с будущим — не Штилленштадт, а Берлин, и пигалицу Блюменталь оставили на милость семейства Леви. Отъезд отца она восприняла как расставание с жизнью: на этот раз она окончательно потеряла почву под ногами.

Само собой разумеется, что теперь больше всех на свете она боялась Юдифи. Каждое распоряжение свекрови бросало ее в дрожь. И хотя Муттер Юдифь была свирепа только на словах, маленькая фрау Леви сгибалась, чуть выставляя локоть, слов-

но боялась, что рано или поздно ее по-настоящему ударят. При этом, правда, она смотрела чудовищу прямо в глаза. Юдифь даже смушалась, встречая этот нежный взгляд в ответ на свою вспыльчивость. Как будто фары маяка обливают светом ни с того ни с сего разбушевавшееся море. До рождения первенца маленькая Блюменталь покорялась малейшему движению грозных бровей. Муттер Юдифь была единственной хозяйкой дома и, боясь, как бы невестка не вторглась в ее владения, прибегала не к одной, а сразу к двум мерам предосторожности: доверяла невестке разные дела только нехотя и никогда не скрывала от нее, что сама сделала бы их куда лучше. Так было до первых родов маленькой Блюменталь.

Наступившая немедленно после свадьбы беременность послужила новым поводом к унижению будущей мамы Леви: Муттер Юдифь обращалась с ней как с хранительницей драгоценности, принадлежащей в первую очередь семейству Леви, или точнее, как с флаконом для духов, который, разумеется, не способен понять, какой ценности влага в нем содержится. Заботясь о зарождающемся ребенке, Муттер Юдифь приказывала флакону находиться в лежачем положении, пить как можно больше пива и ни на минуту не забывать о незаслуженной чести бытьместилищем одного из отпрысков семейства Леви.

— Осторожно с ребенком,—говорила она таким тоном, что получалось: «Помни, что ты носишь нашего потомка».

В порыве невольного протеста маленькая фрау Леви сверлила Муттер Юдифь своим робким, но упорным взглядом ручной птицы и, наклонясь, подхватывала ладонями огромный живот. С тех пор, как ребенок начал в ней шевелиться, этот жест профессионального носильщика вошел у нее в привычку.

Конфликт вспыхнул в родильном доме. Тоненькая, но полногрудая роженица лежала, слегка приподнявшись на подушках, а Муттер Юдифь, держа на коленях запеленатое существо, сидела у нее в ногах и

принимала поздравления посетителей. Все восхищались мальчуганом, выслушивали авторитетные комментарии Муттер Юдифь и время от времени поглядывали на роженицу, как бы вспоминая: «Ах, да! Она ведь тоже имеет к этому некоторое отношение!»

Вдруг маленькая Блюменталь резко приподнялась и не своим голосом закричала:

— Отдайте его сюда, он мой!

Воцарилось неловкое молчание. С соседних кроватей слышался шепот. Побагровев, Муттер Юдифь нахмурила брови и не спускала глаз с невестки, но та, бледная и задыхающаяся, оперлась на руки и оставалась непреклонной, исполненная новой ненависти и новой любви. Однако как только ей отдали ребенка, она приложила его к груди, повернулась на бок и почти сразу же заснула, настолько обессилил ее этот исключительный взрыв энергии.

Господин Биньямин Леви втайне ликовал, а растроганный Мордехай уважительно заявил: «Да хранит нас Бог, вот и появилась в нашем доме настоящая волчица». Муттер Юдифь не сказала ничего: пока пигалица не отнимет детей от груди, она будет оставаться их матерью.

Настоящая драма разыгралась позже.

Дети уважают только высший авторитет. У Мордехая всегда хватало благоразумия в их присутствии отступить перед господином Биньямином Леви на задний план. Но ничего подобного не делала Муттер Юдифь. Когда внуки подрастали настолько, что могли уже ей подчиняться, она незамедлительно занимала пост «главной мамы». Таким образом пигалице дали отставку, сохранив за ней лишь право выкармливать младенцев. Она, в конце концов, привыкла к тому, что дети постепенно от нее отдаляются, и видела в том неизбежность судьбы. На Муттер Юдифь она смотрела просто как на первый шаг к окончательному разрыву с подросшими детьми, который для ее материнского сердца означал уход в небытие. Более того, она даже прибегала к авторитету Муттер

Юдифи и, если дети не сразу ее слушались, скрепя сердце, вызывала «главную маму». Маленькая Блюменталь не сомневалась, однако, что неиссякающим источником материнства, таинственным образом питающим сердце каждого ее ребенка, оставалась именно она и только она. Именно за ее юбку держались неблагодарные существа, когда им почему-то становилось грустно, именно подле нее усаживались они в кухне, когда их охватывала беспричинная тревога, которая утихает при звуке лишь одного-единственного голоса из всех, какие есть на свете.

Муж ее ничем не отличался от остального человечества: ни в грош ее не ставил и, если обращался к ней, то лишь затем, чтобы посмеяться, как над малым ребенком.

А ведь когда-то давно, когда она действительно была еще глупой девочкой, она мечтала о муже, для которого она будет хоть что-то значить, в жизни которого будет играть хоть какую-нибудь роль.

Но господин Биньямин Леви обращал на нее внимания не больше, чем на букашку, и не раз она сдерживала желание вдруг подойти к нему и спросить, какого цвета у нее глаза. Полагая, что он не сможет ответить на ее вопрос, она в отчаянии представляла себе, как он небрежно скажет: «Что? Глаза? Ну, как же они... они... Слушай, не приставай ко мне с разными глупостями!» Она была убеждена, что он никогда в них не смотрел.

Но в этом она как раз ошибалась, впрочем, как и во всем остальном. Потому что чувствительный Биньямин знал не только, какого цвета у его жены глаза, но и какие у нее ресницы, и какие крапинки на радужных оболочках — чего никто на свете, кроме него, конечно, не замечал. Он знал, что правый белок светлее левого, и мог бы рассказать еще много всякого... если бы только его спросили. Но разве о таких вещах можно говорить? Маленькая Блюменталь легла к нему в постель по велению долга, и не оставалось времени на подобающие до женитьбы ухажива-

ния, которых она, кстати, вовсе и не требовала. По этой же причине даже спустя много времени после женитьбы Биньямин все еще называл жену «барышней Блюменталь», скрывая за дружелюбной насмешкой безумное целомудрие, мешавшее ему признаться в глубокой привязанности к этой женщине, ставшей его женой в силу обстоятельств. Любовь их была как бы глухонемой, хотя иногда все же из темных ночных глубин над ласками взметались крики, и оба упивались непередаваемым взлетом, о котором они, однако, никогда даже не упоминали, ибо совершенно ясно, что такие вещи относятся не к здешнему миру. Понадобилась старость, а главное — приближение насильственной смерти в концлагере, чтобы у Биньямина хватило духу признаться своей жене в любви. Она не поняла, что он хотел сказать.

Издерганная и затравленная всеми членами семьи Леви, она родила своего первенца недоношенным, и несмотря на это, он весил полных девять фунтов. В кого он пошел? Такой вопрос и не ставился. Само собой разумелось, что маленький господин Леви-папа не мог не передать своему отпрыску крупного телосложения, которое у семейства Леви просто в роду. Муттер Юдифь не замедлила исследовать глаза, нос, уши младенца, словно желая убедиться в несомненной его принадлежности к роду. Обратившись к патриарху, она подвела итог в следующих словах: «Весь в нас». Напрасно маленькая Блюменталь напоминала о могучем сложении своей покойной матери, распространялась насчет характерных крапинок на губе, горячилась по поводу короткого носа, который уже явно был унаследован от Блюменталей, — ничего не помогало: ребенок был не ее кровей. И хотя история с Праведниками отнюдь не вызывала симпатии у Муттер Юдифи, ее так и подмывало швырнуть невестке в лицо эту историю, чтобы раз и на-

всегда положить конец ее дурацким притязаниям на ребенка. В своем неистовом желании завладеть отпрыском она дошла до того, что и себя начала причислять к знаменитому роду: привязалась всей душой к некоторым семейным традициям, словом, стала более подлинной Леви, чем сами Леви.

По мере того как ребенок рос, росла и загадка его природы. Было ясно, что дитя не из породы Леви и не из породы Блюменталей, а неизвестно из какого теста с немецкой закваской. Мориц, казалось, больше всего хотел не быть белой вороной среди сорванцов-приятелей, в чем, кстати, и преуспевал благодаря своим физическим данным. С самого рождения он выпячивал живот, как бы выражая тем радость бытия, а все его телосложение свидетельствовало о недюжинной силе, скрытой под веселой внешностью жизнелюба. Лицо, правда, долго оставалось кукольным, но у него была квадратная челюсть, короткий мясистый нос, горящие жадностью ненасытные карие глаза, а взгляд, который он бросал на вещи, напоминал протянутую к ним руку.

Поначалу Мордехаю казалось, что он обнаружит в этом ребенке мятежного непоседу, каким и сам был в Земиоцке, и его снисходительность объяснялась убеждением, что рано или поздно чертенок спрячет свои рожки навсегда. Тайком он рассказывал ему истории о Праведниках, прикидывая в душе, насколько малыш достоин чести стать таковым. Но как только Мориц научился ходить, его в доме больше не видели. Его тянуло на улицу. Там он гонял с ватагой сорванцов, среди которых, к сожалению, не было ни одного еврейского носа,

Мориц стал предводителем банды, выдумывал разные игры и ничего на свете так не любил, как играть в войну на берегах Шлоссе. Пробираясь через тростник с луком на бедре, он чувствовал себя совсем не тем существом, которое из него хотели сделать дома. Как будто это вот как: он раздевается, чтобы нырнуть в реку, и вдруг штаны, рубашка и

прочие вещи исчезают в воздухе, и оказывается, что они были надеты не на Морица Леви, а на индейца, который крадется через полный неожиданных опасностей лес, а не проходит через какой-то там тростник. Вот он отчаянно бросается на врага, вот уже оба падают в ил... и... Ах, как ему хочется, чтобы крики были всамделишными, а ножи из настоящей стали... Он возвращался с пылающим лицом, в изодранной одежде, с разбитыми коленями; дома он отстегивал подтяжки и покорно терпел, пока Муттер Юдифь изольет весь свой гнев. Все было по справедливости: играешь в «убийство», как едва слышно говорила мама-Леви, — получаешь как следует по известному месту. После этого вы с Богом квиты.

Школа окончательно расколола жизнь Морица на две непримиримые половины. Теперь его видели дома только во время еды. Он являлся неизменно с опозданием, усаживался за стол с покаянным видом, прочитывал молитву и, наклонившись над тарелкой, забывал все на свете, пока не опорожнял ее до дна и не вытирал кусочком хлеба последние капли. Только после этого он поднимал взъерошенную голову и входил в мир семейства Леви.

— Ну, что, наш безбожник уже съел свой суп? — грустно говорила Муттер Юдифь.

— А когда ты выберешь минутку поучить Талмуд? — сдержанно спрашивал дед. — В твоём возрасте я уже по уши углублялся в Мидраш. Ты что, не еврей?

— Что я могу сделать... домашние задания... школа... — смущенно бормотал Мориц какие-то непонятные отговорки.

Совершенно пораженный тем, что произвел на свет такого шалопая, Биньямин немедленно становился на его защиту,

— Это ведь правда! В Земиоцке ведь не было христианской школы, а здесь — как ему сделаться хорошим евреем?

— Так это же ты захотел уехать! — кричал старик, уязвленный таким кощунством.

— Ой, знаю, знаю! Только теперь уже поздно об этом вспоминать. Как сказано в Талмуде: «В доме повешенного не говори: «Пойди повесь рыбу сушиться!»».

— Что-то я не вижу, чтобы этот ребенок особенно надрывался над книгами — что нашими, что христианскими! — вмешивалась Муттер Юдифь и делала странное заключение: — Бог нас наказал: наши внуки станут даже не «субботными евреями», а «воскресными».

Воцарялось задумчивое молчание. Затем маленькая мама-Леви подавала следующее блюдо, и разговор переходил на другую тему. Разговаривали, как ни в чем не бывало, о делах, о чувствах, шутили... И на Морица накатывала медленная волна, он с удовольствием погружался в атмосферу семейной трапезы. Где-то высоко, высоко над ним проплывали произносимые взрослыми слова — непонятные знаки, прочерченные в небе птицами, за которыми он любил следить глазами.

Целая пропасть отделяла этот уютный мирок от необъятной вселенной, которую Мориц чувствовал всеми фибрами души, как только выбегал на улицу. От этого чувства у него иногда кружилась голова, как тогда, когда он забирался на верхушку высокого каштана, что на школьном дворе: одна нога — на одной ветке, другая — на другой, а посередине — пусто. Почему все христиане — не евреи? И почему все евреи... И нельзя ли наслаждаться счастьем всем вместе? И чего от него хочет дед? Что стоит за его кровавыми историями, скорбными минами, вечными намеками на Ламедвавников?

Стоило Морицу забраться в эти дебри, как у него «разламывалась» голова и разрывалось на части сердце, и ему казалось, что он слышит, как оно рвется.

Поэтому он очень редко отваживался пускаться в рассуждения.

7

Эрни был вторым произведением маленькой Блюменталь. Он появился на свет, как положено, через девять месяцев. Но когда маленькая Блюменталь увидела, что он вдвое меньше Морица, она еле сдержала радостный крик: про этого Муттер Юдифь у: ничего не сможет сказать, этот птенчик несомненно весь в нее.

Видно было, что Муттер Юдифь и впрямь попала в затруднительное положение. Спустя много месяцев после рождения ребенка маленькая Блюменталь все еще заставляла Муттер Юдифь за пристальным изучением его внешности.

— Странно, — осмеливалась замечать пигалица Блюменталь, — не могу понять, на кого он похож.

И Муттер Юдифь, смерив невестку ехидным взглядом, чуть ли не с угрозой отвечала:

— Ростом он в отца, а вот голова... голова пока ничья. Но это решится позже.

Действительно, голова у Эрни была «ничья»: при выходе из материнского чрева она уже была покрыта черными вьющимися волосиками, спускавшимися до затылка, глаза оставались голубыми только первые три недели, а потом стали темно-синими, но сверкающие в них искорки остались навсегда.

Муттер Юдифь не понимала, откуда у него тонкий прямой нос и до того узкие стиснутые ноздри, что отверстий не видно. А какой высокий лоб! Но главное — «шейка-то с пальчик», а голова на ней сидит изящно, как у птицы. Обнимая это сокровище, Муттер Юдифь в полном восхищении неопределенно улыбалась, пристально всматриваясь в эту живую загадку, в которой была и ее капля крови. Ребенок ка-

зался ей таким непохожим на всех, кого она знала, что она называла его не иначе как «Ангелок».

Наученный примером Морица, дед прибрал Эрни к рукам чуть ли не в четыре года. Он выписал из Польши старинный еврейский рельефный алфавит и начал обучать Ангелочка дедовским способом — привлекательным на вкус: малолетний ешиботник с удовольствием облизывал смазанные медом буквы из розового дерева. Позднее, когда Эрни научился уже читать не только слова, но и части фраз, Мордехай строил их из пряников, в изготовление которых Юдифь вкладывала все свое мастерство.

Эрни ходил за дедом по пятам. Их взаимная привязанность начала беспокоить маму-Блюменталь. Прикладывая ухо к дверям, она ничего не слышала, кроме шепота, то таинственного, то такого нежного, что у нее больно сжималось сердце. Однажды ей удалось разобрать слова: «Ну, как, одолжишь мне свою бороду?» А потом снова многозначительное шушуканье. Но больше всего она расстраивалась, видя их вместе. Когда они сидели во время этих проклятых занятий над ивритом, она наблюдала за ними из кухни. Они, казалось, наперебой старались угодить друг другу — старик не меньше ребенка. Если Эрни задавал вопрос, дед, прежде чем ответить, задумчиво склонял голову, словно вел ученые споры с талмудистами. К тому же время от времени старик клал руку на курчавую головку и теребил чубчик.

Маленькая Блюменталь ничего не понимала. Она чувствовала, что между стариком и ребенком существует своего рода пуповина, и только не могла себе представить, какие питательные вещества проходят по ней. Однажды, подсматривая через кухонное окно, она увидела, что ребенок склонился над букварем и степенно поглаживает воображаемую бороду. Ей открылась необычайная истина: оказывается, Эрни подражает деду! Насторожившись, она стала замечать и другие признаки: когда мальчик считал, что никого кругом нет, он закладывал руки за

спину, нахмурил брови, опускал голову и тяжелым старческим шагом ходил вокруг стола, словно погруженный в размышления о Талмуде. А иногда, сидя за букварем, он вдруг начинал читать нараспев, как читают набожные евреи. Однажды она случайно увидела, как он осторожно заталкивает в правую ноздрю воображаемую щепотку табаку и затем медленно вдыхает ее, задирая при этом голову точно, как дед.

Вскоре в один из канунов субботы дед после молитвы поднялся в свою комнату и вынес оттуда огромный фолиант в кожаном переплете. Маленькая Блюменталь кое-что слышала об этой книге от господина Леви-папы, который иногда в минуты близости ронял слово-другое. Поэтому смутное представление о Праведниках из Земиоцка и о почтовых переводах, посылаемых ежемесячно в Польшу, она имела. Она могла бы узнать и больше, но ее не интересовала эта потаенная сторона жизни семейства Леви, она никогда слова о ней не говорила мужу, делая вид, что ничего не знает. Поэтому она поразилась не меньше, чем Юдифь и Биньямин, когда старик, неторопливо раскрыв книгу, начал читать первую главу. Воцарилась гнетущая тишина. Дети не спускали глаз с побледневшей от гнева Муттер Юдифь, которая не смогла сдержать возмущенного крика. Дед поднял веки и испепелил ее взглядом.

— Эти дети не знают, что такое настоящий еврей, — сказал он ледяным тоном и, нервно постукивая пальцами по столу, добавил: — А ты уже забыла, что я еще мужчина в доме.

И он продолжал чтение тем же ровным и резким, чуть дребезжащим голосом. Читал он и в следующую пятницу.

Маленькая Блюменталь достаточно знала иврит, чтобы понять жизнеописания мучеников. Она старалась выбросить из головы все эти ужасы. И ей было больно смотреть на Ангелочка, который, широко раскрыв глаза, поддался вперед и «подражал» всем

сердцем окровавленным персонажам. книги. Потом на четвертую пятницу, когда дед закончил чтение, Ангелок поднял указательный палец и спросил: «Это все было на самом деле?»

У господина Биньямина Леви вырвался неприятный ледяной смешок.

Муттер Юдифь, казалось, готова была взорваться от бешенства. Она с мольбой посмотрела на деда, который заколебался, стал покусывать усы и, наконец, сказал разбитым голосом:

— Ну, как ты думаешь, птенчик мой, может такое быть на самом деле?

Тонкая складка залегла между бровями ребенка.

— Нет, конечно! — ответил он с горечью.

На этих словах дед закрыл книгу и вышел из столовой. Поздно ночью до маленькой Блюменталь донесся голос Муттер Юдифь, которая спорила с дедом. Больше он никогда не выносил невероятную хронику рода Леви.

Усердие, с каким относился Эрни к урокам деда, никогда не нравилось Муттер Юдифь.

— Ему и медом не надо мазать буквы — только позволь сидеть над букварем. И что там такого хорошего?

Она опасалась, как бы Мордехай, питая эту ранимую душу «старыми сказками», не занес в нее «вирус земиоцкизма», как говорил Биньямин. К счастью, за лекарством было недалеко ходить: скоро маленький Эрни пойдет в школу и там узнает игры, подобающие его возрасту, — по крайней мере на это надеялась бабка.

Но оказалось, что изучение Закона сделало мозг мальчика восприимчивым не только к Пятикнижию и Пророкам, но и к безбожной школьной программе. Муттер Юдифь утешалась тем, что Эрни явно запустил уроки Мордехая, увлекшись школьными занятиями.

Большей частью он готовил уроки в кухне, и маленькая Блюменталь освобождала для него место на

столе, а Муттер Юдифь выискивала предлог, чтобы вторгнуться на кухню. И пока школьник, склонившись над тетрадкой, высовывал от усердия язык, обе соперницы, ревностно следя друг за другом, бросали на него по очереди любопытные и тревожные взгляды.

В один роковой день он вернулся с целой охапкой наград, полученных за успехи.

Ни Мордехай, ни Юдифь не выразили особого восторга. Хотя и по диаметрально противоположным причинам, они сохраняли сдержанность относительно этого события, которое послужило Биньямину поводом осыпать сына поцелуями. А маленькая Блюменталь, мучимая страшной тревогой, но и восхищенная, только сложила молитвенно руки и без конца повторяла:

— Пусть это будет к добру, Боже мой, пусть это будет к добру!

Когда Эрни важно поднялся по лестнице, Муттер Юдифь на цыпочках последовала за ним. Увидев, что он прокрался в комнату молодых супругов, она тихонько подошла к двери, приложила ухо к замочной скважине и услышала умопомрачительные слова.

— Опять вы? Что ж, поздравляю, мой мальчик, поздравляю, дружок. И снова вы? — говорил Ангелок чужим, менторским немецким голосом, но со своей напевной еврейской интонацией.

Потом она улышалась легкий смешок, будто мышь скребется, и поняла, что Ангелок иронически фыркает перед зеркалом. Она не выдержала и сама расхохоталась от счастья. За дверью мгновенно наступила тишина.

До этого дня в доме водились только молитвенники, священные книги и забытые детьми учебники. Поначалу, когда Муттер Юдифь видела, что Эрни с головой уходит в книги, полученные им в награду, она не тревожилась: принимала это как неизбежное проявление местных нравов. Но однажды вечером

она усомнилась в правильности своего суждения и попросила Биньямина пояснить ей, что за книги читает Ангелок. Ответ сына ее удивил: два сборника волшебных сказок, роман о приключениях, происходивших в Китае, и три рассказа о немецком рыцарстве! После получаса запутанных объяснений она вскипела:

— Ничего не понимаю из твоих рассказов! Я хочу знать одно: то, что в них написано, было на самом деле? Таки да или нет?

— Таки нет, — решительно заявил Биньямин.

— Ага, значит, все это вранье, — с нескрываемым отвращением проговорила Муттер Юдифь.

— Не вранье, а сочинения.

Юдифь заморгала глазами и процедила сквозь зубы:

— Ну, теперь скажи еще, что я, сумасшедшая, да?

На этом разговор окончился.

Но мнение Муттер Юдифи и по этому поводу сложилось окончательно. В тот же день она впервые заметила, что, если Эрни внезапно оторвать от чтения, он смотрит на вас невидящим взглядом, затуманенным страстной мечтой, и только потом с сожалением узнает вас.

— Ты где витаешь? — спрашивала она его нежно.

И, так как ребенок смотрел на нее без всякой радости, она начинала жалеть, что не может последовать за ним в тот мир, где тем, кто умеет читать, доступны невидимые простым глазом вещи, да еще такие прекрасные, что оттуда не хочется возвращаться в здешний мир.

Вскоре неведомым ей образом у ребенка в руках появились новые книги — одна увлекательней другой. В некоторых были картинки, а на них всадники, женщины в длинных платьях, усыпанных брильянтами, неведомые звери, невиданные растения — не иначе как из Китая. Но больше всего Юдифь боялась сочинений без картинок, которые не раскрывали перед ней своего содержания. Когда ребенок отрывался

от них, у него был совсем отсутствующий вид. Через несколько недель веки его покраснели, воспалились, и на белках появились опасные прожилки. В один прекрасный вечер у Эрни за столом начали слезиться глаза от усталости. В полном смятении Юдифь призвала в свидетели все семейство, потому что ясно, что так дальше продолжаться не может!

— От этих проклятых книг он без глаз останется! А если они ему еще и кишки выедят, я тоже не удивлюсь!

В этот вечер было постановлено принять самые строгие меры. Как только Муттер Юдифь заручилась поддержкой всех членов совета, вынесшего сие постановление, она бросилась в комнаты и тайком изъяла все без исключения тома с «враньем».

В последующие дни борьба достигла наивысшего напряжения.

Оказалось, что ребенок приносит книги в штанах.

Увидев, что и этот тайник раскрыт, он стал еще изобретательней и начал прятать книги так ловко, что Муттер Юдифь, как она говорила, «сдалась». Однако, потерпев поражение в роли старателя, она переклочилась на роль сыщика и выслеживала каждый шаг Ангелочка, наблюдая за тем, чтобы он не предавался своему пороку ни на чердаке, ни в погребке, ни в укромном месте, которое теперь заменяло ему кабинет для чтения. Припертый к стенке, Эрни попытался воспользоваться тем, что по вечерам взрослые ведут беседы в гостиной. Он выскальзывал босиком в коридор и умудрялся приноровиться к полосе света, падающей из гостиной, дверь которой была искусно приоткрыта. Однажды там его и обнаружили после полуночи. Он не понимал, что с ним происходит, и смотрел на всех безумными глазами.

С тех пор, стоило раздаться малейшему шороху или тихонько скрипнуть двери, как слышался голос Муттер Юдифь: «Эрни, ангелок мой несчастный, ложись спать».

Одержав победу над книгами, Муттер Юдифь пожелала, чтобы Ангелок пошел по стопам своего старшего брата, этого безбожника.

Но, увы! Вскоре она вынуждена была признать, что, изгнав одного беса, впустила на его место нового, причем более опасного, поскольку он был неуловим. Сидя за столом или готовя уроки (или даже забавляясь с младенцами маленькой Блюменталь), Ангелок вдруг замирал, лицо его каменело, глаза краснели, и он становился таким далеким, словно оказывался в тех странах, про которые написано в книжках. Она заподозрила, что он сам себе рассказывает рыцарские истории. Ибо, когда он приходил в себя, он держался неприступно и воинственно, ни дать ни взять — благородный рыцарь.

Она решила на жесткие меры: с первыми лучами солнца беспощадно выталкивала ребенка на улицу. Наконец, в один прекрасный день стало известно, что Ангелок встречается с соседскими мальчишками. Юдифь торжествовала.

Они собирались в конце Ригенштрассе на заднем дворе заброшенного дома. Трава и известняк, груды мусора и высохший колодец таили в себе богатые возможности для всякого волшебства. Двое одноклассников Эрни тоже входили в «компанию у колодца». В числе этих двоих была тоненькая светловолосая девочка по имени Ильза Брукнер, которой Эрни не смел слова сказать, потому что вместо глаз у нее были озера, а вместо волос — золотые струи, величаво растекавшиеся по плечам и придававшие ее головке удивительное сходство с головой женщины, одетой по средневековой моде. Она носила вязаный жакетик в белую с розовым клеточку и крестик на железной цепочке, а когда ее просили, пела бессмысленные детские считалочки таким голосом, который уносил вас, словно перышко, в неведомые дали.

То, что Эрни приняли в компанию, походило на чудо. С тех пор, как Муттер Юдифь стала выгонять его из дому, он привык прогуливаться, предаваясь своим мечтам. Шел, заложив руки в карманы, весь распрямившись и держа голову прямо на тонкой, как стебелек, шейке, выглядывающей из расстегнутого ворота белой рубашки. Не замечая того, что происходит на улице, он наталкивался на прохожих, на ларьки, на разные предметы, стоящие на тротуаре, так что, в конце концов, из предосторожности он начал охотно уходить за город к тучным лугам вдоль Шлоссе. Но однажды его привлек голос, который он узнал бы из тысячи других. Юркнув в развалины старого дома, он притаился в тени и уставился на Ильзу. Она пела, стоя в кругу мальчиков и девочек, которые смотрели ей прямо в рот, и солнечный луч играл в ее светлых волосах, как в колосках пшеницы. На следующий день он вышел из своего укрытия, нарочно заложив руки за спину, стараясь всем видом показать, что ему бы только полюбоваться на их веселые игры. К его молчаливому присутствию постепенно привыкли, ему поручали незначительные роли: он стерег стада из камней, был судьей в состязаниях, постоянным пленником, пажем короля Тристана — словом, выполнял все задания, которые не требовали ношения оружия. Если игра обещала быть слишком жестокой, он предусмотрительно покидал место действия: один вид драки причинял ему боль. И когда его приятели самозабвенно сражались на деревянных шпагах, Эрни задавался вопросом, почему они предаются мечтам всем телом, когда так приятно предаваться им только душой. Однажды Вильгельм Кнопфер, крепыш со смеющимися глазами и двойным подбородком, предложил играть в суд над Христом.

— А кто же будет евреями? — спросил Ганс Шлиманн, всеми признанный вожак компании.

Никто не вызывался быть «евреями». Наконец, заметили, что за обломком стены сидит на корточках

белый от страха Эрни Леви. Его со смехом потащили к колодцу, к которому уже прислонилась Ильза Брукнер, разметав руки по замшелому бортику, как по кресту. Она свесила голову, будто в предсмертной муке, и стала на цыпочки, чтобы было похоже, что ноги прибиты гвоздями, как у Христа. Вильгельм Кнопфер немедленно изобразил из себя Понтия Пилата: выпятил пузо и с удовольствием многозначительно потирал руки.

— Я умываю руки. Ясно? — сказал он и, обведя всех хитрым взглядом, наполеоновским жестом запустил пятерню под рубашку. — Хо-хо! — прыснул он, повернувшись к Эрни. — Нет у нас других евреев — ты один. Вот и будешь евреем. Кому же, как не тебе, их представлять?

Он велел всем замолчать, насупил брови, важно надул губы и торжественно изрек:

— Эй, евреи! Вы чего хотите, чтобы я сделал с нашим Господом-Богом? Отпущу-ка я его, а?

— И совсем не так, — вмешалась девчушка учебного вида с аккуратно заплетенными косичками и бесцветным голосом. — В катехизисе сначала Варавва.

— Отцепись ты со своим катехизисом! — огрызнулся Вильгельм Кнопфер. — Здесь я священник! Ну, — начал он снова, обозленный тем, что его перебили, и стараясь восстановить свой пошатнувшийся авторитет, — хочешь, чтобы я его отпустил? Да или нет?

Скрытая жестокость мелькнула в детском взгляде Вильгельма, зрачки расширились, словно он вспомнил кровавое деяние. Эрни жалобно заморгал ресницами. Двое мальчишек крепко вцепились в него, остальные — пожирали его глазами, и ему показалось, что тело его растворилось в воздухе и таинственным образом возродилось в воображении товарищей по игре, но уже в окровавленных лохмотьях и в маске — так в кошмарных снах человек вдруг превращается в отвратительное насекомое. Он расте-

рянно посмотрел на Ильзу: она с кокетливой и трогательной беспомощностью склонила золотистую головку на плечо. И вдруг крестик на ее кофточке пробудил почти невероятные воспоминания, таившиеся где-то глубоко-глубоко на дне его души, воспоминания о жестокостях христиан. У Эрни подкопились ноги.

— Ой, отпустите ее, — еле слышно выдохнул он.

Немедленно все хором запротестовали:

— А вот и не так! Не так! Не так! Не так! Вы сказали, что его нужно распять! Распните его! — вот как вы сказали! Значит, и ты так скажи! Скажи! Скажи! Скажи! — орала вся банда наперебой.

Эрни задумчиво опустил голову и до крови закусил нижнюю губу, отказываясь произнести смертный приговор.

— У, дерьмо! — заорал в ярости Ганс Шлиманн. — Сказал ты это или нет?

Все присмирели, напуганные гневом вожака, и в наступившей тишине послышался мелодичный голос распятой на кресте:

— Ой, гвозди! Гвозди! Ой, как больно!

— О, Господи, как мне жалко... — прямо-таки страдальческим тоном сказала какая-то девочка.

Ее жалость немедленно передалась всем участникам необычайного представления. У них сперло дыхание, похолодела кровь, девчонки отвернулись, ресницы у них задрожали, и на глаза навернулись чистые слезы.

— Не говорил, не говорил я этого! — взмолился потрясенный Эрни.

— Нет, говорил! — прогремел Ганс Шлиманн, отстаивая справедливость, и опустил железный кулак на плечо Эрни так, что тот охнул.

— Ты даже сказал: «Отпустите Варавву и распните Христа», — заявила девчушка ученого вида с косичками. — Правда, он так сказал?

— Сказал! Сказал! Сказал!

— Не говорил... не говорил... не говорил... — лепетал обвиняемый, обливаясь слезами.

— Говорил, — повторяли дети все более и более жестоко, в то время как Эрни Леви, закрыв лицо руками, бормотал все менее и менее уверенно, словно поддаваясь их настояниям.

— У, жид паршивый, — просвистел у него над ухом девчоночий голос, и тяжелый липкий плевок попал, как ему показалось, куда-то глубоко внутрь.

— Убийца! — негодуяще взвизгнул Вильгельм Кнопфер.

Вывернув Эрни руку, он так ударил его по лицу, что тот завертелся волчком. На Эрни кричали, его били кулаками, девчонки вонзали ему в плечи и в спину острые ноготки, капризно приговаривая:

— Злюка, злюка, ты нашего Боженьку убил!

Какая-то рука удержала его от головокружительного падения, и он увидел перед собой посеревшее от ярости, до неузнаваемости искаженное лицо Ганса Шлиманна.

— Посмотри, что ты наделал! — закричал Ганс, показывая на Ильзу, которая все еще стояла у колодца. Разметав руки и безжизненно опустив голову, она сама себя оплакивала и даже капельку слюны выпустила из уголка перекошенного в муках розового ротика, чтобы еще больше быть похожей на Иисуса Христа. Заметив, что на нее смотрят, она жалобно простонала:

— Боже мой, Боже мой, ну, что я вам сделал, евреи? Ой, гвозди... гвозди...

В этот момент, совсем потеряв голову, Вильгельм Кнопфер схватил камень и, подобравшись сзади, с криком: «Вот тебе за Христа!» ударил Эрни по затылку. Мальчик рухнул на траву. Глаза его закатились, руки скрестились на груди. На черной курчавой лужайке затылка распустился красный цветок. Несколько секунд все смотрели на него, а затем молча разбежались по домам. Остались только Вильгельм Кнопфер и мальчишка лет десяти, который не пере-

ставал тихонько охать, не в силах смотреть, как увеличивается красный цветок на затылке Эрни Леви.

— Он умер, — сказал Вильгельм Кнопфер, выпуская из руки окровавленный камень.

— Нужно проверить, — в ужасе сказал другой.

— Я боюсь.

— Я тоже.

— Он же нам ничего не сделал, — как-то странно произнес Вильгельм.

— Ясно, нет, — подтвердил второй.

— Он же был хороший, — заключил вдруг Вильгельм, качая головой, словно не представлял себе, как он мог совершить столь страшный поступок.

— Точно, — отозвался другой.

— Отнесем его? — спросил Вильгельм.

— Надо отнести, — ответил другой, уже наклоняясь.

Он взял Эрни за плечи, Вильгельм — за ноги, и они двинулись в путь.

— И весит-то не больше воробья, — тяжело вздохнул Вильгельм, и в голосе его послышались слезы.

Всю дорогу, пока они шли по Ригенштрассе, он не переставал плакать, не отрывая глаз от кровоточащего затылка, который раскачивался в такт их шагам. Кучка любопытных сопровождала это странное шествие. Муттер Юдифь известили первую. Она заорала не своим голосом, схватила ребенка и отнесла в комнату на первом этаже. Вильгельм молча пошел за ней. На него никто не обратил внимания. Срочно вызвали доктора, и, когда он поднес пузырек к носу несчастной жертвы, Вильгельм машинально перекрестился. Вспоминая, как все произошло, он в смятении полагал, что осенил себя крестом перед лицом смерти. Но еврейский мальчик вздохнул и забормотал: «Не говорил я этого... не говорил...» Подушка под его головой уже стала красной от крови. Вильгельм незаметно выскользнул на улицу и бросился бежать со всех ног.

Хотя причина жестокой расправы над Эрни так и осталась неясной, со временем этот случай стал одним из многих антисемитских оргий, знаменовавших собой приход к власти Адольфа Гитлера. Коммунистов в Штилленштадте было мало, демократов и вовсе не было, поэтому местная организация нацистской партии быстро направила весь огонь своей пропаганды против нескольких еврейских семейств, «запоганивших» город. После того, как Адольф Гитлер занял пост рейхсканцлера, немецкие евреи почувствовали себя, как пойманные в ловушку крысы, которым ничего не остается, как метаться в ожидании худшего.

— Не нужно было уезжать из Польши, — призналась однажды в своей вине Муттер Юдифь. — Прости меня, это все я натворила...

— Ну, ну, — ответил дед нежно, — как ты уйдешь от зла, если оно повсюду?

Это был 1933 год от пришествия в мир Иисуса Христа, доброго вестника неосуществимой любви.

МУШИНЫЙ ПРАВЕДНИК

Тревогу поднял господин Леви-отец. Как только Ригенштрассе осталась позади, Эрни почувствовал, что отец стал весь как натянутая струна. Это всегда случалось с ним по субботам по дороге в синагогу. Стоило господину Леви-отцу свернуть с Ригенштрассе на другую улицу, как он уже не чувствовал себя в безопасности. То и дело оглядывался он по сторонам, вытягивал свою цыплячью шею, и даже его большие оттопыренные уши начинали шевелиться, так по крайней мере казалось Эрни. Но сегодня улица была такой уютной, такой мирной, а крыши поблескивали своими черепицами на солнце так весело, что нервозная суетливость отца невольно вызвала у ребенка непочтительное чувство. Подняв голову, Эрни заметил, что тонкие губы господина Леви тоже утратили покой: они дрожали, беззвучно смыкались и раскрывались, как у рыбы, вытасченной из воды. Вдруг вытянувшись в совсем тоненькую щелочку, они присвистнули: «Тсс», — и господин Леви-отец замер посреди улицы.

— Что с тобой? — спросил Мордахай.

И опять Эрни поразило хладнокровие деда. Казалось, ничто, не касающееся соблюдения заповедей, не может его тронуть. Старик отступил назад, поднес руку к бороде и безмятежно потрепал ее.

— Ну, что случилось? — повторил он с легким нетерпением в голосе, хотя серые, глубоко посаженные глаза его оставались безучастными к тревоге господина Леви-отца.

— Слышите? — спросил тот, прикладывая сложенные трубкой ладони к правому уху.

— Ничего я не слышу, — пропыхтела Муттер Юдифь, туго обтянутая блестящей черной тафтой своего неизменного платья.

— А я слышу, — пролепетала барышня Блюменталь.

— И я, — сказал Мориц.

— Они идут сюда. Сейчас они на Рундгассе, — сказал господин Леви-отец, настороженно прислушиваясь к звукам музыки, которые нарастали с каждой минутой.

Все члены семейства Леви замерли в испуге. Солнечный свет вдруг предательски выставил их на всеобщее обозрение.

— Ну-ка, живо к мадам Браунбергер! — взвизгнула Муттер Юдифь. Она подхватила обоих детей под мышки и стрелой бросилась через дорогу.

Через секунду она уже скрылась в подъезде; все семейство последовало за ней. Дед шел замыкающим, устремляясь размеренным шагом вперед и уносясь мыслями назад, к воспоминаниям о том, как они удирали когда-то.

Эрни только еще подходил к лестнице, когда Муттер Юдифь уже сбежала с первого этажа вниз и испуганно сообщила, что дверь у мадам Браунбергер никто не открывает.

— Ушла в синагогу, — спокойно сказал дед, прислоняясь к стене.

— Что теперь с нами будет? — закричала Муттер Юдифь, показывая на желтый квадрат улицы в дверном проеме, и нежно прижала к себе Якова.

— Ну-ну, — сказал дед, улыбаясь в темноте, — не поднимай паники. — Конечно, если ты попадешься им на улице, они тебя побьют, но не станут же они искать тебя по домам. Что, они специально за тобой сюда идут? Послушай...

— Нет, вы его послушайте! — закричала Муттер

Юдифь, и Эрни заметил, как у нее перекосялся рот и сверкнули белые зубы.

— Живо наверх! — приняла она решение и первой бросилась бежать.

Остальные молча последовали за ней. «Даже дел и тот стал осторожно взбираться по ступенькам», — отметил про себя Эрни.

Окно на площадке третьего этажа, выходящее на улицу, было закрыто. Эрни пролез между ногами деда как раз в тот момент, когда на перекрестке показалась колонна штурмовиков. Их песня резко ударила в стекла, а шаги, казалось, загудели по плиткам лестничной площадки. Кожаные сапоги, широкие пояса, сверкающие на солнце пряжки, коротко стриженные головы — с высоты третьего этажа колонна походила на безобидное трескучее насекомое, ползущее по залитой солнцем улице. Когда колонна поравнялась с домом, песня замерла, и в горячий воздух взвилась другая мелодия, хорошо знакомая всем Леви. Но все же услышав ее, они задрожали.

«Лишь только брызнет кровь еврейская из-под ножа...»

— Раз-два! Раз-два! — командовал начальник колонны.

«Душа поет, и восторгается душа!..»

— Раз-два!

Колонна свернула на улицу Бургомистров, и от нее остался лишь затихающий гул, слуховая галлюцинация.

— Какие они страшные! — жалобно сказала барышня Блюменталь. — Даже...

— Ну, хватит, — перебила ее Муттер Юдифь, — нечего об этом вспоминать! Теперь нужно поторопливаться, мы опаздываем.

— Я не хочу туда идти! — занял Яков.

— Куда это «туда»? — насторожилась Юдифь.

— В синагогу...

Вместо ответа старая женщина схватила внука за плечо и вкатила ему увесистую оплеуху. Затем, успо-

коившись, она выпрямилась во весь свой могучий рост и постановила:

— Нельзя идти в синагогу всем вместе, пойдем разными дорогами. Сегодня у них, видно, на евреев разыгрался аппетит. Эрни, бери Якова и отправляйся в обход Гимназии... Ну-ка, живо!

И отвернувшись от обоих мальчиков, которые уже взяли за руки, она принялась отдавать дальнейшие распоряжения.

Эрн с силой сжал руку маленького Якова, которая была больше его собственной. С каждой ступенькой Яков хныкал все тише и, когда они очутились внизу, совсем замолчал.

— Уже спустились? — крикнула Муттер Юдифь в пролет лестницы.

— Да, — ответил Эрни как можно тише.

Там, у подножия темной лестницы, на расстоянии трех этажей от родных, Эрни сразу же почувствовал, как он одинок. А когда он робко вышел на освещенную улицу, то от щемящей тоски мучительно захотелось немедленно вернуться туда, наверх, в это случайное убежище, пусть ненадежное, но все же прикрытое тенью Муттер Юдифь.

В руке у него дрожала пухлая ладонь Якова, который плелся сзади. Его круглое лицо словно распухло от страха, синяя фуражка была надвинута на лоб, как всегда, лихо, по-жокейски, но по хныканью Эрни догадался, что Яков сильно трусит.

— Не могу же я тебя тащить, — проговорил Эрни мягко.

Яков непонимающе уставился на него, выпятил живот и начал передвигать ноги, держась за брата вытянутой рукой. Но почти сейчас же он заныл:

— Ты слишком быстро идешь, я так не могу.

— Ты же больше меня, — не выдержал Эрни.

— Да, но я же меньше, — возразил Яков, имея в виду, что он младше.

Они шли по узким, темным переулкам.

Старший тащил за собой младшего. До улицы Пассеро все было спокойно. Эрни снял висевший у него на груди сиреневый платок для верхнего карманчика (традиционный подарок Муттер Юдифь), который явно привлекал взгляды прохожих. Постепенно улицы становились более широкими, солнце здесь ярче освещало фасады домов: дети приближались к богатым кварталам. Тут они немного успокоились: казалось, ни у кого не было дурных намерений по отношению к ним. Обычно Эрни легко ориентировался и представлял себе, куда нужно идти, но здесь, среди красивых домов, таких разных и так удивительно похожих друг на друга, ему трудно было найти дорогу.

В районе Ригенштрассе совсем другое дело. Маленькие, приземистые и действительно одинаковые дома имеют свое лицо, как люди. Их можно узнать с первого взгляда. А у домов в богатых кварталах нет запаха, подумал Эрни, они, как пресная вода.

— Далеко еще? — отдуваясь, спросил Яков.

— Нужно только выйти к Гимназии, — уверенно ответил Эрни, — там я живо разберусь.

— Этих улиц я совсем не знаю, я их и не видел никогда. Может, лучше спросить, а?

— Спрашивать нельзя, — немного подумав, ответил Эрни.

— Это еще почему?

— Потому что у нас акцент еврейский. — рассудил Эрни, — сразу видно, что мы евреи.

— А если мы молчим, думаешь, не видно? Хоть мы рта не раскроем — все равно видно, — съязвил Яков.

Беглым взглядом Эрни сравнил белокурых ребятешек в будничной одежде, которые играли возле тротуара, с коротенькой фигуркой принаряженного Якова. Ботинки начищены до блеска, штанишки и рубашка отглажены, лицо и шея чисто вымыты, на мелкие колечки черных кудрей напялена нелепая

клетчатая фуражка, еврейские глаза, еврейский нос, робко согнувшийся над верхней губой.

— И верно, — сказал Эрни, — сегодня суббота, а мы одеты, как они в воскресенье...

— И в шапках, — намекнул Яков.

— Тоже верно, — согласился Эрни, — летом они шапок не носят.

— Ну, так как, спросишь?

Эрни не ответил. Он огляделся вокруг, оценивая христианский мир. Наконец, после некоторых колебаний он остановил свой выбор на низенькой женщине, которая подметала возле дома. Волоча за собой Якова, он приподнял берет и спросил с самым лучшим немецким произношением, на которое только был способен, как пройти к Гимназии.

— Прямо, — удивленно ответила маленькая женщина.

Потом, взглядевшись в Эрни, она подперла подбородок ручкой метлы и, понимая улыбаясь одними глазами, добавила:

— Правильно, ребята, лучше идите этой дорогой, на главной улице для вас теперь опасно: они целый день там вышагивают. Только, может, вам лучше и вовсе не ходить в вашу синагогу...

Тут из дверей вышла другая женщина.

— Опять они! И как только вы можете с ними разговаривать?! — воскликнула она и, повернувшись к детям, добавила: — Тю-тю, еврейчики, эх, и достанется вам сегодня!

Отступив назад, она прижала руки к пузатому переднику и прыснула со смеху. Тотчас же их окружили любопытные рожицы.

Эрни с Яковым уже поспешно удалялись. Им вдогонку неслись пронзительные крики и топот ног. Покрепче сжав руку Якова, Эрни пустился бежать изо всех сил. На углу он остановился и, удивленный тем, что их не схватили, оглянулся: вдали хохотали мальчишки, весело размахивая руками. Низенькая женщина переходила дорогу. В одной руке она дер-

жала метлу, а другой вела за собой одного из мальчишек. Дойдя до тротуара, она вlepила ему оплеуху и потащила в дом. Эрни с Яковом пошли дальше. Яков тяжело дышал.

— Когда я буду взрослый, — сказал он пронзительным, срывающимся голосом, — я не буду ходить в синагогу.

— Когда ты будешь взрослый, мы все уже умрем, — сказал Эрни.

Помолчав минуту, Яков наивно спросил:

— Правда, если я сниму фуражку, они не увидят, что я еврей? Ее ведь можно надеть перед синагогой, да, Эрни? — боязливо добавил он.

Эрни остановился. Яков приблизил к нему лицо. Большие черные глаза источали горячую мольбу, а пухлые губы так растерянно дрожали, что у Эрни больно сжалось сердце. Он погладил свободной рукой брата по щеке.

— А я? Они же все равно увидят, что я еврей. — сказал он нежно.

— Верно, — ответил Яков мелодичным голосом, — ты больше похож на еврея, чем я...

Эрни нахмурил брови и задумался.

— А если ты снимешь шапку, ты умрешь, — заметил он вдруг. — Какой же смысл...

— А вот и неправда, — перебил Яков, — я уже много раз ее снимал.

Эрни снова задумался.

— Значит, в те разы Бог не хотел, чтоб ты умер, а теперь может захотеть.

— Правда? — в испуге закричал Яков.

— Точно, — ответил Эрни, погруженный в свои мысли. — Знаешь, что я подумал: раз ты так боишься, наверно, тебе можно... Боже мой. Боже мой. ну почему ты так боишься? Вот я же не боюсь!

Яков пристально на него посмотрел.

— Ну, конечно, — сказал он, — ты же никогда ничего не чувствуешь.

В этот момент Эрни почувствовал, что спина у

него горбится и голова клонится к плечу. Глаза затянула пелена тоски, и он равнодушно пробормотал своим обычным мягким голосом:

— Давай сюда свою шапку. Я пойду впереди, а ты за мной, подальше. Тогда никто не узнает, что мы вместе.

Яков поспешно снял кепку. Эрни забрал ее, поднял глаза к небу и увидел, что оно совсем близко, что оно открыто для молитвы. Тогда он торжественно прошептал: «Боже, да будет его грех на мне...»

— Теперь ты не умрешь, — сказал он равнодушно удивленному Якову.

— А ты?

— Я?.. Я?.. — смущенно улыбнулся Эрни. — Что мне! Я же берета не снимал, значит, Бог мне ничего не может сделать, понял? — непринужденно добавил он.

Держа шапку Якова под мышкой, словно школьную тетрадь, Эрни машинально переставлял ноги, как заведенный механизм. Левая, правая, снова левая. Отсчитав ровно двадцать шагов, он обернулся и посмотрел на Якова, который семенил сзади. Вид брата его поразил: непокрытая голова уверенно сидит на круглых плечах, рот улыбается, взгляд бесстрашно устремлен вперед. Эрни незаметно подмигнул ему, и зашагал снова. Голова опустилась совсем низко, а узкая спина скорбно согнулась дугой...

Эрни вглядывался в тротуар, в незнакомые дома, в голубое небо, которое, словно огромная стрела, вонзилось своим острием в самый конец улицы, и вдруг почувствовал, как страх холодным червем заползает к нему в живот, потом пробирается выше, в грудь, потом начинает буравить и леденить ему сердце. Он один на улице, такой маленький, такой тщедушный, такой незначительный, что если штурмовики изобьют его, как несчастного господина Кацмана на прошлой неделе, никто даже не обратит внимания. И голову оторвать могут — тоже никто не заметит.

Не замедляя шага, он вдруг начал прислушиваться. Нет, справа все спокойно. Но левым ухом он уловил неприятное стрекотание. Оно продолжалось всего мгновение, и затем его перекрыли далекие звуки музыки, сопровождавшей еле слышный чеканный шаг. Потом те же звуки раздались и справа. Эрни попытался понять, откуда доносится пение, но не мог, потому что оно слышалось то спереди, то сзади, то слева, то справа. Иногда ему даже казалось, что оно несется сверху, с неба.

Подойдя к перекрестку, он пробрался вдоль стены до угла и выглянул в поперечную улицу. Она была спокойна и почти пустынна. «Откуда же раздаются звуки?» — подумал он, прежде чем перейти на другую сторону. Только он сделал шаг, как кто-то схватил его за руку. Он тихонько вскрикнул и, обернувшись, увидел бледного от страха Якова.

— Я лучше пойду с тобой, — сказал тот, всхлипывая.

Яков стиснул его руку, ладони обоих мальчиков были мокрые.

Эрни не понимал, почему это ощущение чего-то мокрого между их ладонями наводит на него ужас. Яков пыхтел рядом, а он старался отвлечься от действительности, как когда-то, когда еще любил играть с самим собой. Он широко раскрыл глаза, выкатил их, насколько мог, — в былые времена это помогало. Может, и теперь дома, небо, прохожие. Яков, он сам и все-все вокруг задрожит и тихонько поплывет в туман его глаз, канет в пропасти горла. Но он зря старался... Сегодня ни дома, ни небо, ни люди не растворялись в его широко раскрытых глазах, все очертания сохраняли беспощадную ясность, все предметы сверкали на солнце, и клейкая пакость в ладони у Якова ощущалась все так же отчетливо.

— Ты вспотел, — услышал он голос.

— Ты вспотел, — жалобно настаивал Яков.

Эрни раздраженно посмотрел на него.

— Ничуть я не вспотел! — категорически заявил он и тут же понял, что неприятная тяжесть, которую он чувствует на лице, — просто пот.

Желтый свет, медленно заливавший улицу, ударил ему в глаза, и сквозь влажную пелену он ясно увидел обычную картину: вот несется велосипедист, две кумушки куда-то торопятся, в руках у них корзинки, краснолицый молодой человек расстегивает ворот, свет дрожит над домами и синей дымкой испарений поднимается вверх... Эрни повернулся к Якову и сказал:

— Жарко.

Яков помолчал, а потом вкрадчиво возразил:

— Нет, это ты от страха вспотел.

Эрни в ярости обернулся к Якову, но увидел, что лицо у того обмякло.

Двое детей остановились посреди тротуара.

И тут полные слез глаза Якова, скривившийся рот, кулачок, которым он нещадно трет нос, смешная головка под нелепой клетчатой фуражкой, дрожащая пухленькая грудь под белой рубашечкой, растерянный вид, широко расставленные ноги и опущенные руки — вся эта картина мигом вошла в расширенные зрачки Эрни Леви. Немедленно исчез страх, он забыл, что вспотел, и уже представлял себе группу юных гитлеровцев... Сапоги, каски, длинные кинжалы с черными костяными рукоятками... Они с гиканьем гонятся за Яковым, тот не знает, куда спрятаться, куда деться... А он, Эрни Леви, он — рыцарь. Он бросается на злодеев и разбивает им головы, а маленький Яков, целый и невредимый, тем временем убегает далеко, далеко... «Пусть только появятся, я брошусь на них», — острым кинжалом пронзило его. Он прикоснулся дрожащей рукой к мокрой щеке Якова, и решительные слова сами собой сорвались с губ:

— Ничего, Яков, если они появятся, я брошусь на них.

Яков оторопело посмотрел на старшего брата, смерил его глазами с ног до головы и расхохотался.

— Ты? Да если даже я тебя толкну, ты полетишь как перышко, — проговорил он сквозь смех и действительно толкнул Эрни.

Шея у Эрни напряглась, и он прокричал сквозь зубы:

— А я тебе говорю, что брошусь на них!

Но Яков продолжал улыбаться, отрицательно качая головой. С какой-то насмешливой снисходительностью доверил он свою руку брату. Успокоенный, сияющий от удовольствия, он шел мягким шагом рядом с Эрни, весело размахивая свободной рукой и время от времени иронически посмеиваясь.

Эрни тяжело дышал. Левая ладонь безжизненно лежала в руке Якова. Он все еще продолжал мысленно твердить: «Я брошусь на них, брошусь на них, брошусь...» — но эта мысль перестала вселять в него уверенность. Тогда он взглянул на вещи более трезво и решил, что если просто броситься, как собачонка, гитлеровцам под ноги, Яков все равно успеет убежать. Наконец, в отчаянии он понял, что бессилен сделать что бы то ни было, и, подняв глаза к небу, под которым он чувствовал себя бесконечно маленьким, спокойно посмотрел в него. Когда-то он легко воображал себя героем: с мечом в руке или с обнаженной грудью и с прекрасными словами еврейской молитвы на устах... Но теперь мечты — дело прошлое; у него было горькое чувство, что если и представится случай проявить благородство, он не сдвинется с места. И не потому, что он такой маленький, а потому, что отваги в нем не больше, чем росту. Что он такое? Ничего. Ровным счетом ничего. Крупица не поймешь чего. Он просто не существует.

Тоненький голос Якова вывел его из задумчивости.

— Ну что, бросишься на них? — спросил тот и вдруг заорал во все горло: — Осел! Мы уже пришли!

Он оттолкнул руку своего защитника и помчался

вдоль домов — веселый комочек, выпущенный в пространство.

Действительно, метрах в пятидесяти от перекрестка Эрни, к своему удивлению, различил над веселыми немецкими крышами серый трухлявый купол синагоги и мощеный двор в глубине, а в следующую минуту — силуэт Муттер Юдифь: он возвышался над евреями, стоявшими у входа во двор синагоги. Радость охватила его. Веселый комочек докатился туда и слился со всеми. Эрни тоже неудержимо захотелось побежать, но он взял себя в руки, ссутулился и сонно покачал головой, как делал дед. Прикрыв горящие глаза, он степенно шел тяжелым размеренным шагом, как и подобает настоящему еврею, равнодушному перед лицом смерти.

Муттер Юдифь встретила его так, как если бы он вернулся с прогулки.

— Не опоздал, — проворчала она. — Подходи ближе. А чего это ты так важно выступаешь? Прямо министр!

Эрни покраснел и склонил голову набок.

— И подарок мой потерял! — вскипела толстуха.

Эрни в смущении вытащил из штанов сиреневый квадрат платочка и меланхолично запихал его в нагрудный карман.

— Поторапливайтесь, поторапливайтесь, — спокойно произнес дед, как если бы не произошло ничего, что заслуживает внимания еврея, — начинается молитва.

— Я не могу, — важно заявил Мориц. — Дежурю у входа, — добавил он, указывая подбородком на опасную улицу.

Двор синагоги заполнялся людьми, мужчины и женщины, как положено, расходились в разные стороны. Эрни проскользнул вслед за дедом. Неожиданно рука деда теплым прикосновением нежности обхватила его шею. Эрни на миг закрыл глаза от удовольствия. Всего на один миг, потому что гигантская ручища тут же убралась восвояси, и громадный

«слон» вошел под свод. Неожиданно для себя Эрни ринулся к выходу на улицу. Там стояли трое мальчиков, чья очередь была дежурить на этой неделе. Защищая глаза от солнца, они приставили ладони козырьком ко лбу и внимательно всматривались в улицу — только поблескивали глаза из-под ладоней. Эрни ткнул указательным пальцем Морица в локоть. Тот вздрогнул.

— Я останусь с тобой, — сказал ему Эрни серьезно.

2

— Теперь «они» уже не придут, — сказал Паулюс Вишняк.

— Конечно, — сказал Мориц. — Им же не послали приглашения, так что «они» постесняются...

Носком ботинка он рассеянно вычерчивал шестиконечную звезду возле тумбы, на которую уселся верхом. Остальные дежурные сидели на корточках в тени двух других тумб. Из-за высокой стены сюда неслись обрывки молитвы на иврите. Молитва могла заглушить другие звуки и помешать дежурным вовремя заметить опасность, но Эрни казалось, что таинственно сливаясь в высшую гармонию с голубым небом, с яркой желтизной залитых солнцем фасадов, с тенистой листвой, она охраняет грезящий под солнцем мир. Словно здесь, у входа в тупик, не настороженные мальчишки, посвистывающие иногда от беспокойства, а сам Бог заботится о молящихся.

Паулюс Вишняк утер со лба пот и начал снова:

— Если бы эти скоты задумали прийти, они давно были бы уже здесь. Чего им ждать! Если уж они решили сделать это сегодня... Не торчи хотя бы на тумбе! — огрызнулся он на Морица, который продолжал старательно вычерчивать шестиконечные звезды. — Тебя же с улицы видно!

Тяжелое лицо Морица передернулось, и он холодно процедил:

— Ну и что? Они видят нас, мы видим их, прячемся во двор, как крысы.— все это идиотизм, особенно эта затея сторожить вход.

Он яростно сплюнул и вдруг заметил Эрни, который стоял как вкопанный за его тумбой с самого начала дежурства.

— Ты все еще здесь, малявка? — скривился Мориц. — Надо же! Еще один герой!

Эрни посмотрел на перекошенное лицо брата.

— Сегодня все герои, — ехидно заметил Паулюс. — Ты же знаешь, что всем зачтется перед Богом сегодняшней день: рабби поклялся, что зачтется.

— А я вам клянусь, что это идиотизм, — ответил Мориц устало. — Зачем упорствовать, когда мы больше не имеем права даже запереть синагогу? Ну и разошлись бы молиться по домам. Как же! Разве такое простое решение достойно еврея? Дорогие братья, — прошепелявил он, надув щеки и стараясь подражать раввину. — Преследования усиливаются, но наши сердца не ослабевают. Прогнать нас из божьего дома они могут, но пусть не ждут, чтобы мы из него ушли сами.

— Теперь не до шуток, — вмешался самый старший из дежурных, почти юноша, который все время посасывал мокрый от пота кончик уса. — С малышами и женщинами может получиться, как в Берлине.

— Как в Берлине? — пронзительным от волнения голосом закричал Эрни, обводя взглядом дежурных, которые вдруг стали отводить глаза в сторону. — А что с ними было в Берлине?

— Нет, ничего. — успокоил его Мориц, но тут же, к удивлению Эрни, яростно спрыгнул с тумбы.

Воинственное лицо пылало гневом. Широко расставив ноги в роскошных штанах из синей саржи, он хлопнул кулаком по раскрытой ладони и заорал:

— Дали бы мне только пистолет! Паф — и готово!

— А мне, — хитро прищурился глаза, сказал Паулюс Вишняк, — пусть дадут миллиард, всего один миллиардик, понимаешь?

Приподняв очки, он наслаждался выжидательным молчанием слушателей, но вдруг, побагровев, согнулся пополам.

— Я их куплю! — едва выговорил он. — Всех до единого куплю!

— Ловко придумано, — проговорил старший и отвернулся. — Дети! Что с ними разговаривать!

Мориц снова влез на тумбу и уперся руками в колени, поверх аккуратно закатанных штанов. Два велосипедиста пересекли улицу, не взглянув на поющую синагогу. Сталь колес вспыхивала яркими блестками в воздухе между платанами. Высоко в небе кружили вороны, словно и они чего-то ожидали, предвкушая удовольствие от предстоящего зрелища, которого вдруг безумно испугался Эрни. Он закрыл глаза, чтобы не видеть этот мир, и в отчаянии сказал себе: «Бог не здесь. Он нас оставил...»

Картавый голос Морица вернул его в этот мир:

— А ты что хочешь получить? Ножницы? Разрезать «их» пополам, чтоб стали твоего роста? Хорошо тебе, счастличик, ты маленький, а мне вечно приходится драться. Бывают дни, когда я с удовольствием заключил бы с «ними» мир.

— А «они», значит, не хотят его заключать? — сказал Паулюс Вишняк и, подойдя к Морицу, похлопал его по плечу с видом заговорщика.

— Не хотят! — признался Мориц и вдруг добавил серьезно: — А мне начинает надоедать драка. С меня хватит. Кроме шуток...

— Так ты еще ходишь в школу? — удивился старший.

— Я уже в последнем классе, — наивно выпятил грудь Мориц. — Мне только четырнадцать лет. Правда, мне можно дать больше? Раньше я ужасно любил драться.

— Значит, парни из твоей банды тебя бросили?

Мориц отвернул исполосованное шрамами лицо. Старший продолжал торопливо:

— Я тоже любил раньше... Вначале... Давным-давно... Да, в прежнее время это было, года два назад...

На этом самом месте. Когда выходили из синагоги. Я был в компании Арнольда, знаете, того, что потом уехал в Израиль. Кровь лилась рекой. Но мы не могли выстоять. Честно! Они привели парней лет по восемнадцать, если не старше. Потом было дело с Железными Касками, и, наконец, однажды появились штурмовики. Ну, сам понимаешь...

— Штурмовики больше уже не придут. — сказал Паулюс Вишняк.

— Точно! — огрызнулся Мориц. — Но все-таки взгляни на перекресток, старик.

В эту минуту прежнего греящего мира не стало.

Эрни увидел, что Паулюс Вишняк выглянул через плечо Морица, все еще сидевшего на тумбе, и отпрянул назад так резко, будто солнечный воздух обжег ему лицо. Потом Эрни услышал первые такты нацистской песни, словно влившиеся в заключительные звуки субботней молитвы. Тоскливые слова на иврите и жесткие звуки немецкого столкнулись прямо над переулком, и переулок дрогнул.

— Попались-таки крысы в ловушку. — прокартавил Мориц, спрыгивая с тумбы и отталкивая младшего брата в тень.

Паулюс Вишняк и второй парень полетели по переулку, словно два больших ворона, бьющихся крыльями в тесные стены. Мориц в своих роскошных штанах и жемчужного цвета курточке напоминал куропатку. Он мчался, чиркая ногами по каменным плиткам мостовой, которые начали подпрыгивать и под лакированными башмаками Эрни; стены клонились из стороны в сторону, словно и они опьянели от страха, как Эрни, словно и у них, как у него, сердце уходило в пятки. Мориц грубо втолкнул его во двор, и теперь Эрни дрожал вместе с остальными.

ми верующими, которые делали круги по двору, постепенно приближаясь к задней стене, где сгруппировались, застыв от ужаса, самые важные семьи. Раввин загоразживал толстыми руками дверь, перел которой толпилось несколько жирных дам, увешанных драгоценностями.

— Нет, в синагогу мы не вернемся. — раздался голос раввина. — Пусть все происходит при свете дня.

— При свете дня! При свете дня! — завопили лампы, словно охваченные восторгом.

Затем наступила глубокая тишина. Предметы вновь обрели свой естественный вид, каменные плиты во дворе еще немного покачались, словно играя последнюю злую шутку, и тоже успокоились. Все очертания стали удивительно четкими. В первом ряду верующих стояла мертвая от страха мадам Леви-мама. Склонившись над закутанной в розовое одеяло новорожденной Рахелью, она тихонько звала:

— Эрни, Эрни...

Он с трудом преодолел несколько шагов между ними и уткнулся в теплый шелк материнского живота, который содрогался, как от внутренней икоты. Эрни схватил руку матери и прижал ее к своей влажной щеке. Он невольно успокоился, но тут раздался общий вздох и всколыхнул его притихшую тоску. Толпа замолкла и перестала дышать — даже дети не плакали. Эрни оглянулся и увидел нацистов. Они стояли в воротах, отрезав синагогу от тупика.

Эрни не поверил своим глазам: ему показалось, что он узнал лавочника с Фридрихштрассе — в форме, в черных сапогах... Он стоял несколько ближе остальных, широко расставив ноги. Его молодчики плотной стеной запирали ловушку. И над всей этой сценой возвышалось ярко-голубое небо без единого ворона в нем. Эрни вдруг почувствовал, что там, над синагогальным двором, Бог только ждет той минуты, когда ему нужно будет вмешаться. Трое мальчишек один за другим прошмыгнули между сапогами наци-

стов и стали бросать камнями в безмолвную толпу евреев.

Барышня Блюменталь дрожала с ног до головы, и Эрни чувствовал щекой ее дрожь. Он поднялся на цыпочки, стараясь дотянуться до уха маленькой женщины. глаза у него пылали безумным огнем, и тень улыбки блуждала на губах.

— Не бойся, мама, — взмолился он, — Бог спустится к нам с минуты на минуту.

На потрескавшемся фасаде дома, возвышавшемся над двором, раскрылось несколько окон, и оттуда понеслось улюлюканье.

Эрни почувствовал, что накаленное пространство между стеной нацистов, которых безмолвие жертв еще удерживало у ворот, и толпой евреев стало тоньше ниточки.

Но тут до него дошло, что улюлюканье адресовано нацистам, и тонкая ниточка с головокружительной быстротой разрослась в толстый канат, преградивший нацистам дорогу. Те выпустили из рук висевшие на поясе дубинки и в замешательстве задрали кверху подбородки. «Им мешают окна», — с восторгом подумал Эрни, и надежда заставила и его поднять голову к соседнему дому. Фасад теперь казался сплошь усеянным лицами мужчин, женщин и даже детей, чьи живые глаза сверкали над подоконниками в спасительном свете яркого солнца, которое с силой вонзало свои лучи в камни фасада и в лица любопытных. «Неужели? — подумал Эрни обрадованно. — До сих пор окна открывались лишь для того, чтобы какие-то руки выливали помой прямо на головы евреев, сновавшим взад и вперед во дворе синагоги. Что же там наверху переменялось?» Он увидел знакомое усатое лицо своего школьного учителя господина Юлиуса Кремера, который чуть высунул голову из окна, напоминая птицу, усевшуюся на самый краешек голубятни.

Посыпался град упреков.

— Не стыдно вам? — закричал господин Кремер и погрозил пальцем опешившим нацистам, как провинившимся ученикам.

Евреи вокруг Эрни не проронили ни звука. У мадам Леви-мамы что-то забулькало в горле, но рот не раскрылся. Эрни почувствовал, что Бог совсем рядом, так близко, что можно дотронуться пальцем — если набраться немного смелости.

— Остановись! Не тронь мой народ! — пробормотал Эрни, словно божественный голос вошел в его горло. И, крепко зажмурившись, он увидел, как толпа верующих прямо на плитах поднимается в лазурное небо, стремительно, как пущенный ввысь камень, и все-таки величаво, словно в карете. Вот уже карета поднялась на такую фантастическую высоту, что превратилась в неподвижную точку, и Эрни теперь четко различает только нос мадам Леви-мамы, хотя он стал совсем крохотным, как поднятый хоботок комара. «А может, карета с евреями. — подумал Эрни, улыбаясь и не раскрывая глаз, — проносится сейчас над сказочными землями Палестины, которые текут молоком и медом».

— Поговорите мне еще там наверху!

Эрни, похолодев, открыл глаза и увидел, что нацистский офицер шагнул в сторону дома и все его мощное тело колотится от ярости.

— А ну-ка, закройте окна! — потрясая жилистыми кулаками над толстой бритой головой, проорал офицер и с тяжеловесностью пьяного повернулся кругом.

Эрни оцепенел, но все же заметил, что нацист и вправду пьянеет от собственной ярости. Рот у него то открывается, то закрывается, из него брызжет пена, лицо наливается кровью, и он с трудом подыскивает слова, способные выразить его гнев.

— Эй, вы, там, наверху! — вдруг заорал он, опираясь рукой на круг. — Вы что, еще не знаете этих жидовских свиней? И какой вред от них, тоже не знаете? Эй, товарищи! Жида хотят погубить нашу страну!

Нашу родину! Землю наших предков... — добавил он плаксиво, что больше всего поразило Эрни.

На мгновение у нацистского вожака перекосило рот, и он не смог издать ни звука. Потом он ткнул в сторону евреев указательным пальцем так, что палец чуть не отвалился, и так завыл, что Эрни даже не узнал его голоса:

— Эй, там, наверху! Ну-ка! Дамы и господа! Хотите приютить это дерьмо свинячее — пожалуйста! Пускай наделают вам на голову! Чего же вы ждете? Спускайтесь лизать им зад! Ну!

В пылу своей обличительной речи он грозил кулаками окнам, которые уже стыдливо закрылись одно за другим, оставляя евреев перед ослепшим фасадом. Но какие-то немцы — человек десять — все еще молча смотрели на синагогальный двор, словно мерились взглядом с евреями, а те, сначала женщины и дети, а потом и мужчины, потянулись дрожащими руками к этим еще не закрывшимся окнам. Поддавшись общему порыву, Эрни тоже поднял на ладонях всю тоску, переполнявшую его сердце, и горячо взмолился: «Боже, всемогущий, пожалуйста, взгляни хоть на минутку сюда...»

В эту минуту старая мадам Тушинская выступила вперед.

Она была взбешена. Тошие руки мотались над ее головой, как клубок змей, а рот изрыгал проклятия. Нацисты остоленели.

— Что вы хотите от нас? — кричала она на смеси немецкого с идиш. — Что вам нужно? Что мы вам сделали? Вы что, говорить не умеете? Совсем уже скотами стали? Ничего, ничего, Бог призовет вас к ответу! Настанет такой день! Бог в порошок вас сотрет! — добавила она, подняв свои длинные руки и жестах изображая, как это будет.

И вдруг Эрни освободился от страха. Совсем. И тоска загадочным образом исчезла. Даже от религиозного экстаза ничего не осталось, кроме горящего взгляда, устремленного на старую женщину. А та, не

переставая махать руками и выкрикивать проклятия, шаг за шагом приближалась к грозной стене коричневых рубашек и блестящих сапог. Нацисты беспокойно зашевелились.

— Вы будете гореть на вечном огне! — на чистейшем немецком языке швырнула она в лицо нацистскому вожаку, почти вплотную. — Да, да, на вечном огне, — чеканила она каждое слово.

Секунда тянулась вечно. Потом нацист жестом успокоил своих молодчиков и явно улыбнулся госпоже Тушинской.

— А ты сгоришь сейчас же, — пообещал он и со всего размаху ударил ее по лицу.

Парик отлетел в сторону, и мадам Тушинская упала навзничь, прикрывая костлявыми руками гладко выбритую голову.

— Нет, нет, нет, — как в бреду твердил Эрни, не отрывая глаз от госпожи Тушинской. Он сделал полшага вперед.

Распростертая у ног нациста, госпожа Тушинская прикрывала руками голову — странное яйцо, какое бывает лишь в страшном сне. В тот же миг Эрни заметил, что рот его открыт и из него несется вой.

Барышня Блюменталь зажала ему рот рукой, но он все с тем же воем вырвался и бросился вперед. Никто не успел опомниться, как ребенок очутился совсем близко от нациста. Голые руки повисли вдоль штанов. Он был далеко от барышни Блюменталь, но она видела, как дрожат у него ноги, а крик бил ей прямо в уши.

Двое евреев выступили вперед. Вид у них был суровый и отсутствующий.

После молитвы толпа закружила Мордехая, оторвала от своих, оттеснила в угол между загородкой и тем местом, где режут кур, так что он оказался в треугольной тени навеса, которого он касался головой. Любое чувство, переживаемое толпой, докаты-

валось до него, прижимая к стене, и он тщетно пытался сдерживать этот натиск, блуждая взглядом над шляпами, ермолками и шиньонами в надежде отыскать своих. Но только голова медузы — косматая голова Юдифи мелькала среди людских волн, то приближаясь, то отдаляясь. Мордехай был готов ко всему. Древний голос в нем взывал к искупительной жертве, всегда, вечно и особенно после Земионка и особенно теперь, в этом году, с тех пор, как христианское варварство вонзило свои когти в немецкое еврейство. Но к тому, что происходило сейчас на его глазах, не был готов даже он. Эти женщины, эти дети, пусть умирая от страха, но все же по собственной воле пришли сюда на поругание и стоят перед нацистами. Нет, этого он не хотел. Более того, он был против. Понадобилось единодушное безумие всех верующих Штилленштадта, чтобы он согласился, по их примеру, пустить своих в синагогу. «Какая таинственная сила двигала ими?» — спрашивал он себя и не верил своим глазам, когда при появлении нацистов лица вокруг него исполнились особого достоинства. Даже у самых крикливых кумушек! Даже у самых маленьких детей! Словно и они почувствовали трагическое величие этой минуты... Что же не дает угаснуть тому древнему и суровому огню, который снова зажег души тихих штилленштадтских евреев, вот уже сто лет расслабленных покоем этой рейнской провинции? Почему перед лицом преследований они вдруг почувствовали смысл своего еврейства? Они давно забыли о былых пытках, давно стали беззащитными перед страданиями, но неожиданный поворот событий застал их во всеоружии...

Рассуждая сам с собой таким образом, Мордехай смотрел, как раскрываются окна соседнего дома, и чувствовал, что надежда уменьшает напор толпы. «Боже, а что будет в тот день, когда немецкие окна больше не раскроются при виде еврейских страданий?» — спрашивал он себя. Он бесстрастно отметил, что нацисты свирепеют, так же бесстрастно

констатировал, что окна одно за другим закрываются и что евреи поднимают руки к небу, словно внезапно почувствовав свое полное бессилие.

Но когда безумная старуха бросилась на «нейтральную полосу», отлеявшую толпу евреев от нацистов, Мордехай начал прокладывать себедорогу. У его плеч мелькали мокрые от слез женские щеки, склоненные мужские головы, обезумевшие глаза детей, теперь разрывшихся плачем.

— Боже праведный, хоть бы безумие мадам Тушинской не обернулось против детей! — раздавался вокруг него шепот.

Крик Эрни он услышал, когда был уже на расстоянии нескольких голов от пустого горячего пространства, разделявшего два мира.

Ребенок меж тем уже стоял перед страшным коричневорубашечником, такой маленький, что, казалось, будто он смиренно припадает к его ногам, такой щедушный, что грозная тень, лежащая на сверкающих плитах, накрыла его целиком.

И тут, когда Мордехай разглядел фигурку внука на тонких дрожащих ножках и черные колечки его кудрей, едва прикрытые нелепым немецким беретом, когда услышал его крик, похожий на блеяние ягненка, у старика сжалось сердце, и он увидел с беспощадной ясностью: «Вот он, наш жертвенный агнец, наш испкупитель». Слезы застлали ему глаза.

Дальше все происходило уже далеко, в фантастическом мире легенды, и яркое солнце, выхватившее из тьмы веков подробности этой сцены, только придавало ей живые краски. Сначала захохотал главарь, показывая пальцем на ребенка. Потом захохотали его молодчики.

— Посмотрите на этого защитника евреев! — кричали они, хлопая друг друга по плечу.

Добела раскаленное небо уносило их смех в бесконечность. Мордехай понял, что накатившаяся на них волна веселья защитит, прикроет ребенка. Кажется, и мальчик это понял: он вдруг качнулся, поднял ва-

лявшийся у его ног парик и надел его на голову госпожи Тушинской. Она жадно схватила парик, снова обняла колени руками и свернулась клубком. Траурное платье, болтавшееся на ее длинном худом теле, придавало ей сходство с мертвой вороной. Но когда ребенок распрямылся, нацист перестал смеяться и сильным ударом ладони отшвырнул его назад, на госпожу Тушинскую. У нее задралось платье, обнажая бледные морщинистые бедра. Нацист заморгал глазами и с досадой отступил. Его молодчики двинулись за ним. Толпа облегченно вздохнула: на сегодня — довольно.

3

При падении госпожа Тушинская сломала ключицу, а ребенок был цел и невредим, только слегка ободрал колени. И все же Мордехай поднял его на руки и молча понес через тупик, не обращая внимания на верующих, которые наперебой советовали ему быть осторожным. Барышне Блюменталь он запретил идти за ним, но она не послушалась и, охваченная смутным благоговейным страхом, семенила сзади, что-то приговаривая.

Пот бисером выступил на висках у Эрни, он не хотел, чтоб его несли на руках, он может идти сам, что у него, ног нет?..

Но дед молча шагал по белым от солнца улицам, и немцы останавливались поглазеть на огромного старика с ребенком на руках: наверно, в синагоге полбили...

Досаждали только мальчишки, которые увязались за ними и всю дорогу, словно повторяя невинную считалочку, распевали чистыми голосами:

Раз — евреи, два — маца.

Три — евреи, ца-ца-ца.

Вас зарежут, вас сожгут,

Всех вас к дьяволу пошлют!

Но Мордехай настолько ушел в свои мысли, что не слышал их выкриков, и им под конец наскучило его безразличие. Иногда Мордехай вдруг остро ощущал живую плоть агнца в своих руках и рассеянно дотрагивался усами до курчавого, взмокшего от пота руна. Когда пришли домой, он внес ребенка к себе в комнату и неумело раздел его. Тот испуганно раскрыл глаза, но Мордехай только глухо повторял: «Не бойся, милый, не бойся». Потом он укутал Эрни, как младенца, закрыл дверь на задвижку, присел у изголовья и начал рассказывать по порядку всю необычайную историю рода Леви. Голос его звучал хрипло, словно тяжесть многолетнего молчания навсегда его приглушила.

Иногда он прерывал свой рассказ и вглядывался в лицо ребенка, понимает ли тот, затем продолжал снова, стараясь соразмерять слова с детским пониманием. Он видел перед собой горящие от возбуждения щеки, кончик языка, от внимания высунувшийся из загородки молочных зубов, темно-синие вспышки в полузакрытых глазах. И тогда он спускался еще на одну ступеньку, чтобы уловить и поднять до себя уровень детского понимания. Но несмотря на свои старания, Мордехай не замечал, чтобы в ребенке что-нибудь шевельнулось, кроме привычных воспоминаний о знаменитых легендах про Ламедвавников. В гаснущем свете уходящего дня, пробивавшемся сквозь тюлевые занавески, Эрни лежал под простынями, закрыв от волнения глаза, и, раскрыв рот, слушал эти легенды. Только один раз, когда Мордехай сказал, что три года назад умер последний Праведник из Земиоцка, не назвав своего преемника, и теперь Леви не знают, кто в их роду Ламедвавник, ему показалось, что в темных зрачках зажегся беспокойный огонек, который, впрочем, тут же и погас.

— А почему ты... там, во дворе синагоги... словом, почему ты это сделал? — вдруг спросил старик.

Эрни покраснел.

— Не знаю, дорогой дедушка. Мне... мне было

больно смотреть, как... И я... я-таки бросился на него! Понимаешь, дедушка? — тихонько засмеялся Эрни и откинулся на подушки.

— О, не смейся, не смейся, — в отчаянии пробормотал Мордехай, уже жалея о своей безумной откровенности и чувствуя угрызения совести, ибо совершил преступление, крохотное, незаметное, но непоправимое, как всякое преступление, совершенное в душе.

«Старый слон» наклонился над кроватью, молча поцеловал удивленного Эрни в лоб и медленно, виноватой походкой направился к двери. Он уже открыл ее, когда ребенок его окликнул.

— Дедушка, скажи мне...

Старик обернулся.

— Что, душа моя? — спросил Мордехай, усталым шагом подходя к изголовью, скрытому тенью.

Чтобы успокоить деда, Эрни улыбнулся.

— Дедушка, дорогой, скажи мне, что должен делать Праведник в жизни? — едва слышно прошептал он, и густая краска залила его щеки.

Дед весь задрожал, не зная, что ответить. Кровь постепенно отхлынула от лица ребенка, и оно белело в темноте, но широко раскрытые глаза горели, как у старых евреев из Земиоцка, охваченных экстазом. Мордехай положил руку на детскую головку и, тербя шелковистые кудри, нерешительно проговорил:

— Разве ты просишь солнце, чтобы оно что-нибудь делало, мой птенчик? Оно восходит и заходит и тем радуется твою душу.

— А Праведник? — не унимался Эрни.

Его настойчивость растрогала деда.

— Так же и праведник, — наконец сказал он, вздыхая. — Он восходит и заходит, и это хорошо...

Видя, что ребенок не отрывает от него глаз, он взволнованно заговорил снова:

— Эрни, мой маленький рабби, что ты меня спрашиваешь? Много ли я знаю? А если и знаю, то много ли это стоит, ибо мудрости не дал мне Господь. Пос-

лушай, если ты и в самом деле Праведник, то наступит день, и ты... воссияешь. Понимаешь?

— А пока? — удивился ребенок.

— А пока будь умницей, — подавил улыбку Мордехай.

Как только дед ушел и на лестнице стихли его осторожные шаги, Эрни начал серьезно обдумывать предстоящее ему мученичество.

Вечерние тени смягчали свет: солнечные лучи чертили расплывчатые, прихотливые узоры вокруг кровати и стула, на легкой бахrome занавесок; а если хорошенько прищуриться, то все они сбегутся в одну желтую полоску, которая пляшет на стуле, а потом и она исчезнет в черноте ночи. Из гостиной доносится неясный гул, и под этот аккомпанемент в ногах кровати уже кружатся фантастические персонажи. Эрни нажимает еще на одну пружинку своего воображения, и появляется силуэт, залитый лунным светом, который струится у него из глаз.

Приподнявшись на подушке, Эрни с удовлетворением узнает в нем дорогую мадам Тушинскую, которая своими паучьими пальчиками прилаживает на бритой голове целое нагромождение париков.

Потом силуэт растворяется, парики улетают все разом, и Эрни видит голый череп мадам Тушинской, блистающий как яичная скорлупа над ее морщинистым лицом, над ее гневно разинутым ртом.

— Не огорчайтесь, — говорит Эрни привидению, — и прежде всего спокойно вытрите нос, потому что я Праведник, Ламедвавник, понимаете?

— Не может быть, — улыбается мадам Тушинская.

— А я вам говорю, что это правда, — важно заявляет Эрни, устраивается на подушке поудобнее, хмурит брови и вызывает рыцарей, которые до сих пор сидели в шкафу.

Потрясая копьями, отчего дрожат султаны на шлемах, рыцари выстраиваются у дверей и продолжают толкаться на месте.

У них серьезный и даже довольный вид.

— Ну, — говорит лавочник с Фридрихштрассе. надежно защищенный железным забралом, — не отомстить ли нам за Христа?

На щите у него крест, и на каждом конце креста страшные когти свастики.

Эрни обязательно хочет вызвать свой скрытый голос, мощный и величавый, как река, а не тот обычный, прерывистый и тоненький, как ручеек. Поэтому он набирает в легкие побольше воздуха и только тогда отвечает лавочнику:

— Сударь, я к вашим услугам.

С душераздирающим вздохом откидывает он олеяло, соскальзывает на пол и парадным шагом направляется к двери, навстречу своим смертным мукам.

Верующие застывают в почтительном молчании.

Но тут над их головами простирается неумолимая рука Муттер Юдифь и пытается схватить Эрни. А в довершение всего мадам Леви-мама распростерлась на полу и загородила дорогу Праведнику. Но тот тихонько отталкивает руку Муттер Юдифи, ставит кончики пальцев ноги на живот мадам Леви, еле-еле касаясь его, и легким рывком преодолевает препятствие.

— Так ты и есть Праведник? — удивленно и насмешливо спрашивает лавочник. — Ты, значит, защитник евреев?

— Да, — сухо отвечает Эрни Леви и дрогнувшим голосом добавляет: — Что же ты медлишь, дикарь, убивай меня!

— Бац! — говорит лавочник, и его стальная перчатка летит в горло Эрни Леви.

Эрни пошатывается под голубым небом синагогального двора, в глазах у него темнеет, и сквозь эту тьму он различает не только призраки своего воображения, но и спальню, по которой кружится он сам — маленькое привидение в белой ночной рубашке.

Наконец он решает умереть. Он ложится на пол перед шкафом, принимает соответствующую позу и

поднимает полуприкрытые глаза к потолку. А там — лицо его палача. Оно начинает расплываться и вдруг совсем исчезает в потоке ворвавшегося света.

— Ангел небесный, — кричит барышня Блюменталь дрожащим голосом, — чего ты лежишь в темноте на полу? Ты болен?

Чувствуя на себе бдительный взгляд Муттер Юдифи, Эрни делает вид, будто засыпает. Наконец он осмеливается изобразить похрапывание.

— Ты спишь? — шепчет Муттер Юдифь спустя минут пятнадцать.

— П-ф-ф ...

Старая женщина со вздохом поднимается, и сквозь прикрытые ресницы Эрни с удовольствием видит, как она на цыпочках, словно заговорщик, крадется к дверям. Проклятая лампочка, наконец, гаснет, скрипят ступеньки, дверь на втором этаже закрывается, и наступает полная тишина. Весь дом спит, кроме него.

Он сгорает от нетерпения, но из осторожности выжидает в темноте чуть ли не целый час. Его первая ночь Ламедвавника! Малейшее дуновение, малейший шорох заставляют дрожать каждую жилочку, но мысль упорно продолжает работать в том направлении, по которому ведет ее сознание Праведника.

Широко раскрыв глаза, Эрни жадно всматривается в своих предшественников, и ему даже удается уловить самые тонкие различия между ними. Например, он приходит к выводу, что быть привязанным к хвосту монгольской лошади, как рабби Ионатан, менее достойно, чем быть заживо сожженным, как другие Ламедвавники. Мясо и жир вокруг костей отвратительно обгорают, и постепенно отваливаются пылающие куски... О Боже! Как он ни старался, ему не удавалось приучить себя к мысли о предсмертных муках. Вдруг он смирился с необходимостью пройти пробное испытание и тихонько слез с кровати.

Начал он скромно: с задержки дыхания.

Пытка показалась ему ничтожной. Но когда зазвенело в ушах и что-то начало разрываться в груди, он в восторге подумал, что, возможно, это действительно похоже на настоящую пытку Праведника, но тут же упал, потому что задерживал дыхание дольше возможного.

— Ну и хватит! — сказал внутренний голос.

— Господи, не обращай внимания на эти слова, это так, случайно, — немедленно возразил Эрни.

Он стал на ощупь пробираться в тот угол, где в картонной коробке хранились сокровища Морица.

Подобрав, словно барышня, одной рукой длинную ночную рубашку, чтоб не болталась по босым ногам, и выставив вперед другую, он шарил в темноте пальцами, тонкими, как мушиные усики. Перед столом он опустился на колени, открыл коробку, нащупал и отбросил какие-то веревки, оловянных солдатиков, перочинный нож с шестью лезвиями, и наконец он добрался до спичек.

Венчик у пламени был синий.

— Ну, покажи, кто ты такой на самом деле, — прошептал он, чтобы подбодрить себя, и, глубоко вздохнув, поднес пламя к левой ладони.

Странно: боль как будто не настоящая, хотя кожа уже потрескивает и такой запах, что просто душу выворачивает.

Спичка сгорела в пальцах до конца, и, когда снова стало темно, из глаз покатались слезы. Но то были капельки радости, живые, мягкие и на языке сладкие, как мед.

— Не может быть, — пришел он в отчаяние, — не нужно было подносить спичку так близко!

Он хотел чиркнуть вторую, но заметил, что пальцы на левой руке не слушаются его: они совсем перестали сгибаться и сами собой растопырились веером вокруг обожженной ладони.

Широко раскрыв глаза, он увидел, что кругом

ночь. Он убрал коробку Морица на место и вернулся в постель.

Левую руку он осторожно положил поверх одеяла, потому что от нее пылало жаром, как от печки.

Его охватила глубокая радость: если регулярно тренироваться, то в час испытания Бог, может, и пошлет ему силы выдержать настоящую смертную муку. Да, если закалить тело, может, когда-нибудь у него хватит духу героически пожертвовать собой, чтобы Бог сжалился над Муттер Юдифью, над дедом, над барышней Блюменталь, над господином Леви, над Морицом, над малышами — и вообще над евреями Штилленштадта. А может, даже над всеми-всеми евреями, которых мир преследует и мучает. Он еще удивлялся тому, как легко перенес пробное испытание, как вдруг почувствовал сильную судорогу в левой руке, хотя ладонь по-прежнему не болела. Из нее только текла жидкость. «А все-таки я не кричу», — обрадовался он, разжал зубы и только тогда почувствовал настоящую боль.

4

Утром оказалось, что на ладони огромный ожог до самого запястья. От маленького Праведника ничего не удалось добиться. У него был жар, и он чуть не бредил. Врач недоумевал: как это вдруг ни с того, ни с сего ночью образовался такой ожог! Можно подумать, что тут злые духи поработали! Муттер Юдифь поспешила подсунуть несчастной жертве под подушку некий красный мешочек, где было семь щепоток пепла из семи печей, семь щепоток пыли из семи скважин дверных петель, семь щепоток тмина, семь горошин и, наконец, почему-то не семь, а всего один волос. Она терялась в догадках.

— Не понимаю, — говорила она потом в кухне всему семейству, — вчера Ангелок, как отважная блоха, прыгнул на нацистов, а утром — нате вам —

искалечен. Мало того, что мы от волнения с ума сойдим, так он еще раз разлегся в кровати, как барин, и грудь выпятил колесом — ни дать, ни взять генерал, выигравший сражение. А когда несчастная бабушка спрашивает его: «Ангелок, что с тобой ночью случилось?» — так Ангелок фыркает прямо в лицо, залазит под одеяло и молчит, как не знаю кто. Я вам вот что скажу: он на нас смотрит...свысока.

— Не может быть, — сказал Биньямин.

— А я вам говорю: свысока, — повторила Муттер Юдифь и, воздев руки к небу, воззвала: — Господи, кто мог напустить на него такое несчастье?

— Может, ребенок вчера ушиб голову, когда упал, а? — вставила свое слово барышня Блюменталь.

Она тоже была напугана и даже подумывать боялась, что ребенок начал «подражать» кому-то еще.

Что касается деда, то он не проронил ни слова и терзался молча. Сославшись на недомогание, он тайком проник в комнату к больному... Тот встретил его торжествующей улыбкой и не без гордости признался, что стал готовиться. Темные круги под глазами, пылающие щеки, огромная повязка, которую он поднимал, как знамя, делали его признание похожим на бред сумасшедшего.

— К чему готовиться? — спросил Мордехай, дрожа.

Хотя уже наступило утро, вафельные занавески не пропускали света, и солнце продевало сквозь них лишь отдельные ниточки. Одна из них легла вдоль горбинки у деда на носу, другие рассыпались золотыми искрами и прыгали в его бороде.

Чтобы подбодрить деда, Эрни улыбнулся.

— Готовиться к тому, как умирать, — весело заявил он и совсем расплылся в улыбке, стараясь показать, что все в порядке.

— Еврей, что ты такое говоришь? — гневно закричал старик, и Эрни тут же понял свою чудовищную ошибку.

В мгновение ока он свернулся клубочком и, как пе-

репуганный зверек, юркнул под одеяло, словно хотел исчезнуть совсем. Но, зарывшись в мягкую тьму одеяла, он вдруг почувствовал нежное прикосновение к плечу. Рука деда поднялась выше и легла ему на голову.

— Бог с тобой, Бог с тобой! Ушам своим не верю! Объясни все-таки, зачем ты это сделал? Разве я тебе говорил о смерти?

Эрни помолчал, а потом удивленно ответил из-под одеяла:

— Нет.

— Клянусь Десятью Заповедями! — загремел дед, еще нежнее лаская огромными пальцами голову внука. — Клянусь казнями египетскими! Что все это значит? Что еще за подготовка? Люди! — закончил он со вздохом. — Вы слышали что-нибудь подобное?!

— Дедушка, дорогой, я думал... — Голос под одеялом сорвался. — Я думал, если я умру, вы сможете жить.

— Если ты умрешь, мы сможем жить?

— Ну да, — выдохнул Эрни.

Мордехай глубоко задумался. Его звериная лапа по-прежнему лежала у Эрни на голове, из увлажнившихся глаз лился тихий мечтательный свет.

— Ты, значит, вчера меня не понял, когда я тебе объяснял, что смерть Праведника ничего не меняет в этом мире?

— Нет, этого я не понял.

— Я же тебе сказал, что никто на свете, даже Праведник, не должен искать страданий, страдания приходят сами, их не нужно искать...

— И этого я не понял, — забеспокоился Эрни.

— А что Праведник — это сердце человечества, тоже не понял?

— Нет, нет, нет, — твердил ребенок.

— Что же ты понял?

— Что если я умру...

— И это все?

— Да, — всхлипнул Эрни.

— Тогда послушай меня, — сказал Мордехай, поразмыслив. — Только слушай хорошенько. Если человек страдает в одиночку, его боль остается при нем. Это ясно?

— Ясно.

— А если кто-то видит его страдания и говорит: «Ах, как ты страдаешь, мой еврейский брат...», тогда что происходит?

Одеяло зашевелилось, и показался кончик носа.

— Тогда мне тоже ясно: тот, кто на него смотрит, вбирает в себя глазами его боль.

Мордехай вздохнул, улыбнулся и снова вздохнул.

— А если тот, кто на него смотрит, слепой, может он принять на себя страдания, как ты думаешь?

— Конечно, может! Ушами.

— А если он глухой?

— Тогда руками, — серьезно сказал Эрни.

— Ну, а если он далеко и не может ни видеть, ни слышать, ни коснуться другого человека? Как ты думаешь, может ли он все-таки принять его страдания?

— Наверно, он может о них догадаться, — нерешительно высказал предположение Эрни.

— Вот ты и дошел до истины сам, — обрадовался Мордехай. — Именно так и происходит с Праведником, умница ты моя! Праведник догадывается о всех страданиях на земле и принимает их на себя сердцем.

Эрни что-то обдумывал, приложив палец к губам, и наконец грустно заметил:

— А какой толк догадываться, если это ничего не меняет?

— Ну, как же, перед Богом это меняет.

И так как ребенок скептически поднял бровь, Мордехай поспешил продолжить философские рассуждения.

— Кто может постичь то, что так далеко и так глубоко? — пробормотал он как бы про себя.

Но Эрни был поглощен своим открытием и старался осмыслить вывод, к которому он пришел.

— Если это меняет только перед Богом, тогда я совсем ничего не понимаю. Тогда получается, что это Он велел немцам нас преследовать? Как же так, дедушка, мы, значит, не такие люди, как все? Евреи, значит, в чем-то провинились перед Богом, иначе бы Он на нас так не сердился, верно?

От возбуждения он уселся и высоко поднял забинтованную руку.

— Дедушка, скажи мне правду, — вдруг пронзительно закричал он, — мы не такие люди, как все, да?

— А люди ли мы вообще?

Стоя над кроватью, Мордехай устремил на ребенка меланхоличный взгляд. Плечи опустились, ермолка съехала набок, смешно, как у школьника. Затем странная улыбка раздвинула усы и загнала глаза еще глубже в орбиты. То была улыбка бездонной, беспредельной печали.

— Так-то... — сказал, наконец, дед.

Склонившись над мальчиком, он крепко обнял его, затем оттолкнул, потом снова прижал к себе и, внезапно отпустив, выбежал из комнаты. Эрни услышал, что он на секунду задержался на лестнице, после чего наконец в гостиной хлопнула дверь. «Бедный, бедный дедушка», — подумал Эрни.

Он начал постепенно приходить в себя. Уселся на край кровати, здоровую руку положил на затылок, а больную — на колени и задумался. Огромная повязка показалась ему вдруг нелепой. Перед сонными глазами стояла улыбка деда. В этой улыбке были написаны миллионы слов, но Эрни не умел прочесть их, он не знал этого языка.

Рассеянный взгляд снова упал на повязку. Эрни стал присматриваться к ней в надежде найти законное удовлетворение. Но улыбка деда затмевала собой все, и вскоре он подумал, что какие бы упражнения в страданиях он ни изобрел, они всего лишь детские забавы. Как он посмел натворить столько шуму вокруг своей особы, причинить столько забот дру-

гим? Глаза кольнуло двумя острыми иголками, и из них выкатились две тяжелые слезы.

— Букашка я, всего лишь букашка, — тихонько сказал Эрни.

Нос деда возник первым. Он словно соткнулся из слез внука: костлявая горбинка выражала бесконечную, щемящую тоску. Затем показался высокий, величественный лоб и над ним черная шелковая ермолка. Потом в старых глазах и в седой бороде засветилась невыразимая улыбка: кто может постичь то, что так далеко и так глубоко?

— Знаешь, — тотчас же сказал Эрни, — я никогда больше не притронусь к спичкам. И завтра пойду в школу. И с задержкой дыхания тоже покончено.

Но дед, казалось, не собирался утешиться. Печаль в его улыбке настолько выходила за пределы доступного для Эрни мира, что он почувствовал себя снова крохотным, еще более несуразным, чем до своего открытия, даже не букашкой, а просто никем.

Но когда он дошел до мысли, что Эрни Леви и вовсе не существует, дед вдруг предстал перед его восхищенным взором во весь рост, превратившись в обычного старика с морщинами, которыми годы избороздили его лицо и большое, как у слона, тело.

— Ты, значит, старый слон? — растроганно спросил Эрни.

— Конечно, — серьезно ответил дед.

— Хочешь, я приму на себя твои страдания? — умоляюще спросил Эрни, приложив больную руку к здоровой.

Затем он закрыл глаза, снова открыл их и осторожно вызвал в своем воображении Муттер Юдифь...

Расставшись с ней, он горько заплакал от поразившей его мысли: она, оказывается, просто обыкновенная старуха. Все еще обливаясь слезами, он вызвал господина Леви-отца, затем мадам Леви, которая застенчиво улыбнулась ему, прежде чем покинуть его воображение. Но когда он попытался вызвать Морица, его внутренний взор совсем затуманился, и Эрни

снова увидел, что сидит на краю кровати, возле окна, раскрытого навстречу буйному потоку солнца.

— Нет, перед Морищем я недостаточно мал.

— Но ты же просто букашка.

В эту минуту ему удалось глубоким выдохом изгнать из своей груди последние остатки Эрни Леви.

И тогда появился плотный, коротко стриженный мальчик с кукольно-пухлым лицом. Карие глаза, вставленные по обеим сторонам носа, излучали веселые электрические заряды. Эрни с изумлением узнал в нем своего брата и обрадовался тому, что видит его таким живым, в его ярко-синих штанах и жемчужно-сером пиджаке, с выпученной грудью и раскрытым ртом, в котором сверкали крепкие квадратные зубы. И вдруг Эрни заметил, что на щеке у Морица шрам, на коленях — кровавые ссадины, а на штанах — дырки.

— Видишь, — прокартавил брат, сделав шаг вперед, — я уже больше не предводитель банды. Они не хотят подчиняться еврею, их это оскорбляет. По правде говоря, я уже и вовсе не состою в банде. Послушай, Эрни, отчего это немцы так злятся на нас? Разве мы не такие люди, как все?

— Не знаю, — смущенно сказал Эрни и поспешил добавить: — Эх, Мориц, Мориц, кто может постичь то, что так далеко и так глубоко?

— Рыбка! — сказал Мориц.

На этих словах видение подмигнуло Эрни, помахало на прощанье рукой и исчезло, оставив после себя легкое дрожание воздуха.

И тут Эрни понял, что в его душе действительно живут все эти лица: лицо деда, и Муттер Юдифи, и господина Леви-отца, и мадам Леви, и Морица, может быть, даже лица всех евреев Штилленштадта. Воодушевившись, он подбежал к окну, распахнул его: перед ним были каштан, и соседние крыши, и ласточки, которые, словно летучие мыши, описывали почти осязаемые круги, и голубизна бесконечно близкого неба.

— Боже милостивый, будь добр ко мне, сделай так, чтобы я остался просто совсем маленьким. — невнятно проговорил Эрни.

Как тот дурачок из сказки, который нашел на краю дороги ключи от рая, так и Эрни слепо доверился крохотному ключику, который ему вручил дед: он поверил, что в реальном и все же необыкновенном мире душ, о тайных горестях которых он догадывался, спасение в сострадании.

Сердце еще радостно колотилось от мысли о новом открытии, а на щеках еще не просохли слезы, когда он оделся и сошел вниз, улыбаясь душам, за которые считал себя ответственным.

Первая душа, попавшаяся ему навстречу, принадлежала Муттер Юдифи, сидевшей в гостиной. Всем своим грузным телом она выпирала из кресла, вся мощь ее плоти ушла в маленькую салфеточку, которую она сосредоточенно подшивала. Она не слышала шагов Эрни. Тот застыл на последней ступеньке и, усиленно стараясь стать просто совсем маленьким, жално глядел широко раскрытыми глазами на старую, обрюзгшую еврейку, изборожденную морщинами, которые ему вдруг показались шрамами, оставшимися от ран, нанесенных скорбью. Его поразила одна мысль: невозможно в это поверить, но у Муттер Юдифи была когда-то душа и фигура молодой девушки. «Какое же зло обрушилось на нее? Какая беспредельная печаль?» — спрашивал он себя, подкрадываясь к креслу.

Когда до кресла осталось уже совсем немножко, он неожиданно подскочил к Муттер Юдифи, схватил пятнистую, как мертвый лист, руку и робко поцеловал ее, дрожа так, словно коснулся запретной тайны.

— Это еще что за новости? Что тебе здесь надо? — грозно закричала старуха, хотя нежность электрическим током пробегала по старой, остывшей крови. — Что еще тебе взбрело в голову? — продолжала

она уже не столько сердито, сколько удивленно. — Зачем ты сюда пришел да еще руку мне лижешь? Со вчерашнего дня в этом доме с ума можно сойти! А ну, живо в постель!

На это карканье вышел Мордехай и кое-как вызволил несчастную добычу из рук Муттер Юдифи.

— Оставь ребенка в покое, я тебя прошу, ты же знаешь, со вчерашнего дня он сам не свой. — твердил он, загораживая старухе дорогу. — Когда Муттер Юдифь сердится, она рычит, как лев, а на самом деле она для людей, как роса для травы. — добавил он, обернувшись к перепуганному Эрни, ухватившемуся за фалды его капота. — Перестань дрожать, видишь, лев уже улыбается.

— Ничего я не улыбаюсь!

— Рассказывай кому-нибудь, а не мне! — сказал Мордехай, легонько приглаживая усы. — Ну, а ты, бездельник, может, объяснишь мне все-таки, с чего вдруг ты начал лизать руки?

— Не знаю, — пролепетал Эрни, краснея от смущения. — Сам не знаю... так получилось...

— Ни с того, ни с сего? — спросила Муттер Юдифь.

— Да, ни с того, ни с сего, — серьезно ответил Эрни.

Тут Мордехай сильно дернул себя за бороду, чтоб не рассмеяться, но не выдержал и залился тем гордым смехом, какой был у него в молодости. Юдифь тоже расхохоталась, будто заржала. Вконец смущенный Эрни проскочил у деда между ногами и убежал в кухню.

Барышня Блюменталь, тревожно охнув, заключила его в свои объятия.

— Мне просто надоело лежать в кровати, — сказал он, чтобы успокоить ее, и нежно улыбнулся.

Он жадно смотрел на мать, стараясь разглядеть ее другое лицо, скрытое, как он догадывался, за незначительными, затушеванными робостью чертами того лица, которое видно всем, лица служанки. Он при-

смастривался к осторожным движениям, какими она брала посуду, и вдруг впервые заметил, что у нее удивительно белые и узкие кисти.

— Чего ты на меня так смотришь? — спросила она в недоумении. — Я что-нибудь сделала не так?

Она продолжала помешивать суп, держа руку высоко над дымящейся кастрюлей и покачивая другой рукой коляску с новорожденной Рахилью. Эрни сокрушенно впивался взглядом в материнские черты, но не мог отыскать признаков того, другого, скрытого лица. И вдруг он в восторге понял, что душа барышни Блюменталь — это нежная рыбка, серебристая и пугливая, которая стремится юркнуть в обыденность, как в серую мелкую воду.

— Я же ничего такого тебе не сделала? — беспокойно повторила она.

— Нет, нет, — заверил ее потрясенный Эрни. — Нисколько.

— А... у тебя рука болит?

— Да нет, рука тут ни при чем.

Растроганный ее беспокойством, он не спускал с нее глаз и находил, что в ней масса добродетелей. И что ее незначительность достойна Праведника. Он не переставал ею восхищаться, как вдруг она выронила деревянную ложку в кастрюлю и смущенно вскрикнула, словно старалась скрыть волнение, которое испытывала под пристальным взглядом больших влажных глаз собственного сына.

— Ой, знаешь что, — вдруг сказала она ему с улыбкой, — хлеба мало. Может, сходишь? Или тебе не хочется?

— Хочется, хочется, — поспешно ответил Эрни.

Барышня Блюменталь с изумлением заметила, что, когда она давала ему деньги, он, как тайный воздыхатель, задержал ее пальцы в своих руках. Мало того! Видимо, отважившись на самую большую крайность, он поднялся на цыпочки и уткнул губы и

кончик носа в белую ладонь, из которой только что забрал деньги. Подняв плечи от смущения, он выбежал вон.

Улица была такой свежей и оживленной, что Эрни подумалось, уж не скрывает ли и она чью-то душу под одним из надутых, как щеки, булыжников. Мысль ему понравилась. «А все потому, что я теперь знаю секрет: я — малюсенький-малюсенький!» — рассмеялся Эрни. Он шел то важным шагом, то вприпрыжку и старался настроить себя на серьезный лад. С тех пор как господин Краус, по примеру остальных, выставил у себя в витрине эту странную табличку: «Евреям и собакам вход воспрещен», евреям с Ригенштрассе приходилось покупать хлеб на углу площади Гинденбург, у мадам Гартман, куда и направлялся сейчас Эрни.

Когда он был уже почти у цели, вдруг как из-под земли вырос господин Полчеловека.

Отталкиваясь от земли закрутившимися, как подошвы, ладонями, он катил свою повозочку, на которой его торс возвышался, как скульптура на пьедестале, а вытянутая голова приходилась вровень с головой Эрни. Вместо площадки для подаяний к повозочке была прикреплена военная каска, и медали на разноцветных ленточках украшали лохмотья на груди инвалида.

— Сжальтесь над бедным героем, — гнусавил господин Полчеловека и хитро подмигивал, давая понять, в чем должна выражаться эта жалость.

Эрни немедленно воодушевился и, свернув с дороги, остановился прямо перед повозочкой. Он смотрел на инвалида печальными глазами, как, по его мнению, следовало смотреть, чтобы выразить сочувствие страданиям господина Полчеловека.

А поскольку он при этом чувствовал, что становится «просто совсем маленьким», то и без того обрюзгшее лицо господина Полчеловека раздулось

до фантастических размеров. Черный щербатый рот приблизился к Эрни. Затем голубые шары выкатились из красного мяса и расположились в орбитах у Эрни, откуда теперь вытекали две тонкие струйки прозрачной, горячей крови, ужасающе бездушной.

— Долго ты еще будешь на меня пялиться?

Эрни отскочил. Голубые шары горели ненавистью. Она прорывалась короткими молниями, сменяясь холодным мраком затмения. Эрни был ошеломлен, увидев, что калека грозит ему кулаком.

— Я не нарочно, господин Полчеловека. Я просто хотел вам показать... хотел вам сказать, что... я вас люблю, господин Полчеловека. Понимаете, я, лично я, — огорченно объяснил Эрни, отступив подальше.

Инвалид поудобней примостил свое туловище на повозочке, голова раскачивалась из стороны в сторону, лицо то кривилось в гримасе, то успокаивалось. Эрни понял, что душа Полчеловека — это луна, которая безнадежно холодно поблескивает во тьме.

— Эй, ты, — вдруг разъярился инвалид, — кулаки-то у меня еще в порядке!

Пряча, как воришка, перевязанную руку под здоровую, Эрни поспешил удалиться. Инвалид на своей тележке повернулся ему вслед, разверз обросший бородой рот и, заранее смакуя слова, выкрикнул с наивысшим христианским презрением:

— Жидовское отродье!

Не ускоряя шага, Эрни завернул за угол. Тут он вынужден был прислониться к стене, до того колотилось у него сердце. В ногах тоже стучало, а под коленями ходила пила. Несмотря на скверный характер господина Полчеловека, Эрни неудержимо тянуло представить себе то место, откуда французским снарядом ему вырвало ноги. Вместо ягодиц — сплошной рубец, и на нем — вся тяжесть тела. Разве могут быть такие большие раны?.. Однако же небо привычно синее, и машины мчатся как ни в чем не бывало, едва не задевая тротуар, и люди ходят на здоровых ногах и размахивают здоровыми руками, и го-

луби облепили фонтан на Гинденбургской площади и попивают из него воду. Что же все-таки случилось?

— Дело, наверно, в том, что я слишком пристально смотрел на него. Наверно, нужно принимать на себя страдания людей так, чтобы они этого не замечали. Да, видимо, все дело в этом, — сокрушенно бормотал Эрни.

Ребенок похвалил себя за новое открытие, но тут же в ужасе заметил, что он перестает быть «просто совсем маленьким» и даже, наоборот, начинает так быстро увеличиваться, что мир доходит ему уже только до щиколоток, а все предметы, поскольку он взирал на них теперь с высоты собственной похвалы, сверхъестественным образом исчезают из его поля зрения. «Вот я уже и не Праведник», — испугался он.

5

Если бы можно было рассказать подробно все, что произошло в течение этого дня, люди разинули бы рты от удивления. Эрни вдруг погрузился в чудесный мир и оказался среди неведомых прежде душ; он запечатлел в своем сердце массу новых объяснений знакомым явлениям, дед открыл ему тайну волшебного ключика, который открывает доступ к невидимым простым глазом лицам; он сам приложил немало усилий, чтобы в единой скорби постичь и куриц и уток, и телят и коров, и кроликов и баранов, и пресноводных рыб и морских, и диких и домашних птиц, включая соловьев и райских птиц, которых, как он знал по слухам, каждый день убивают из чревоугодия; его «я» переходило несколько раз от незначительной малости к прославлению этой малости и к запредельным высотам гордыни. А сколько вышло неприятностей дома из-за его желания принять на себя боль других глазами или ушами, не говоря уже о его необъяснимой потребности прикоснуться к ним руками или губами! Нет, всего не рассказать. Заметим все же, что к концу этого дня, отвергнутый

всеми, Эрнот от избытка переживаний и из страха перед дедом, который исподтишка грозил ему пальцем, предпринял тактическое отступление на территорию швейной мастерской господина Леви-отца.

— Ну, чего ты пришел? — встретил его тот с нескрываемым недоверием. — Посмотреть, не уколол ли я палец?

Ребенок, словно в панике, схватил большой портновский магнит и засуетился по мастерской, заглядывая под закройный стол якобы в поисках затерявшейся булавки. Глубокая складка залегла у него между бровями, плечи поднялись, взгляд стал испуганным. Обследовав каждую половицу, он положил кучку булавок у ног господина Леви-отца, сидевшего по-турецки на гладильном станке. Затем он примостился у витрины и сделал вид, что наблюдает за тем, что происходит на улице. Взгляд стал совсем растерянным, и даже нижняя губа отвисла. Незнакомая доселе усталость сжала сердце. Стянутую бинтом руку дергало все сильнее и сильнее. Он старался не расплакаться, а мысли, как необузданные кони, били копытами в его виски. И всякий раз, когда ему казалось, что он уже сумел загнать их в какую-нибудь простую истину, они опять уносились к черной пропасти в его мозгу. Вконец огорченный тем, что не может разобраться в событиях сегодняшнего дня, наш славный герой украдкой посмотрел на господина Леви-отца, на его кроличье лицо и губы, будто посаывающие иголку. Он посмотрел на Биньямина не затем, чтобы постичь его душу или разделить его «боль». На сей раз он искал успокоения своей собственной душе, растрепанной и заблудившейся. Он бессознательно надеялся, что отец утолит его собственную печаль, избавит его от той необъяснимой боли, которая терзала его новую, «праведническую» совесть.

Считая, что сын за ним наблюдает, Биньямин отвечал на его немые призывы такими колючими взглядами, что казалось, будто они вобрали в себя

все булавки с магнита, чтобы вонзить их в полные слез глаза Эрни. Затем Биньямин укоризненно и скорбно вздыхал, и Эрни краснел до ушей.

Так прошел час, когда скрипнула дверь, и вошел заказчик из рабочих. Он смущенно попросил поставить ему на штаны заплату. После тысячи извинений Биньямин дал понять, что не сможет шить по живому. Достопочтенный клиент вполне понял намек мастера и скрылся за закройный стол, застенчиво прикрыв волосатые ноги одеялом.

Когда заказ был выполнен, оказалось, что ноги клиента не хотят влезать в башмаки. Биньямин предложил ложку, но она не помогла. Бедняга пыхтел от напряжения, стучал ногами по полу — нет, ноги не влезали.

— Уже сто рожков можно было купить за то время, что я прошу, чтоб в мастерской был рожок! Но разве на женщин можно полагаться? — воскликнул Биньямин. — Ну-ка, Эрни, нечего на меня тарашиться, сбегай-ка лучше, купи рожок. Только без твоих дурацких выходов! А то мы все тут от волнения поумираем, и ты останешься один. Иди, иди, без разговоров!

— Не беспокойтесь, господин Леви. Одна нога уже влезла. Еще немножко — я и другую втисну в эти проклятые башмаки, — объявил клиент.

— Все равно иди, — сказал Биньямин, выбрасывая обе руки вперед, словно отмахиваясь от назойливой мухи. — По крайней мере, избавлюсь от тебя хоть на время.

Эрни почувствовал внутри какую-то странную пустоту. Не сказав ни слова, он вышел на улицу и увидел, что Ригенштрассе уже погрузилась в вечерние сумерки: над крышами протянулись лиловато-сиреневые полосы, а между домами, вокруг фонарей и в проемах окон еще удерживались желтые пятна солнечного света. Вверху колыхался темный гладкий лист бумаги, шелковистый и легкий на вид — это было небо.

Проходя мимо освещенной витрины, Эрни залюбовался этикеткой на консервной банке: среди пальмовых веток прыгали обезьяны, чуть задевая загадочное слово «ананас». Поглощенный своими мыслями, он машинально открыл дверь и увидел дочку бакалейницы, девятилетнюю худенькую девочку, сидевшую в лавке вместо матери, которая нередко отлучалась на часок-другой. Тут Эрни вспомнил, что рожок покупают не в бакалейной лавке, а в скобяной. и воскликнул:

— Ох, простите!

Он увидел, что перепуганная девочка метнулась за прилавок. Ему стало неловко, он опустил голову и, выходя, так осторожно прикрыл за собой дверь, словно в лавке лежал умирающий.

Лавка помещалась как раз напротив дома Леви, и его обитатели нередко по вечерам слышали крики этой несчастной девочки. Она кричала пронзительно и непрерывно, когда ее колотил толстый лавочник, который, накачавшись пивом, приходил под эту музыку в еще большее возбуждение, и душераздирающе, но изредка взвизгивала, когда за дело бралась мадам: у мадам, видите ли, уши были очень чувствительные. Эрни вспомнил об этих криках и, прежде чем уйти, бросил на девочку сострадательный взгляд.

Над мраморной стойкой, будто отрезанная от туловища, торчала только голова, и между тонкими губами виднелся кончик языка. Заметив, что на нее смотрят, девочка скосила глаза, как пугливый головастик в Шлоссе.

«Нужно ей рассказать все, как есть, — тотчас же подумал Эрни. — И про рожок объяснить, и про консервы, и про щеколду. Она поймет».

Он спрятал раненую руку за спину, тихонько открыл дверь и вежливо вошел в лавку снова.

— Не стоит беспокоиться, я просто хотел купить рожок.

— Что купить?

Он грустно на нее посмотрел, радуясь тому, что видит ее так близко и что между ними такое полное родство душ. А ведь до сегодняшнего дня он не замечал ее. В ней не было ничего привлекательного. Уж если она постоянно носится, как муха, — то на мешок с мукой усядется, то между ящиками пролезет, то к лестнице, что с потолка спускается, прилипнет — так пусть хоть легонькой была, как муха. Но даже и легкости мушиной в ней не было, только усердие и пугливость. Он вдруг представил себе следы от побоев у нее на теле и с волнением подумал, что ей могла причинить страдания любая мелочь: внезапный окрик, пристальный взгляд, может, даже просто прикосновение воздуха.

— Сущие пустяки, — почти прошептал он, нежно улыбаясь, — я просто хотел купить рожок для ботинок.

— У нас рожков нет, — заявила она решительно.

— Я знаю, — сказал Эрни, улыбаясь еще нежнее.

— Потому-то я и...

— Вот и хорошо, что знаешь.

— ... Вот я и хотел объяснить, что рожки продаются в скобяной лавке, — продолжал осторожно Эрни.

— Может быть. Только у нас их нет, — улыбнулась она ему так робко, что и без того чувствовавший себя неловко Эрни теперь совсем потерял голову от сострадания.

— А нужен рожок клиенту, хотел штаны он... а я открыл дверь... — лепетал он. — Честное слово, правда, — перешел он на самый мелодичный тон, улыбаясь сквозь слезы.

Он хотел успокоить девочку, но вместо этого еще больше ее напугал. «Ей ничего не известно о рожках, она про них и не слышала...» А она все отступала назад, в тень полок, и ее почти уже не было видно. «Может, она принимает меня за сумасшедшего или за вора?» — пришла на ум Праведнику тягостная догадка, и он решил отступить.

Отходя, он старался вразумительно объяснить, что такое рожок и для чего он обычно служит. Увлечшись объяснениями и желая подкрепить их наглядным примером, Ангелок снял сандалию, приложил два пальца к внутренней стороне задника и точно изобразил, как нужно пользоваться рожком.

— Вот и все, — заключил он и распрямился.

Вид девочки привел его в ужас. Перепуганная его несообразным поведением, она совсем прижалась к полке с сахаром и щипала себя за щеку.

— Я уже ухожу, — сказал Эрни.

Держа в здоровой руке сандалию, а перебинтованную неся перед собой, он снова направился к прилавку, исключительно затем, чтобы объяснить несчастной свое намерение уйти как можно скорее. Но по мере приближения к этому клубочку страха Эрни чувствовал, что сверхъестественным образом увеличивается: ноги уже касаются четырех углов лавки, а голова достает до потолка. «Нет, нет, не хочу, не надо...»

В этот момент девочка прижала ладони к щекам, открыла рот, взяла дыхание и заорала что было сил.

В проеме задней двери появилось существо, при виде которого бросало в дрожь. На губах набух толстый слой помады, дуги бровей были размазаны до самых висков и совсем вдавили в скулы блестящие, как пуговицы, глаза; бесчисленные бигуди с розовыми бантиками разделили копну волос на мелкие кудельки и тяжело повисли вдоль лоснящихся от крема щек: мадам как раз занималась туалетом. Окинув сцену разъяренным взглядом, она бросилась к Эрни. Тот философски закрыл глаза.

Когда, оправившись от удара, он смог их снова открыть, он увидел перед собой лишь толстый зад лавочницы.

— Что он тебе сделал? — пронзительно орала она.

Все еще прижимаясь к полке, девочка внимательно смотрела на жалобное лицо маленького еврея, но ни-

как не могла обнаружить в нем ничего пугающего и понять, что ее привело только что в такой ужас. Наконец она перевела взгляд на разъяренное лицо матери и на сей раз заорала от вполне оправданного страха.

— Ага, все ясно, — важно заявила лавочница и, повернувшись на высоких каблуках, схватила Эрни за шиворот и, как котенка, поволокла на улицу.

— Ах ты, развратник паршивый! — торжествуяще вопила она.

Погрузившись в скорбную мечту, Эрни беспокоился лишь о том, как бы не потерять сандалию. В остальном он отныне был целиком в руках взрослых, потому что чувствовал свою невообразимую малость.

Барышня Блюменталь высунулась из окна второго этажа: на тротуаре под фонарем бушевала целая куча домашних хозяек. Одна из них, в бигуди и в цветастом пеньюаре, орала во всю глотку: «Жид, жид, жид!». Так и есть — лавочница. Она колотила по тротуару каким-то бесчувственным предметом. Вся сцена вписывалась в конус тусклого света. Между двумя содрогающимися спинами барышня Блюменталь узнала знакомый локон, который тут же скрылся, как юркнувшая в пучок водорослей рыбка. В ту же секунду она забыла о себе, о своей застенчивости, о своей слабости и очутилась на улице, разрезая клинками локтей бушующую толпу — даром, что на нее всегда смотрели как на пустое место.

Добравшись до Эрни, она одним махом вырвала его из рук лавочницы и, недолго думая, удрала. Она прижала ребенка к своей тощей груди. Все ее существо выражало такое отчаяние и вместе с тем такую решимость, что ни у кого из женщин не хватило духу помешать ей уйти.

Минутой позже появилась Муттер Юдифь. Толпа расступилась, давая ей дорогу: размеры Муттер Юди-

фи внушали уважение. Женщины с Ригенштрассе не всегда ограничивались словесными поединками, и характер самой обычной ссоры определялся габаритами противницы, ее дородностью или ее свирепостью, если она была худа. Лавочница была известная всей улице драчунья. Муттер Юдифь не имела этой славы. Но ее размеры, кошачье лицо и непреклонность устремленного на лавочницу взгляда заставляли предвкушать многое.

— Ну что, ну что! — прорычала Муттер Юдифь на своем бедном немецком и величественно скрестила на груди руки в ожидании ответа.

Наступило молчание.

— Нет, вы только посмотрите на них! Ни дать, ни взять, пришли полюбоваться друг дружкой! — слышался выкрик из толпы.

— Иисус-Мария! А у меня суп на огне! Ну что, голубушки, сегодня разберетесь или до завтра ждать прикажете?

— И ждать нечего. Силы — так на так... — разочарованно выкрикнула еще одна.

Тут лавочница задрожала с ног до головы и опустила плечи под незримой тяжестью. Противницы были на волосок друг от друга.

— Осторожно! — холодно сказала Муттер Юдифь.

Казалось, лавочницу завораживают ноздри грузной еврейки, которые как будто нарочно медленно раздувались.

— Моя бедная девочка... доченька моя... — пролепетала она растерянно и в панике попятилась к дверям своей лавки.

Через несколько секунд она появилась снова, веля дочку за руку. Вид у нее был уже совсем другой.

— Ну что, ну что? — повторила Муттер Юдифь на этот раз менее уверенно.

— Ну-ка, скажи, что он тебе сделал!

Толпа сдвинулась еще плотнее. Увидев, что от нее

ждут ответа в торжественном молчании, девочка испуганно охнула, потянула носом и замолчала.

— Будешь ты говорить, черт бы тебя подрал, или я из тебя душу выколочу? — нетерпеливо передернула плечами лавочница и занесла руку над щекой ребенка.

— Он... он... он надоедал мне, — виновато опустила голову девочка и подняла скрещенные руки.

— Рассказывай, рассказывай, как было дело!

— Не могу.

— Он приставал к тебе с разными неприличностями, да?

— Да-а-а...

— Быть того не может, он хороший мальчик, — заявила Муттер Юдифь.

Однако в исполненном жалости взгляде, направленном на худенькую, заплаканную жертву, ясно читались ее подлинные мысли. Всю спесь с нее как рукой сняло, и она молча удалилась под враждебный ропот. «Но ведь он обычно не такой плохой...», — печально думала она.

Эрни она застала на кухне в объятиях барышни Блюменталь. Допрос закончился двумя увесистыми оплеухами, в которые она вложила все свое прежнее обожание, смешанное теперь со смутным чувством отвращения к этому существу, в жилах которого текла и ее кровь. Но она себя больше в нем не узнавала.

Голова у Эрни слегка покачивалась, он был бледен; глаза его под черными кудрями, падавшими на лоб, были полузакрыты. Он дернул головой, раз вправо, раз влево и медленно вышел из кухни своим парадным шагом.

Когда дверь за ним закрылась, обе женщины прислушались. Они удивились тому, что в гостиной не раздаются его шаги, но тут дверь снова беззвучно открылась, и в проеме показался профиль Эрни. Повернувшись к барышне Блюменталь, он задумчиво вбирал ее образ в глубокие черные озера своих глаз, наполненных дрожащей влагой. Вдруг озера расплы-

лись, и вместо них оказалось просто детское личико, по щекам которого текли слезы.

— Я ухожу навсегда! — заявил он твердо.

— Иди, иди, — презрительно отозвалась Муттер Юдифь, — только к ужину не опаздывай!

Голова снова скрылась, и дверь на этот раз захлопнулась окончательно.

— У этого ребенка нет сердца! — заявила Муттер Юдифь своей невестке.

— А ведь он такой красивый, — задумчиво отозвалась барышня Блюменталь.

6

Перебежав мост через Шлоссе, Эрни споткнулся о камень и упал навзничь. Не раскрывая глаз, он почувствовал, что лежит в траве у обочины дороги. Ему казалось, что внутри и вокруг него одна и та же тьма. Он перевернулся на живот, широко раскрыл рот и дал волю последним слезам. Последним, потому что вздохнул он тоже в последний раз. Больше он никогда уже не начнет дышать снова—это ему было очевидно. Земля и небо тоже никогда уже не перестанут качаться. Поэтому тщетно его разметанные руки пытаются утихомирить эту качку: видно, он слишком быстро бежал и теперь умирает.

«Ну, как, Эрни? Ты доволен?»

— Ну, Эрни, — сказал он вслух.

Во рту зашелестело что-то влажное, и с губ начали срываться слова. Легкие, круглые и прозрачные, как мыльные пузыри, они уносились к луне, вызывая у Эрни лишь крайнее удивление.

Наконец, сосредоточившись, он осмелился членораздельно произнести: «Эй, Эрни!» — и даже обрадовался тому, что у него получилось.

Личность, к которой были адресованы эти слова, откликнулась незамедлительно и с полной готовностью: «Что угодно?»

Эрни осторожно приподнялся на локтях, потом встал на колени, потом сел и обхватил их руками. А в голове творилось что-то невероятное. Как будто там сидят два человека и, как кумушки за чаем, болтают между собой. «Эй, Эрни», — снова подумал он, но тут одним прыжком появился третий Эрни, и все смешалось.

Вдали завыл ветер, и верхушки деревьев пошли волнами. По земле закружились опавшие листья. За кустами Шлоссе колотилась о каменный мост.

Ветер стих так же быстро, как и начался, и поля погрузились в тишину. Луна застыла в ожидании. В конце дороги зажглись крохотные огоньки. Они были совсем не страшные. Наоборот, они подмигивали робко, будто свечи, выстроенные на далеком горизонте. «Здесь Штилленштадт», — неслышно шептали они.

«Испорченный мальчишка»..

Лицо Муттер Юдифи действительно похоже на кошачью морду. Она изогнула пальцы так, словно это когти, и наклонилась вперед, как будто готовилась к прыжку.

Подавив рыдание, Эрни повернулся спиной к городу и медленно пустился в путь. Когда-нибудь, через много лет, он вернется в Штилленштадт. Он узнает много слов, и все будут плакать, слушая Праведника. Муттер Юдифь снова примет его в свое сердце. На столе будет желтая скатерть, а на ней — семисвечник. А потом...

Эрни так долго шел, что, вероятно, был уже совсем близко от большого города. Неспелые колосья, которые он жевал с голоду, еще царапали горло. Больную руку он спрятал за пазуху, его лихорадило, он весь обливался потом. Жажда с каждой минутой становилась все мучительней, но маленький беглец ни за что не хотел идти деревнями: там полно собак, а хуже нет, когда они на тебя ночью лают.

И все-таки жажда доконала его. Он осторожно пробрался во двор какой-то фермы и сразу же увидел поилку для скота. Вода текла из длинной трубки. Эрни наклонился и подставил язык под струю.

— Не так. Погоди, я покажу, как надо.

Посреди двора, освещенного луной, стоял мальчишка его лет в тирольских штанах и босиком. Кепка доходила до самых ушей, и огромный козырек закрывал все лицо, но вид был вполне доброжелательный. Мальчишка молча прошел мимо оцепеневшего Эрни, махнул ему рукой — смотри, мол, внимательно — и напился из сложенных ковшиком ладоней. Восхищенный Эрни последовал его примеру.

— Я всёгда из стакана пил, — сказал он, утирая губы.

— Еще бы! — важно подтвердил мальчишка, тряхнув кепкой в знак согласия.

Он, казалось, ни капельки не удивился необычайным приключениям беглеца. Сначала разговаривали на равных, но мало-помалу многозначительное молчание под кепкой обеспокоило Эрни, и он неосознанно подчинился превосходству собеседника. Он даже признался, что боится деревенских собак.

— Погоди, — раздался крик из-под кепки, — сейчас науцу тебя!

Схватив воображаемую палку, мальчишка изобразил сцену, в финале которой он одним ударом перебил передние лапы злой собаке. Затем без всяких объяснений он юркнул в какую-то освещенную постройку и через минуту появился с полными руками: краюха ситного хлеба, морковь и даже ореховая палка. Он постоял немного, потом вынул из кармана перочинный ножик.

— А если волк на тебя нападет...

— То что я должен делать? — улыбнулся Эрни.

— С волком точно, как с леопардом.

Обмотав руку курткой, против когтей, как он объяснил, забавный мальчишка снова пустился в воин-

ственный пляс, но на этот раз роль палки играл перочинный ножик.

Волк не очень-то беспокоил Эрни, но он, не отрываясь, следил за тем, как легко скачет деревенский мальчишка босыми ногами по острым краям камней, поблескивавшим в лунном свете.

Мальчишка проводил его до выхода из деревни. У придорожного распятия он замедлил шаг.

— Теперь мнe надoвозврасчатся, — смущенно прошепелявил он. — Мои старики... Сам понимаеc...

— Ты и так мне сильно помог, — сказал Эрни.

— Я тозе скоро убегу, — вдруг меланхолично заметил парень, и козырек еще больше налез ему на нос.

— Значит, и тебя дома не любят? — воскликнул Эрни в порыве жалости.

— Ты же их знаеc: все на один лад, — ответил тот и мрачно добавил: — Они еcцo ницего не знают.

Он грустно помахал на прощанье рукой, а у Эрни руки были заняты съестными припасами, поэтому у него не получилось так торжественно, как ему хотелось бы. Оба одновременно повернули в разные стороны. Эрни прошел быстрым шагом метров сто — парень уже исчез из виду: деревня была скрыта ночной тьмой. Теперь эта деревня больше не казалась безликим скоплением людей. И само место, где она располагалась, загадочным образом растворилось в небе — только деревья плавали в свежем воздухе. Чувствовалось, что до Штилленштадта далеко-далеко. Да что такое в конце концов Штилленштадт? Всего лишь воспоминание. Крохотное, как игольное ушко. Эрни вполне может без него обойтись.

Соседнее поле с люцерной приютило Эрни в его первую бездомную ночь.

Пока он выбирал место для ночлега, у него над ухом кружил комар. Потом комар уселся на ромашку, у самых ног Эрни. Затаив дыхание, Эрни наклонился и увидел, что это не комар, а молоденькая муха, наверно, самочка, судя по тому, какая у нее тоненькая талия, какие легкие крылышки и как изящно

трет она одну лапку о другую, словно не двигаясь с места, проделывает грациозное па какого-то танца.

Неторопливо, как важный чиновник, молоденькая муха начала взбираться на лепесток.

Под сердцем что-то кольнуло. Рука протянулась сама собой. Перед глазами проплыло облако, и глупышка бросилась в сложенную ковшиком руку. Эрни быстро закрыл ладонь и с сожалением подумал: «Поймал».

Его внимание привлекло шуршание крылышек: они неистово колоутили и как иголкой покалывали палец. Судорожный трепет этой крупницы жизни глубоко тронул Эрни. Две голубые искры вспыхнули на крылышках под лунным светом. Поднеся белное сокровище к самым глазам, он с восторгом рассматривал крохотные усики, которых раньше никогда не замечал. Эти тонкие устройства тоже содрогались от внутренней бури. Эрни даже съежился от боли. Ему показалось, что усики секут воздух от страха, и захотелось узнать: чувства, которые испытывает муха и которые заставляют ее бить крылышками, имеют такое же значение, как и чувства, которые испытывает дочка лавочкицы? В этот момент частица его существа перешла в муху, и он понял, что каким бы крохотным ни было это создание, пусть даже его не видно простым глазом, смерти оно боится не меньше других. И он раскрыл ладонь. Растопырив пальцы верером, он следил за полетом мухи, которая была немножко дочкой лавочкицы, немножко им самим, немножко неизвестно кем еще... наверно, собственно мухой. «Улетела, не задумываясь» обрадовался он и тут же пожалел о своей подруге, потому что стал еще более одиноким среди люцерн.

В ночи оборвалась еще одна ниточка.

Стоя на коленях, ребенок вдыхал окружающие запахи, потом улегся и сразу же закрыл глаза, чтобы поскорее уснуть и избавиться от страха, который все плотнее обволакивал его душу.

Однако странное дело: он напрасно изо всех сил

до боли в глазах зажмуривает веки — они не отгораживают его ни от луны, ни от звезд, ни от соседнего пшеничного поля (он догадывался, что оно рядом), ни от люцерны с ее салатным запахом, ни от мухи, ни от ветра, гулявшего у него по щекам, — ни от чего решительно. Это уже не веки, а две прозрачные, пористые перегородки, которые прикрывают пустоту. Он испугался и протяжно, как зовут кого-то издали, позвал самого себя: «Эрни Леви-и-и-и...» Внутри никто не откликнулся: пустота там была такой же прозрачной и черной, как небо.

— Эрни, Эрни, — поспешно прошептал он вслух. Затем подождал немного.

Вдруг он почувствовал озарение: тело его растворилось в люцерне, в голову пришла чудесная в своей простоте мысль. Раз его отвергли люди, он будет мушиным Праведником! Люцерна начала ласкать ему руки и ноги.левой ноздри коснулась травинка. Земля стала мягче. Вскоре обе ноздри широко раздулись, задрожали от удовольствия и начали медленно вдыхать ночь. Когда вся она вошла к нему в грудь, он с облегчением повторил: «Да, я буду мушиным Праведником». Пустота внутри наполнилась травой, и он уснул.

— Эй, парень, ты что, мертвым прикидываешься?

Прямо у себя под носом Эрни увидел желтый башмак. Потом серые штаны, потом круглое, красное, как яблоко, лицо и над ним черную шляпу. В голосе не слышалось ни малейшей угрозы.

Крестьянин легко поднял Эрни с земли и поставил на ноги. Он внимательно посмотрел на мальчика, спокойно повел носом и окатил его громоподобным хохотом. Эрни отпрянул назад, и крестьянин резко оборвал смех.

— Ты похож на рыбу, которую за хвост поймали, — сказал он и, сочтя такое объяснение достаточным, принялся хохотать пуше прежнего, запрокидывая назад голову и крепко хлопая себя по ляжкам.

— На какую рыбу? — спросил Эрни.

— Чего?

— На какую рыбу?

Зеленые глаза подозрительно прошлись по Эрни.

— Давай сначала выкладывай, чего ты тут делаешь.

Метрах в десяти, на краю дороги, стояла подвода, запряженная двумя лошадьми. Крестьянин проследил за взглядом Эрни.

— Моя это подвода, — сказал он успокоительно. — В город я еду. А ты, об заклад бьюсь, оттуда. На коленях, что ли, ты приполз — вон как они у тебя изодраны! А с рукой что? Это тебя дома так бьют? Ах, ты бедняга! Ничего не скажешь, правильно сделал, что от них удрал!

— Нет, нет, сударь, совсем не то, — улыбаясь, помотал головой Эрни.

— Так, может, ты натворил что-нибудь? Деньги стянул или ценную вещь какую разбил?

— Нет, — снова улыбнулся Эрни.

— Понятно. Мир повидать захотелось. И давно ты сбежал? — спросил крестьянин озабоченно.

— Вчера вечером, — ответил ребенок, немного подумав.

Крестьянин помолчал, неловко поглаживая курчавый затылок.

— Знаешь что, друг, там ведь с ума посходили, за тебя волнуясь. Значит, не желаешь сказать, откуда ты?

Внутри у Эрни что-то екнуло: стоит перед ним взрослый, руку положил ему на затылок и всего его прикрыл огромной тенью...

— А ты, видать, неплохой малый, — добродушно прогремел крестьянин.

— Из Штиллен...штадта, — пролепетал беглец.

В следующую секунду он понял всю глубину своей ошибки и разразился слезами.

...Телега ехала быстро. С фантастической высоты этого сооружения Эрни наблюдал, как меняется пейзаж. Когда глаза уставали, он переводил взгляд на торжественно покачивающиеся лошадиные крупы, на гривы, струящиеся белыми волнами с мощных хребтов, которые беспрестанно подрагивали.

— Овощи эти — тяжесть не великая, — сказал господин крестьянин, — только запряг я лошадей вместе потому, что уж очень ладно идут они в паре. Не любят быть разлученными. Может, яблочка отдаешь, а? Ну, как мои яблоки? Мед, верно? Ай да товар, братцы, везу я нынче на рынок!

Время от времени крестьянин выписывал кнутом замысловатые узоры над серым и вороним крупами. Если не получалось хорошее шелканье, он цокал языком, что было гораздо менее эффектно.

Но больше всего внимание Эрни занимал пейзаж. Как он ни старался, как ни вертелся по сторонам, ему никак не удавалось увидеть хоть что-нибудь из того, что ему удалось подглядеть вчера ночью. Собственно, уже и там, в люцерне, когда он проснулся, тоже не было ничего похожего на вчерашние ощущения. Небо, деревья, дорога — все до последней травинки, казалось, было уменьшено или обеднено дневным светом. И деревни, через которые они сейчас проезжали, больше не напоминали темные громады под луной. У домов были розовые крыши, и даже черепицы можно было пересчитать.

— Ты, значит, сын Леви с Ригенштрассе? — повторил крестьянин.

Эрни кивнул головой.

— Да мне не жалко, — продолжал крестьянин скучающим тоном. — Люди, как говорится, везде люди: хорошие и плохие есть среди всяких. А все же... забавно, скажем прямо... Надо же, люди добрые...

Он бросил быстрый взгляд на своего пассажира и, смущенно отвернувшись, сказал, как бы не от своего имени:

— Следовало бы сразу догадаться: таких курчавых голов немного водится в наших краях.

Эрни так и подмывало задать ему вопрос. Нахмурив брови, он, наконец, отважился и проговорил почтительным тоном, в котором слышался оттенок дружелюбного сожаления:

— Вы против нас?

Щеки крестьянина из кирпично-красных стали синими. Он заржал и так мощно затрясся от веселья, что Эрни испугался, как бы он не свалился с телеги.

— Го-го-го-го! — гоготал он. — Ай да козявка! Ну что за козявка!

Больше всего Эрни задевала за живое эта «козявка», но он решил не показывать виду и, забравшись поглубже, оперся на ящик с картофелем. Он даже изобразил беззаботное насвистывание, но не прошло и секунды, как крестьянин выпустил левую вожжу, и его рука, как слепая мохнатая птица, осторожно опустилась на голову Эрни.

— Не бойся, козявка, — насмешливо сказал крестьянин, — Леви или не Леви — минут через пять прибудем на место. Неужто ты думаешь, я ссажу тебя? Во мне и хитрости нет такой, чтоб прикидываться. Настоящий хитрец — ему никак добряком не прикинуться.

И все же не было сомнения в том, что он разочарован: ни слова не проронил до самой Ригенштрассе. Лошади замедлили шаг перед мастерской Леви, и Эрни с удивлением обнаружил, что за время его отсутствия витрину заколотили нетесаными досками. Однако раздумывать было некогда: не сдвигаясь с места, крестьянин одной рукой поднял его и аккуратно поставил на край тротуара. Затем он весело бросил ему: «Прощай, козявка», — взмахнул кнутом и с места пустил лошадей крупной рысью, словно боялся задерживаться в тех краях, где обитают Леви.

Накануне за ужином, показав на пустующее место, Муттер Юдифь осудила Эрни за неявку. Когда через два часа ребенка нигде не нашли, она осудила все остальное человечество, поспешно набросила платок и понеслась по улицам Штилленштадта, переполошив всех евреев и иноверцев. Убедившись, что Ангелочка в городе нет, она отправилась по соседним деревням. Через три дня ее нашли больную, без башмаков, в разорванном платье на дальней ферме.

А Мордехай всю ночь просидел на стуле. На рассвете в витрину мастерской влетел увесистый булыжник: лавочница направила расистские устремления своего мужа по нужному руслу. Мордехай прибил на скорую руку несколько досок, чтобы воры не забрались, потом, тяжело вздохнув, зажег керосиновую лампу и стал дожидаться утра. «Хоть бы дело не кончилось новым гетто», — втайне думал он, следя за тем, не шелохнулся, когда старик, дрожа с ног до головы, впоследствии витрина так и осталась заколоченной досками. Причин к тому было множество, — в частности, деньги, — и каждая из них была достаточна, чтобы не снимать это деревянное ограждение — рубеж для немцев и символ тюрьмы для семейства Леви.

Мордехай выбежал на шум телеги. Лошади уже неслись галопом вдаль, но на тротуаре задумчиво стоял блудный сын. Руки набиты морковкой, повязка распустилась до самых ног, в волосах запутались травинки, весь перепачкан землей и кровью... Эрни не шелохнулся, когда старик, дрожа с ног до головы, бросился к нему и стал оглядывать его с таким беспокойством, словно боялся, что ребенок снова исчезнет.

— Не надо ничего говорить, и бояться ничего не надо, — бормотал Мордехай, — ты слышишь меня? С тобой ничего не случилось? Слава Богу! Слава Богу! — горячо твердил он, прижимая мальчонку к своим штанам.

Эрни казался совершенно спокойным.

— А почему витрина заколочена досками? — не скрывая любопытства, спросил он, когда дед отпустил его.

Возле площади Гинденбург показался молочник на своем трехколесном велосипеде. Кроме него, на Ригенштрассе еще никого не было, лишь утренний туман окутывал улицу. Мордехай, присев на корточки, прикоснулся щекой ко лбу ребенка: нет ли жара. Увидев во взгляде внука олимпийское спокойствие, он рассказал ему все, что произошло со вчерашнего дня, соблюдая все же некоторую осторожность.

— Вот видишь, — нежно сказал он, — если бы ты на самом деле был Праведник, ничего подобного не случилось бы...

— Я все понимаю, — сказал Эрни.

— Значит, ты должен стать таким, как раньше, — вкрадчиво сказал дед. — И все делать, как раньше.

Большие темные глаза стали задумчивыми и наполнились слезами.

— Почему ты плачешь?

— Потому что теперь я знаю, что всегда буду причинять неприятности... хоть я и не Праведник!

— Шма Израэль!

Прижав мальчонку к себе, Мордехай выпрямился во весь рост и подумал: «Боже, непостижимы высоты небесные и глубины земные... Так и детское сердце... непроницаемо».

ГОСПОДИН КРЕМЕР И ДЕВОЧКА ИЛЬЗА

1

Тридцать два года службы на ниве просвещения наложили свой отпечаток на господина Кремера: вся его особа излучала безмятежное созерцательное спокойствие. Его длинная, вытянутая, как флейта, фигура, по которой при малейшем движении проходила волнообразная зыбь, подчиненная ему одному слышной мелодии, была фигурой учителя: прямоугольное лицо, поднимавшееся из крахмального воротничка, как странный цветок из горшка, могло принадлежать только учителю, и никому больше.

Даже улыбка была учительская, градуированная по педагогической шкале: полуулыбки, четверть, одна восьмая и так далее. Когда в классе было все спокойно, он имел обыкновение пользоваться осторожной полуулыбкой, расположенной где-то между благодушием и суровым сознанием долга.

С самых первых лет службы его взяли на заметку за прискорбное сочетание природной мягкости с давно забракованными педагогическими теориями. На педагогическом совете достопочтенный директор так ему и сказал:

— Да не наклоняйтесь вы так над учениками — в этом положении человек сам напрашивается, чтобы ему дали пинка под зад.

Покраснев как рак, молодой педагог задумался (правда, всего лишь на полсекунды) и с большим достоинством ответил:

— Должен признаться, что совет господина директора, несмотря на невежливую форму, заслуживает с моей стороны особого внимания.

И все же, хотя отныне господин Кремер выкладывал на видное место свою трость, он продолжал тайне верить в чистоту детской души, как в некий противовес несовершенству взрослых. Конечно же, говорил он своему другу господину Гартунгу, ребенок происходит от человека, спору нет... как, впрочем, и человек происходит от обезьяны!

Он считал, что если дать человечеству образование и познакомить его с поэзией, то можно навсегда преградить дорогу варварству. В этой связи немецкие поэты-романтики, особенно Шиллер, у которого каждая строфа дышит гражданственностью, представлялись ему наилучшей духовной пищей. О, тот день, когда каждый житель земного шара узнает поэзию Шиллера, будет замечательным днем! Люди перестанут заниматься политикой, гоняться за деньгами, интересоваться женщинами легкого поведения... В этот благословенный день восторжествует Детство: взрослые навсегда останутся детьми, а дети изначально будут настоящими мужами... и так далее, и так далее.

За этими рассуждениями он так далеко ушел от современности, что не совсем точно представлял себе, какой сейчас в Германии строй: республика или все еще империя Гогенцоллернов. Да и какая разница! Сколько ни пережила Германия режимов — ни один из них не оказал существенного влияния на изучение Шиллера. Все эти социальные системы отличаются только названиями: республика, империя и так до бесконечности. Ему и в голову не приходило вмешиваться в такие пустяки. Зачем? В один прекрасный день все эти слова смолкнут перед великой Поэзией. Разумеется, как и у каждого человека, у него тоже была любовная история. О ней было так же стыдно вспоминать, как и о ранении, которое он получил на фронте, — как раз под животом.

— Дорогая моя Хильдегард, — говорил он, краснея, — уверяю тебя, эта... это... словом, это не делает

меня непригодным к супружеской жизни. Вот доказательство.

Впоследствии, когда годы наложили печать цинизма и на господина Кремера, он иногда думал, что зря не предъявил невесте более убедительное доказательство, чем жалкая медицинская справка. Их отношения охладились. Господину Кремеру в конце-концов надоело, что невеста смотрит на его частичное увечье («Частичное, моя-дорогая, частичное») как на плоды порочного деяния, в котором он тайно принимал участие. Награжденный Железным Крестом, он мог бы после войны получить пост директора. Но мысль о том тяжком, тайном кресте, который он и так был вынужден носить, к сожалению, умерила его патриотический пыл. Его заподозрили в пораженческих настроениях. И тот факт, что он столь мало старался проявить себя настоящим немцем, окончательно убедил невесту в непригодности его благородных органов. Будучи женщиной сердечной, она вышла замуж за героя, потерявшего ногу, но отнюдь не патриотизм!

В силу такого стечения обстоятельств военные воспоминания господина Кремера настолько перепутались с воспоминаниями любовными, что вскоре опустевшее по вине людей место на теле и боль сердечной пустоты слились для него в единый сплав горечи, и порой ему казалось, будто и сердце и левое яичко сразил один и тот же удар, хотя подобные мысли не вязались с его возвышенными понятиями о любви.

«Фашизм, — думал он вначале, — это дешевый балаган на улицах и в правительстве. Скоро всех загонят назад в их пивные или посадят в тюрьму. Скоро старая добрая Германия накажет своих расшавшихся детей».

К первым проявлениям фашизма он отнесся философски, сдержанно и осмотрительно, как и полага-

ется старому, испытанному гуманисту. Декрет о телесных наказаниях вызвал у него улыбку. Но когда он узнал, что его коллеги для вящей убедительности применяют этот декрет на спинах еврейских учеников, тонкий побег сорняка пророс в его чистом от всякого зла мозгу. Остальное сделал пожар в синагоге.

Синагога загорелась поздно вечером. К утру остался лишь почерневший остов. Два дня дымилась мертвая синагога над Штилленштадтом. Окно его квартиры на шестом этаже выходило во двор, и господин Кремер смотрел на высокую балку, торчащую посреди пепелища как обвиняющая рука, указывающая на христианский фасад старого дома.

Счастье еще, что со времени нашествия коричневорубашечников евреи не часто ходили в свой храм, так что, когда загорелась синагога, в ней находился всего один верующий. Больше жертв не было. Однако еще целую неделю соседи жаловались, что от развалин дух идет. Пахнет, полагали они, старым евреем, которого дым уносит в мирное небо Штилленштадта.

Этот погребальный дух очень неприятно щекотал ноздри господину Кремеру. Своему коллеге и другу господину Гартунгу, который всегда заговаривал с ним о евреях, господин Кремер сказал, что его, Гартунга, речи полны огня. Тот сделал вид, что не понял намек, но очарование дружбы было разрушено: в этот день после занятий они пошли врозь, на расстоянии пятнадцати метров друг от друга по той самой улице, по которой утром и вечером, начиная с первого октября 1919 года, ходили только вместе.

Однако механизм, который должен будет привести нашего деликатного гуманиста в концлагерь, еще не был как следует запущен. Когда колесо смерти сделало свой первый оборот, он был таким медленным, что господин Кремер его просто не почувствовал.

Школа насчитывала около пятнадцати «еврейских гостей» (как теперь любили называть учеников еврейского происхождения) и примерно столько же членов организации Юных гитлеровцев. Но когда последние напали во дворе под каштаном на евреев, многие «аполитичные» ученики (детская душа — загадка) приняли сторону Юных гитлеровцев в этой военной игре. Соединение евреев было смято, и на глазах у всех учителей победители, издеваясь над пленными, поволокли их через весь двор, а учителя старательно отводили рассеянный взгляд в сторону.

Эти римские забавы наводили господина Кремера на разные мысли, но, боясь навлечь на свою голову императорский гнев, он ограничивался лишь тем, что прохаживался у дальней стены, а не у той, что ближе к каштану, где собирались евреи. Иногда все же он не выдерживал их криков и уходил в учительскую уборную, где в сумрачной тиши громко сморкался. Всякий раз, когда он чувствовал, что к горлу подступает ком, он трубил в носовой платок, а потом выходил из уборной с распухшим красным носом. Эта уловка не осталась незамеченной.

Однажды на перемене прямо под ноги господину Кремеру покатился Эрни Леви, которого преследовали два Юных гитлеровца. Ганс Шлиманн стал побежденному коленом на спину, и тот, разметав окровавленные руки по земле, закрыл глаза. Ганс схватил Эрни за волосы и повернул лицом к небу, словно хотел заставить его молиться.

— Ну как, отпала охота играть? — крикнул Ганс, сверкая белыми зубами.

Он, казалось, не придавал ни малейшего значения тому, что господин Кремер стоит совсем рядом. Тот растерянно погладил лысину, покачнулся на своих длинных ногах, со вздохом процедил сквозь желтые зубы: «Послушай, дитя мое...», но вдруг схватил Юного гитлеровца за шиворот и отшвырнул в сторону.

Двор замер при виде такого святотатства.

А госпо дин Кремер зашагал снова — сто шагов вперед, сто обратно. Измученный, усталый, он ступал неуверенно, как старая перегруженная кляча, которая щупает копытом землю, прежде чем поднять ногу. Проходя под стеной осажденной крепости, он услышал сзади легкие шаги: за ним по пятам шел еврейский мальчик, откровенно и восхищенно пользуясь его покровительством. Что делать? Господин Кремер махнул на все рукой, и к концу перемены, чинно взявшись за руки, за ним шли уже трое: два мальчика и девочка. На следующий день компрометирующий кортеж разросся до пятнадцати человек, а еще через день сам Маркус Розенберг, Великий Маркус, последний защитник еврейского знамени, спрятав железную линейку под мышку, встал под стяг господина Кремера. Это был конец.

В тот же день, войдя в класс, господин Кремер увидел надпись, выведенную детским почерком через всю доску: «Друг евреев, вон отсюда!»

Господин Кремер подошел к доске, схватил тряпку, но, видно, передумал и небрежно бросил ее назад в ящичек. С минуту еще он постоял спиной к ученикам, а когда обернулся, встретил сорок устремленных на него взглядов, лицо его было холодно и неподвижно, фигура как-то вдруг вытянулась, одеревенела, и нижняя челюсть выступила вперед, как у немощной старой лошади. Так стоит она, запряженная в карету, и, прикрытая красивой попоной, кажется еще могучим животным. Прикрытый тридцатидвухлетней респектабельностью, подтянутый и торжественный, подошел господин Кремер к кафедре и, поскольку в классе поднялся шумок, взял двумя пальцами линейку и с видом полной отрешенности начал помахивать ею у своего уха. Немедленно воцарилась гробовая тишина.

— Ну-с, — произнес господин Кремер, жалко улыбаясь, — сейчас я вам дам...

Он протер очки, как бы снимая с них соринку.

Большие нежно-голубые глаза за железной оправой не переставали моргать.

— ...я вам дам диктовочку, — наконец договорил он. — Берите ручки и бумагу. Фрейлин Лешкер, к вам это тоже относится. Слушайте внимательно, я начинаю. Как приятны, запятая, как нежны песни малиновки, запятая...

Склонившись над листочками, ученики с головой ушли в диктовку. Вот в первом ряду лицо его любимицы Ильзы Брукнер. Каждый раз, когда господин Кремер начинает новую фразу, она поднимает на него свои зеленые глаза. Что касается Эрни Леви, то господину Кремеру видны лишь курчавая прядь и задумчивый кончик носа над партой в глубине класса. «Буйные детские головки... Думают о чем-то, шевелят мозгами... Но опасность нависла только над четырьмя из них: только над евреями...»

Когда господин Кремер сравнил судьбу этих четырех учеников с судьбой остальных, он испытал странное чувство: ему вдруг показалось, что невиданное чудовище вроде спрута уселось в классе и пожирает эти четыре головки...

В этот день своего окончательного поражения господин Кремер поддался душевной слабости и задержал после уроков двух лучших учеников класса: Эрни Леви, первого ученика по немецкому языку, и Ильзу Брукнер, первую ученицу по пению. Под предлогом каких-то школьных дел он пригласил их на чашку чая.

— Завтра, в четверг, ровно в три часа, — сказал он, нарочитой точностью придавая приглашению официальный характер. — Не забудьте же, ровно в три, — улыбнулся он так, чтобы выразить с одной стороны дружелюбие (пусть визит доставит им удовольствие) и с другой стороны — сохранить дистанцию между учителем и учениками (пусть визит будет для них долгом).

Когда оба ученика отошли от него, господину Кремеру вдруг стало грустно: он понял, что на них и замыкается круг его личных привязанностей. Но вспомнив о завтрашнем дне, он радостно засмеялся: он знал своих учеников лишь издали, всегда приходилось соблюдать положенную дистанцию, но он не хотел умереть, так ни разу и не поговорив со своими учениками, не улыбнувшись им, как своим собственным детям. У этих двоих, подумал он, одинаково стройные ноги, одинаково тонкие шейки, одинаково грациозные миниатюрные фигурки. Господин Кремер взглянул в окно и увидел, что синь небес сулит ему радость. А вот и каштан льнет верхушкой к подоконнику. Господин Кремер подошел и сорвал один лист. Сверкая свежестью зеленых прожилок, на ладонь лег кусочек жизни. Господин Кремер перегнулся через подоконник и вслушался в исповедь каштана, стараясь понять, о чем шелестит зеленая крона, бьющаяся по ветру, как буйная шевелюра. Да, господин Кремер потерял все, но небо, земля, деревья, дети — они-то пребывают вечно, вне всякой связи с ним. «И когда я умру, — растроганно подумал он. — жизнь не прекратится». Ему показалось, что только сейчас он открыл мир, и необыкновенное счастье наполнило его существо. Он не знал, почему. Просто так.

2

Дом, где жил господин Кремер, нисколько не подходил для возвышенной природы: он ничем не отличался от других домов вокруг старинной синагоги, о которых Муттер Юдифь скептически говорила: «Сразу видно, что за люди там живут!» Зато квартира находилась на шестом этаже, что давало полный простор воображению. На Ригенштрассе никто не жил так высоко (за отсутствием многоэтажных домов), а Эрни считал, что чем выше человек живет, тем возвышенней у него душа. К тому же после пя-

того этажа начиналась винтовая лестница, такая же темная, пыльная и таинственная, как та, что ведет на чердак семейства Леви. Тут Эрни совсем обрадовался: господин Кремер устроил себе жилище на чердаке! Что может быть поэтичнее! Что может быть более достойно такого человека!

Эрни уже собрался позвонить, когда вспомнил об Ильзе Брукнер. За целый год он не сказал ей ни слова. На Ригенштрассе еще не утихли слухи о нем: некоторые утверждали, что «жиденыш» расстегнул ширинку перед дочкой лавочницы, в чем и усматривали неопровержимое доказательство сексуальной и финансовой исключительности евреев: кое-кто из нацистов требовал, чтобы девочке учинили допрос. Однако про ширинку Эрни Леви от нее ничего не удалось узнать...

— А вот и ты, — услышался приглушенный голос.

В темном проеме дверей, сгорбившись, стоял господин Кремер, во фраке, праздничный и оживленный.

Рука учителя сделала волнообразное движение — легонько потрепала Эрни по щеке, потом указала на картонку из-под шляп, которую мальчик крепко прижимал к груди.

— Это еще что такое? Надеюсь, там не бомба? — не без опаски спросил старый учитель.

Эрни растерялся, но тут же понял шутку и улыбнулся:

— Моя бабушка бомб. не готовит.

Прихожая разочаровала Эрни, зато гостиная привела в восторг: четыре оконных стекла пропускали голубоватый свет, и он мягко ложился на зеленые кресла с кружевными салфеточками и на золотые рамочки, разметавшиеся по обоям, как огромные опавшие листья.

— Я на секундочку вас оставляю, — сказал господин Кремер, и тут только Эрни заметил, что в кресле притаилась Ильза.

Ее аккуратно причесанная золотистая головка в зеленом плюшевом кресле напоминала бабочку, при-

севшую на лужайку. Девочка быстро встала и, сделав три шага вперед, протянула ему руку, такую белую, что казалось, из буфика на рукаве сию минуту вырос пестик фантастического цветка.

— Рада познакомиться с вами, господин первый ученик по немецкому языку.

Покраснев, Эрни церемонно дотронулся до ее руки и торжественно произнес:

— И мне очень приятно, фрейлин первая ученица по пению.

Он не знал, отчего ему стало не по себе. То ли непривычно было слышать такие слова в своей адрес, то ли они странно звучали в устах девочки, то ли немного мешали ему получать скромное удовольствие, которое он испытывал, глядя в голубые озера Ильзиных глаз. — словом, что-то его смущало. Тем более было приятно, что он не спасовал.

Ильза Брукнер рассмеялась.

— Очко в вашу пользу, — улыбнулся Эрни.

— Верно? — оживилась Ильза.

Так как Эрни не отводил глаз и продолжал улыбаться, она слегка покраснела, сделала пируэт и, бросившись в кресло, положила руки на подлокотники.

— Шикарно здесь, да? — сказала она убежденно.

В это время в комнату вернулся господин Кремер. Он поставил на столик поднос с фарфоровыми чашечками, сахарницей, чайником и прочей посудой. Странно было видеть такие вещи в его руках. Раскрыв коробку из-под шляп, господин Кремер, казалось, очень удивился, найдя там торт. (Муттер Юдифь «доводила его до кондиции» уже поздно вечером). Господин Кремер нахмурился. (Наверно, не любит, чтоб ему приносили торты).

— Ну, зачем... Право же... — начал он и вдруг повернул к приунывшему Эрни свой странно заблестевший взгляд. — А выглядит это роскошно! Но действительно не стоило...

Он нарезал торт и налил чай.

— Ой, как вкусно! Блеск! — прочирикала Ильза с

полным ртом. Она сложила губки сердечком и, оставив мизинец, держала чашку тремя пальчиками.

— Как это у вас называется? — спросил господин Кремер.

— Леках! — обрадовался Эрни.

Господин Кремер несколько раз подряд повторил это название и сказал, что затрудняться, конечно, не стоило, но торт необыкновенно вкусный.

Он вдруг поспешно поставил чашку на столик, достал из кармана клетчатый платок и, прикрыв им все лицо, так оглушительно высморкался, что ребята вздрогнули. Нос испускал душераздирающие жалобы, а светлые потухшие глаза опять странно блестя.

— Ничего, ничего... — пролепетал он и, не отнимая платок от носа, выскользнул из комнаты.

— Чудак он какой-то, — сказала Ильза и, приподнявшись на локтях, поглубже забралась в кресло.

— Чудак, — уступил ей Эрни.

— Но ужасно добрый!

— Добрый, — согласился Эрни сдержанно: прошлогоднее злключение не выходило у него из головы.

— Послушай, ты на меня не сердисься? — неожиданно спросила Ильза.

— За что? — вздрогнул перепуганный Эрни.

— За Христа. Помнишь, три года назад, когда мы играли в Христа...

— Нет, нет! — горячо запротестовал Эрни.

— А за кузена Ганса тоже на меня не сердисься?

— Ну что ж, кузен — это кузен.

— Ну, ты, видать, не из разговорчивых, — тихонько засмеялась Ильза и свернулась клубочком на скрипнувшем под ней креслом.

При звуке этого смеха Эрни почувствовал в груди легкий треск, будто там разорвался шелк. Девочка как бы предлагала ему разделить с ней золотистую радость и в то же время не давала такой возможности. «О, нет, Ильза Брукнер не котенок и не солнеч-

ный луч, с которым можно играть без спросу. Но и не из тех она девочек, что решительно не подпускают к себе. В лице и в руках у нее, правда, есть что-то от котенка или от птички; но голос и взгляд... Нет, она натура сложная, — мечтательно думал Эрни, — от нее всего можно ожидать, потому что она и котенок, и птичка, и сложная натура, и, может, еще сложнее, чем кажется...»

— Что тебе видно? — спросила она.

— Что Вы спрятались, — ответил Эрни и рассмеялся.

Он сам удивился своему смеху: будто свежий ручеек прыгает во рту по камушкам зубов. Он и не подозревал, что в груди у него есть родник и что этот родник питается странной радостью, которую пробуждает в нем Ильза.

— Ты смеешься, как ненормальный, — сказала Ильза и вдруг сама начала издавать тоненькие звуки, похожие на смех, но какой-то особенный: он будто медленно и аккуратно катился по узенькому руслу ее горла, не выходя из берегов. Эрни вдруг почувствовал себя руслом этого ручейка. Он закрыл глаза (будь что будет!) и очень вежливо прошептал:

— Вы хорошо поете.

Когда Эрни поднял глаза, Ильза сидела, склонив голову на кружевную салфеточку, и ее взгляд был устремлен к Эрни. Но в тени загнутых лепестками ресниц на нежных, золотистых пестиках глаз он четко разглядел ироническую пыльцу.

— Ну, что скажешь? — спросила Ильза бархатным голосом.

— Не знаю, — ответил Эрни.

Звук его голоса привел Ильзу в смятение. «У этого еврейского мальчика не глаза, а вишни над белыми щеками, — подумала Ильза. — Если легонько вонзить зубы, закапает красный сок — сладкая кровь вишен».

— Знаешь, я хочу стать певицей, — доверительно сказала она.

На следующий день, по заведенному обычаю, которого до сих пор господин Кремер не придерживался, он торжественно пересадил Эрни Леви в первый ряд, как раз возле Ильзы. Несчастный лауреат сел и больше не шелохнулся, и слух Ильзы едва улавливал звук прерывистого, сдержанного дыхания мальчика. Кокетка наклонилась и увидела, что пот мелким бисером выступил на лбу у дурака. Ильза пришла в восторг. «Господи Иисусе, — подумала она, — как он робеет! Вот таким он мне нравится! Именно таким!»

А на перемене ей не удалось увильнуть от допроса.

— Ну, что, с евреем спуталась? — сказал Ганс Шлиманн.

Прислонившись к двери, ведущей в уборные, он стоял, небрежно заведя одну ногу за другую. Тонкие белокурые волосы, разделенные пробором, спускались на лоб, и, гневно встряхивая головой, он отбрасывал их назад. Он был красив.

— О чем ты? — презрительно улынулась Ильза. — Уж не о том ли, что старикан Кремер посадил нас рядом? Ты, может, ревнуешь?

Она рассеянно стряхнула соринку, застрявшую у Ганса в волосах. Тот вздрогнул.

— А что, по-твоему, я должна сделать с этим дураком-жиденьшем? Он что, не такой же человек, как ты? Глупый Гансик!

Она состроила его любимую гримаску: чуть выставляла вперед влажную нижнюю губу.

— Учти, — сказал Ганс, — ты имеешь дело с *гитлерюгенд*, я вам обоим набью морду!

— Попробуй. — Ильза спокойно подставила ему щеку. — Ну?

— Ничего я тебе не сделаю, ты же знаешь, — жалобно сказал Ганс.

— А ты запомни, я не Софи какая-нибудь, я Ильза. Что хочу, то и делаю. А насчет этого набитого ду-

рака... тоже учти... если ты хоть пальцем до него дотронешься, то... то больше никогда не дотронешься до меня. Ну, а теперь давай побыстрее: скоро звонок.

Она наклонилась со скучающим видом, и Ганс Шлиманн нащупал под ее передником маленькие выпуклости. Закрыв глаза, он вдруг изо всех сил ущипнул нежные соски.

— Сегодня все даром, — сказала Ильза, отталкивая его, — но помни...

После уроков, не обращая внимания на бессильный взгляд Ганса Шлиманна, она фамильярно взяла Эрни под руку. Молча дошли они до угла, молча попросились за руку и в смущении разошлись. «И что ты нашла в этом дураке?» — раздраженно спрашивала себя Ильза. «Господи Иисусе, он такой покорный! Как младенец! — тотчас же растроганно отвечала другая Ильза. — Он даже ни одного вопроса тебе не задал. Любопытства в нем ни на грош. Ну, ни на грош! — в упоении повторяла она. — О чем же все-таки он все время думает?»

Прогулки по берегу Шлоссе нравились ей с каждым днем все больше и больше, но огорчали мальчишки из их класса: с легкой руки Ганса они открыто называли ее «сожигательницей» еврея, и порой на нее нападали короткие, но мучительные приступы стыда.

О визитах по четвергам, ставших традиционными, и говорить нечего. Всю неделю только и ждешь этого удовольствия. Сначала чаепитие, потом небольшой вокальный концерт, которым она услаждала слух присутствующих, начищенный паркет, безделушки, кресла, покрытые кружевами, — все, вместе взятое, немножко приобщало девочку к другому миру, который на сто голов выше ее домашнего окружения. Господин Кремер всегда надевал парадный мундир, а иногда даже цилиндр. Эрни тоже был ужасно за-

бавным: по такому случаю на нем были длиннющие темно-синие штаны, и как он их ни подтягивал, они все равно «подметали пол», поэтому он ходил осторожно-осторожно — просто умереть со смеху. Иногда господин Кремер выходил из комнаты сморкаться, иногда проделывал эту процедуру на месте. Когда время близилось к четверем (Ильза заранее предвкушала этот момент), старый господин напугал на себя равнодушный вид.

— Вот что, — говорил он, — если сегодня вам неохота, партию можно вполне отложить и до следующего четверга. Мне совершенно безразлично.

— Может, В а м не хочется? — поддевала его Ильза.

— Ну, что ты, детка! — пронзительно восклицал господин Кремер. — Я ведь только партнер:

— Давай? — спокойно говорила Ильза.

— Давай, — великодушно отвечал Эрни, и они начинали играть в домино.

Однажды Эрни понес в кухню серебряный поднос, Ильзе показалось, что он слишком долго там задержался, ей захотелось напугать его. Она вышла в коридор и, тихонько приподняв край портьеры, увидела, что Эрни склонился над столом и разглядывает что-то черненькое, плавающее в пролитом молоке. Потом он взял то, что там плавало, в руки, и Ильза увидела муху. Держа ее на вытянутой ладони, Эрни подошел к горячей плите. Ильза почему-то решила, что он выполняет какой-то гадкий еврейский ритуал, и она вдруг почувствовала отвращение к Эрни, к его тонким белым рукам, к изгибу его шеи, к легким округлым движениям над открытой плитой. Но тут она в смущении увидела, что муха оживилась, спокойно прошлась по его ладони и, наконец, стряхнув с себя последние капли влаги, быстро взлетела под потолок.

Эрни поднял голову, следя за ней, и Ильза увидела его лицо. Если бы она не боялась, что у нее выскочат прыщи, она с удовольствием расцеловала бы его: у

него было такое же блаженное выражение лица, как всегда бывает, когда он слушает ее пение...

Этим же вечером, едва взглянув на свою маму, Ильза догадалась, что очаровательный братец раскрыл секрет. Рассчитывая на будущее замужество дочери, госпожа Брукнер взяла себе за правило не портить ее красоту, но тут она приложилась к Ильзе кочергой.

— С сегодняшнего дня никаких четвергов, никаких учителей, никаких евреев! — объяснила она. — Пусть только попробует прийти сюда за тобой — он у меня получит! Покажи-ка лицо, прыщей еще нет?

— Мы не целуемся, — всхлипнула Ильза, лежа на животе.

— Врешь, — заорала госпожа Брукнер, — от тебя так и разит жидовским дерьмом! Господи Иисусе! И надо же было, чтоб ты туда таскалась! И с кем! Именно с этим! Я все знаю, Ганс мне все рассказал. Это он приставал к девочке с Ригенштрассе. Во всех газетах было. Ты что ж, не знала об этом, маленькая шлюха?

— Знала, знала, знала! — взвыла Ильза, — Мне он никогда ничего не сделает... он меня любит, — едва выдохнула она.

Господин Кремер выслушал ее с глубокой грустью и сказал, что все это пустяки. Потому что, добавил он несколько иронично, друзей ничто на свете разлучить не может.

— А наша компания будет встречаться в школе, правда? — прошептал он ласково.

Но на следующий день господин Юлиус Кремер явился в школу небритым, а еще через день — пьяным.

Травлю возглавил Ганс Шлиманн. Надписи на доске теперь участились и украсились непристойными рисунками. Стало также известно, что с господином Кремером перестали разговаривать и учителя, и за-

ведущий учебной частью. Наверно, потому у него такой потерянный вид. Господин Кремер как бы отсутствует. На следующий день после того, как однажды он высказался о правительстве, Ганс Шлиманн подложил на его учительский стул липкую пастилку для освежения рта.

Но ни розыгрыши, ни злословие, ни другие пакости не могли заставить господина Кремера отказаться от защиты евреев. Наоборот, теперь он сам выстраивал их по росту и водил вдоль стены, вызывающе окидывая гневным взглядом остальную двор. Когда Ганс Шлиманн рассказал Ильзе, что господина Кремера собираются уволить, она снова предоставила свою грудь в распоряжение двоюродного брата. Уговорить Ильзу порвать с ее евреем ему не удалось, но он все же пообещал, что постарается умерить пыл своих людей, если Ильза и дальше будет разрешать лазить ей под платье.

— Но скоро я не смогу ничего сделать. А ты даже если и одумаешься, будет поздно, — добавил он.

В одно прекрасное утро ученики увидели на месте господина Кремера заведующего учебной частью. Поскольку господин Кремер больше не достоин звания учителя, объяснил он, ему пришлось на заре покинуть город. Долго задерживаться на господине Кремере он не стал и объявил, что завтра прибудет замена прямо из Берлина.

— Все снова станет на свои места, — сказал он, двусмысленно улыбаясь.

Ильза покровительственно взяла Эрни под руку. Ноги сами привели их на берег Шлоссе. Там Ильза вдруг опустилась на траву и расплакалась. Потом, чтобы успокоить Эрни, стала улыбаться сквозь слезы. Эрни тоже уселся. Ильза нерешительно сорвала ромашку и, все еще улыбаясь, оборвала два лепестка.

— Глаз я вырву, глаз я вырву, — начала она почти машинально.

Лепестки с минуту покружили в воздухе и упали к ней на передник.

— Оба глаза, оба глаза, — продолжала она медленно.

Глаза сузились в улыбке до тоненькой зеленой щелочки.

— Лапку-лапку, обе лапки, — заговорила она быстрее, с ожесточением обрывая лепестки.

— Руку-руку...

— Снова глазки...

— Снова глазки, — продолжала она лихорадочно, но на этот раз пальцы сжали пустоту: вокруг желтого сердечка не осталось больше ни одного лепестка.

Ильза растерянно подняла голову посмотреть, какое впечатление произвели на Эрни эти слова. Но тот, видно, ни о чем не догадывался. Широко раскрыв огромные черные глаза, полные сострадания, он наклонился к ней и тихонько дотронулся пальцами сначала до ее ладони, а потом до оборванной ромашки.

— Отчего ты так горюешь? — спросил кроткий дурак дрожащим голосом.

Ильза пришла в полное отчаяние.

— Ничего, ничего, — поспешно сказала она, — уже все прошло.

С напускной сосредоточенностью она начала навистывать венский вальс и описывать указательным пальчиком круги в такт этой мелодии. Эрни сразу же рассмеялся, следя за вальсирующим пальчиком, словно заранее был готов к этой игре. «Ничего он не помнит! Ни на грош!» — думала Ильза, глубоко уязвленная. Нет, не может она ему сказать, что все кончено. духу не хватает. Ничего, она подождет удобного случая. Пусть еще побудет в неизвестности. Понадобится — она найдет повод сказать ему. Все равно так продолжаться не может. Господи Иисусе, последнее время у нее просто жизни не стало! И к огромному удивлению Эрни, она вдруг снова расплакалась. Мелодия вальса еще секунду звучала в воздухе и замерла.

Нового учителя никто не представил. В восемь часов пять минут дверь распахнулась, и невысокого роста плотный господин влетел в класс, как злой дух, вырвавшийся из бутылки. Не взглянув на учеников, он быстро подошел к кафедре и уселся, вытянувшись, как струна, чтоб не потерять ни вершка своего роста. Все это выглядело очень комично, но Эрни сдержал смех, потому что у всех остальных учеников были очень серьезные лица. Лицо господина Геака, казалось, было вылеплено из глины, которая высохла и растрескалась во всех направлениях. Растянутая на шее кожа переваливалась через крахмальный воротничок, нелепые усики распластались под носом, как желтая моль... «Вырядился, как мужик на праздник!» — насмешливо подумал Эрни.

Однако его игривое настроение продлилось недолго: через секунду, вытолкнув из-под себя стул, господин Геак вытянулся по стойке смирно и яростно командовал:

— Внимание! Раз, два, три... Встать!

Команда прозвучала так повелительно и воинственно, что Эрни показалось, будто его стегнули по пояснице кнутом. Он растерянно вскочил, сам удивляясь своей поспешности. Поддавшись вперед, он разглядел, что глаза у господина Геака необыкновенно прозрачные и поблескивают из-под тяжелых век, как из-под засохших комков земли.

Но тут господин Геак шелкнул каблуками и, выбросив вперед прямую, как брус, руку, воодушевленно завопил: «Хайль Гитлер!»

Внезапность так сильно подействовала на учеников, что они дружно повторили гитлеровское приветствие. Откуда-то и у Эрни появилось вдохновение и умение отлично шелкать каблуками. Он понял, что и сам орет во все горло «Хайль Гитлер» и что голос его теряется в общем крике всего класса. К ужасу своему, он также заметил, что и рука его протянута

вперед. Он медленно согнул и тихонько опустил эту чужую руку.

— Чудеса, да и только! — заявил господин Геек.

И снова Эрни удивился его деревенскому говору. Тонкие ремни губ приподнялись над черными зубами, изо рта посыпались грубые, словно вырубленные топором из деревянной чурки слова. Эрни подумал, что ни губы, ни зубы, ни щетинистые брови, ни комичные усики, ни водянистые, как мелкие серые лужицы, глаза, ни морщины, — словом, ничего решительно не напоминает в господине Гееке учителя. Уж скорей он похож на крестьянина, приехавшего торговать своим товаром. Стоит он на Церковной площади и смотрит на мир: в зависимости от настроения взгляд его то равнодушен, как стоячая вода, то суров, как бесплодная земля, то колюч, как острый камень.

Вдруг у господина Геека перекошилось лицо, затушили глаза и скривился рот.

— А я-то думал, вернее, мне сказали, что в этом классе есть евреи. Но я вижу только славных немцев, которые боготворят своего фюрера. — Он показал на вздернутые в гитлеровском приветствии руки. — Верно, ребята?

Торжествующий хохот сотряс тот ряд, где виднелись коричневые рубашки *гитлерюгенд*. Ганс Шлиманн громко зааплодировал. Что-то удовлетворенно пробормотав, господин Геек посмотрел на Ганса, секунду подумал и, оттолкнувшись землисто-серыми ручищами от кафедры, спокойно спустился с возвышения. При каждом шаге его тело тяжело переваливалось из стороны в сторону, будто он тащил на себе груз. Эрни заметил, что сначала он как бы шупает ногой землю, как бы проверяет, выдержит ли она его тяжесть, и только потом выставляет другую ногу. И еще Эрни заметил, что левое плечо при этом опускается ниже правого.

Поровнявшись с Гансом Шлиманном, господин

Геек остановился, благосклонно глядя на коричневую форму.

— В классе всего три *гитлерюгенд*? — спросил он огорченно и с удивлением. Ганс Шлиманн вытянулся по стойке смирно, а он сурово продолжал: — *Гитлерюгенд* должны показывать пример остальным, должны быть образцом дисциплинированности. — закончил он и, не изменив милостивого выражения лица, ударил Ганса по щеке.

При второй пощечине Ганс мотнул головой и свалился на парту. Но окончательно Эрни пришел в изумление, когда услышал из-под парты воодушевленный крик:

— Так точно, господин учитель! Так точно!

— Это мне нравится! — заявил господин Геек и, скрестив руки за спиной, тяжелым, медленным шагом спокойно вернулся на место. Поднявшись на кафедру, он вытянул шею, схватил указку орехового дерева и, повелительно махнув ею, грозно скомандовал: — Собакам, неграм и евреям выйти из-за парт!

В первое мгновение Эрни Леви решил, что господин Геек просто так странно шутит. Но ученики не смеялись, а господин Геек впился в его черные кудри разъяренным взглядом, и Эрни осознал, что это не шутка, а своеобразная форма обращения к евреям. Он немедленно встал на указанное ему место посреди прохода. За ним уже сопел толстый Симон Котковский.

— Евреи! — закричал господин Геек. — Если я отдаю приказ классу, это значит, что он относится только к ученикам арийского происхождения, а не к их гостям.

За этим вступлением последовала путаная и грозная речь. Оставаясь в позе военачальника, господин Геек на сей раз обращался к «еврейским гостям». Последним надлежит знать, что он всегда най-

дет способ дать им понять, что имеет в виду их. Например, начнет фразу с обращения к какому-нибудь животному.

Пересадив «гостей» в последний ряд и оставив между ними и арийцами пустые парты, господин Геек испустил глубокий вздох облегчения, который совпал со взрывом хохота представителей *гитлерюгенд*. Наконец, вновь приняв важную осанку, он открыл ученикам арийского происхождения горькую истину: прежний учитель всех обьевреил, поэтому в той или иной степени у господина Геека на подозрении находятся все. Он лично считает, что в жилах... или «в другом месте»... у господина Кремера течет примесь еврейской крови, ибо чистокровный немец не станет связываться с жидовским отребьем. Час евреев пробил, стелится по земле погребальный звон; настает час чистокровных немцев, звон победы раздастся в небесах; в набат ударил тот, кому мы обязаны всем: Адольф Гитлер. К тому же не затем сюда приходят дети, чтобы забавляться учебой, а затем они сюда приходят, чтобы как следует подготовить почву, на которой пышным цветом взойдет величие Родины; ибо наступит день, когда, сменив перо на штык...

Тут господин Геек запнулся. Ученики в первом ряду видели, как он побледнел.

— В тот день, значит, — с трудом начал он снова, — вы станете настоящими мужчинами!

Тонкая усмешка тронула его губы, и загорелись вдруг маленькие бесцветные глазки.

— Эй, ты, толстый, — грубо сказал он, показывая рукой на дальние ряды. — Да-да, ты. Тебя как зовут?

— Симон Котковский, сударь, — ответил робкий голос.

— Еврей Симон Котковский, сюда! — описала в воздухе дугу сверкающая линейка господина Геека и застыла точно против того места, куда полагалось стать еврею.

Благодушный, меланхоличный Симон Котковский, утопая в жировом изобилии, подошел к доске.

Форма его типично еврейского носа настолько поразила господина Геeka, что он сделал ее предметом своей первой лекции. Однако сравнительный анализ «типологических особенностей», биополитический комментарий и сарказмы лектора, казалось, отскакивали от мягкой эпидермы Симона Котковского с каким-то даже звоном...

— Еврей, — пробормотал под конец господин Геек, — все вы, и ты в том числе, боретесь за мировое господство. Верно?

— Не знаю, сударь, — решительно ответил обвиняемый.

Сложенные руки, веселое пузо и вьющиеся волосы на низком лбу являли собой воплощение полной неосведомленности. Нос, напоминающий в профиль рыбью морду (а по словам господина Геeka, — ястребиный клюв), поднялся вверх (видимо, от любопытства) и нерешительно опустился снова.

— Слыхали? — сказал тихонько господин Геек. — Он говорит, что не знает... Эх, еврей, еврей! Германия — ваш злейший враг, верно? — продолжал он, наклонившись к мальчику, словно желая подчеркнуть доверительный характер беседы.

— Нет... нет...

— Еврейчик, еврейчик, ну, как тебе поверить, сам скажи, а?

— Я говорю правду, сударь, — испуганно ответил Симон.

— А что, разве сила евреев уже не в гибкости их хребта? — продолжал господин Геек, видимо, не услышав ответа.

И, поскольку Симон Котковский молчал, господин Геек, приняв чрезвычайно торжественный вид, сказал срывающимся от волнения (как догадывались ученики) голосом:

— Послушай, еврейчик, вот ты еще ребенок, скажи-ка нам, что вы сделаете немцам, если... (тут голос господина Геeka от страха стал визгливым), если... упаси, Господи, мы окажемся побежденными в

этой борьбе не на жизнь, а на смерть? Что вы с нами сделаете, а?

Еврейский мальчик, как зачарованный, включился в эту игру: все его боятся, и титаническая борьба евреев с бедными немцами кончается поражением последних...

— Мы ничего вам не сделаем, господин учитель, ничего... — ответил Симон с готовностью и со страхом.

Геeku хотелось показать перед всем классом, какой непоправимый вред причинил этот Кремер. Унтер-офицер германской армии, недавно получивший место учителя, он считал, что оздоровление класса — задача вполне достойная для человека, который в прошлом расчищал траншеи. С восьми до десяти утра он блистательно разрешил все не разрешенные до него проблемы, и только вопрос с пением подкачал: оказался гораздо сложнее, чем можно было ожидать...

Полагая, что евреи не могут не фальшивить, господин Геек решил, чтоб они и вовсе не пели.

— Кроме тех, — добавил он, — кому уж очень хочется. В конце-концов, мяукают же кошки! И собаки лают, и свиньи хрюкают — почему бы и евреям не петь?

Эта концепция, как под линейку, разделила класс на две половины: на тех, кто смеялся, и на евреев.

Однако вскоре учитель заметил, что получается не только ерунда, но и несправедливость: арийцы надрываются — поют, а евреи бьют баклуши. Он поставил им по двойке, но что это за наказание? Дал им по дополнительному домашнему заданию — опять мало! Поставил всех четверых на колени перед доской, но и этим не удовлетворился: петь-то они не поют!

Класс затянул марш *гитлерюгенд*: «Режь, громи и убивай...», девочки — сопрано, мальчики — тенорами (басов пока еще не было: голоса у них лома-

лись). И тут к господину Геeku пришло решение — простое, ясное, естественное...

— Довольно! — скомандовал он, рассекая воздух руками, и хор резко оборвался. — Как видно, друзья мои, — улыбнулся господин Геек, — у наших приживальщиков слишком привольное житье. Вы поете, а они что? Спокойненько слушают? На концерт пришли?...

Тут сам Геек едва подавил улыбку, а ученики просто прыснули со смеху. Однако блестящую идею нужно было доводить до конца, и господин Геек, медленно утерев глаза, высморкался, набрался вдохновения и проверил, достаточно ли сосредоточились ученики.

Наступила гробовая тишина.

Четверо евреев тоже повытягивали шеи, загипнотизированные молчанием, струившимся с еще приоткрытых губ господина Геeка, как с двух комков застывшей лавы.

— Пусть евреи поют! — вдруг прогремел багровый от негодования господин Геек. — Пускай улаждают нас серенадой!

Неожиданный прием нападения ошеломил всех.

Наступила тишина, но на сей раз не гробовая, а триумфальная, то было молчание величественного немецкого орла, широко распластавшего могучие крылья. Теперь уже аплодировали все. Кроме евреев...

Симон Котковский встал, тряхнул занемевшей ногой и с удрученным видом остановился перед учительской кафедрой. Получив приказ, он немедленно сложил губы сердечком и добродушно затянул известную народную песню «Лучше смерти в мире нету...», посвященную памяти героя Хорст Весселя. Закатив глаза и миролюбиво сложив руки на животе, он едва успел прошептать: «Выше знамена, омытые кровью...», как молниеносно раздался дикий хохот

всего класса, включая трех евреев, стоявших на коленях.

Никудышный исполнитель безмятежно затанул вторую строку: «Немцы по крови — вперед!», но тут, перегнувшись через кафедру, господин Геек ударил его линейкой и прокричал прямо в ухо: «Молчать!» Хотя учителя и самого душил лихорадочный смех, он был в высшей степени оскорблен таким исполнением: оно, конечно, не еврейское, но и немецким его никак не назовешь. Вернувшись к доске, Симон Котковский выбрал местечко поудобнее, опустил на колени, подпер свой толстый зад пятками и обхватил живот руками: пусть и ему будет поддержка.

Моисей Финкельштейн поднялся по знаку руки, не дожидаясь слов. Стараясь подавить нервную икоту, он подошел к кафедре. Из-под очков катились слезы. От стыда, от страха, от того, что класс, не унимаясь, хохотал... Никто толком не знал Моисея Финкельштейна. Отец его ушел от матери, и она жила только сыном и только ради сына. Поденщица, она еле сводила концы с концами. Прижав руки к груди, словно защищаясь от удара, Моисей Финкельштейн запел почти шепотом, задыхаясь и в нос. Учитель сразу же отослал его назад к доске, и, подавленный, жалкий, несчастный, он снова опустил на колени, глотая слезы и позор.

Наступила очередь Маркуса Розенберга.

— Я петь не хочу, — сказал он вызывающе.

— А кто тебя заставляет? — спокойно сказал Геек.

Довольно высокого роста, с тонкой, как у молодого оленя, шеей, Маркус Розенберг не выносил ни малейшего унижения. Часто по вечерам, собравшись вместе, *гитлерюгенд* нападали на него. Топография его поражений была представлена шрамами, ископавшими ему все лицо.

— Нет, я петь не буду, — повторил он дрожащим от удивления голосом.

Согнув массивную спину, чтобы тяжелый взгляд

вонзился в Маркуса Розенберга поглубже. Геек грузно двинулся на него, и Маркус отступил. Он пятился до тех пор, пока не натолкнулся на доску.

— Кто тебя заставляет петь, дружок? — вкрадчиво повторил господин Геек ровным голосом. — У меня по принуждению не поют — только для удовольствия. Вот, спроси у Моисея Финкельштейна.

Схватив еврейского мальчика за отвороты, Геек швырнул его на колени и вывернул ему руку.

Искусность приема в сочетании с утонченностью издевательств привели в восторг Юных гитлеровцев, и в наступившей тишине раздались их аплодисменты.

— Ах, вот оно что, у нас, оказывается, есть гордость? — проворковал Геек и так скрутил мальчику руку, что тот застонал. — Но еврейская гордость для того и создана, чтоб ее сломить, — добавил он.

Маркус Розенберг застонал еще громче, но губ не разжал.

— Что ж, посмотрим, когда еврейская кровь... поглядим. — Нежность в голосе Геека достигла своего апогея.

Минут через пять у Маркуса разжались побелевшие губы, и он взвыл. Еврейская честь была попрана. Господин Геек с облегчением вздохнул и швырнул мальчика на пол.

— Вонючка, — процедил он и обернулся к побледневшему Эрни. — А этот что? Я чуть про него не забыл.

Маркус Розенберг лежал, обхватив голову руками и уткнувшись лицом в пол. Юные гитлеровцы были в восторге: удалось-таки сломить его гордость.

Слезы повисли на ресницах Эрни. Они все же не помешали ему заметить в первом ряду окаменевшее в ожидании лицо его подруги Ильзы. Глаза молили его петь.

— А этот чурбан когда соизволит начать?

Эрни обернулся к учительской кафедре. Горькая складка прорезала переносицу.

— Простите, сударь, я еще не знаю, должен ли я,
— пробормотал он и, выкатив обезумевшие глаза, покорно завел руку за спину, чтобы учителю удобнее было ее схватить.

Класс смолк. Заинтригованные ученики в первом ряду жадно ловили срывающиеся с губ Эрни Леви слова: «Не знаю... я не знаю...»

Геек испугался подвоха.

Осторожно протянув руку, Геек второй прикрыл лицо, но ребенок не шелохнулся. Тогда он быстро схватил его руку с такой силой, что легкий, как перышко, Эрни, прежде чем упасть на колени, перекувырнулся в воздухе, как рыбешка.

— Ах, ты еще не знаешь?

Но Эрни уже отгородился от внешнего мира. Господин Геек продолжал свои поучения, арийцы дивились их наглядности, евреи — жестокости, а Эрни Леви плыл в облаках с Муттер Юдифью, с дедом, с папой, с мамой, с Морицем, с малышами — со всеми, со всеми, кого он не хотел убить песней про Хорста Весселя.

4

Рассуждения господина Геека сводились к четкому и ясному выводу: Эрни не стал петь.

Однако, хоть ученики и разозлились, они все равно не могли допустить, что Эрни не захотел петь; поэтому они не сочли себя оскорбленными его молчанием и уж тем более не усмотрели в этом молчании личного торжества Эрни, не говоря уже о торжестве евреев вообще, о котором вопил Геек. По мнению учеников, дурак Эрни не мог ни победить, ни потерпеть поражение; они смутно догадывались, что он не хочет никого побеждать. Он просто не участвует в борьбе, а значит, и поражения потерпеть не может в отличие от Маркуса Розенберга. Но эти же самые ученики ненавидели «дурака». Причем ненавидели

тем сильнее, чем меньше пищи находила себе их ненависть в его отрешенности. Маркуса они тоже ненавидели, но иначе. Тот постоянно бросал им вызов и, поверженный, вызывал лишь презрение, которого так стремился избежать. А Эрни молчал по какой-то другой причине. Некоторые даже заподозрили, что он просто-напросто не умеет петь. Умел бы — охотно бы пел. И тут ненависть к Эрни переходила всякие границы. Наталкиваясь на кротость, которую излучал Эрни, она кипела и бушевала тем сильнее, что такая кротость была запрятана в них самих, но только очень глубоко — они это подсознательно чувствовали.

Евреи стояли на коленях до тех пор, пока из класса не вышел последний ариец, дабы он мог, проходя мимо, жестом и словами выразить свой восторг по поводу унижения евреев. Но на Эрни никто даже не взглянул. Ученики от него отворачивались, словно на него было опасно смотреть. Ильза все же не удержалась и скользнула по нему взглядом. К своему удивлению, она увидела только копну волос, потому что Эрни смотрел в землю. Нет, не от страха. Он опустил голову от стыда и от горя: он навсегда был отделен и от арийцев и от евреев.

Ученики разбежались по домам, шумно и быстро, как стая воробьев. Никто не задержался посмотреть, как будут выходить евреи. Даже Юных гитлеровцев не прельщало зрелище поверженных евреев. Симон Котковский клялся, что никогда больше не вернется в класс — пусть даже у отца будут неприятности за то, что Симон не посещает школу. Маркус Розенберг строил планы мести. Моисей Финкельштейн молча убежал домой. А Эрни Леви, опьяненный полуденным солнцем, поплелся на свидание со своей подругой Ильзой, которая, как всегда, ждала его за домами на берегу Шлоссе. Ее светлые волосы сверкали на солнце.

В этот день, когда Эрни увидел дорогой его сердцу силуэт, боль в плече вдруг стала такой нестерпимой, что из глаз полились слезы. Ильза стояла посреди улицы недалеко от берега. Свежее, как яблоко, личико поднималось над черным передником. Если бы не боль в плече и не слезы, если бы каждый шаг на нескончаемом пути к берегу не усиливал чувства одиночества в этом мире, разумеется, он не подумал бы поцеловать Ильзу Брукнер, просто не осмелился бы. Да и теперь — разве он об этом подумал? Чем ближе подходил он к Ильзе, тем больше ему казалось, что она разделяет его одиночество и протягивает ему щеку. Он не мог сказать, что было раньше: она ли подставила ему щеку и тогда он ее поцеловал или, наоборот, он потянулся к ней для поцелуя и тогда она подставила ему щеку: все произошло одновременно.

— Паскуда! — заорал Ганс Шлиманн и первым выскочил из засады.

По этому сигналу из кустарника и соседних домов повыскакивали «его люди».

Нежно-голубые глаза Ильзы остались спокойными.

— Беги, — крикнул ей Эрни.

Юные гитлеровцы уже схватили его, уже били по лицу и волокли вдоль домов, а он еще беспокоился об Ильзе.

Эрни мельком успел заметить, что она по-прежнему стоит, залитая солнцем, посреди улицы и, опустив руки вдоль плиссированной юбочки, с любопытством наблюдает за происходящим.

— Это уже второй раз он марает немецкую честь, — раздался торжественный голос Ганса Шлиманна прямо у Эрни над затылком.

Однако Эрни почувствовал, что за этой торжественностью ничего нет, одна пустота. Так дети торговца скобяными товарами пыжатаются и краснеют, поднимая игрушечные гантели. И Эрни позволил себе подумать, что Ганс Шлиманн смешон.

— Мразь! — рявкнул Юный гитлеровец Эрни в лицо. — Пари держу, он уже целовал ее в губы!

— И за сиськи уже, наверно, лапал!

— И пониже!

— А может, этот слизняк ее уже трахнул? — прогремел над самым затылком Эрни дрожащий от негодования голос Ганса Шлиманна, который вывернул Эрни руки, не встретив ни малейшего сопротивления с его стороны.

Падая на колени, Эрни почувствовал такую острую боль в плече, какой раньше никогда еще не бывало.

Ганс продолжал выворачивать ему руки, и боль в плече прозрачными каплями покатила из глаз. Лоб стал липким. Плечо огнем горело. Почему вся вода, которая заливает ему глаза, лоб, шею, туловище, которая застревает в горле и течет по губе, до крови зажатой зубами, — почему вся эта вода минует плечо, и оно пылает, как раскаленный брус?

— Сукин сын! Запоешь ты наконец? — задохнулся от ярости Ганс Шлиманн и, не в силах подыскать другие ругательства, как заведенный, начал твердить: — Собака, собака, собака...

Остальные Юные гитлеровцы наклонились над Эрни и, набрав побольше слюны, начали по очереди плевать ему в лицо. Мальчик закрыл глаза. Нет, это не слюна, не слезы, не плевки текут по нему. Липкая, вязкая, зеленая жидкость — это он сам. Потому что он никогда и не был из плоти и костей, как полагал раньше. Он всегда был этой жидкостью и теперь ею исходит. Она прорвала кожу и течет к солнцу. Время тоже уже не время, а бездонное море...

Вдруг все кончилось, потоки прекратились. Приподняв веки, Эрни увидел, что стоит на коленях на сухом и твердом тротуаре, поодаль собрались в круг Юные гитлеровцы и, наверно, обсуждают какой-то важный вопрос, но Эрни больше обратил внимание на их обескураженные лица, чем на странные слова, которыми они обменивались, изредка бросая колю-

чие взгляды в его сторону. Вольфганг Олендорф стоял, широко расставив ноги, и через этот просвет Эрни был виден восхитительный силуэт его подруги Ильзы, неподвижно стоявшей на месте. Казалось, что девочка остановилась немного передохнуть. Спокойный взгляд зелено-голубых глаз скользнул через тот же просвет по Эрни, но Ильза, видимо, не заметила его, хотя в ту секунду, когда их взгляды встретились, Эрни показалось, что тонкие черты ее лица застыли.

— По-моему, этот еврей — самый-самый еврей из всех, — сказал Рыжий.

— А по-моему, нужно показать его хозяйство Ильзе Брукнер, оно, наверно, у него обрезано, — сказал Вольфганг Олендорф.

— Нет, что вы! Не надо! — испуганно закричал Рыжий.

— А почему не надо? — спокойно осведомился Ганс Шлимман. — Вытащим дьявола за обрезанный хвостик.

Все как-то натянуто засмеялись и обернулись к Ильзе.

Она, казалось, ничего не слышала, но все-таки покраснела, и взгляд, который переходил с притихших гитлеровцев на Эрни, стал стеклянным. Эрни все еще стоял на коленях, и лучи солнца, проходя между ног Вольфганга, ласкали ему плечо, словно успокоительная влага.

Все происходящее было настолько неправдоподобным, что Эрни не удивился, увидев, как солнце превратилось в колесо с бенгальскими огнями и начало вращаться у самых его прикрытых глаз. И все же какой-то уголок его сознания сосредоточился на опасности. Прислонясь к дому, он поднял веки. Солнце било прямо в глаза. По лицу текли слезы, пот, плевки... Нет, не может быть, чтобы все это происходило на самом деле. Постепенно до него дошел смысл слов, сказанных Юными гитлеровцами, и он смущенно отвернулся от Ильзы Брукнер, которая не

двинулась с места и только широко раскрыла глаза.

Юные гитлеровцы молча обступили Эрни — он и пальцем не шелохнул: все эти страшные небылицы происходили не с ним, а с кем-то другим, он только смотрел, как вращается огненное колесо. Ничего похожего никогда ни с кем не случалось. Легенда о Праведниках не знала подобных фантазмагорий. Эрни отчаянно перебирал в памяти все истории Праведников в надежде найти пример достойного выхода из этого кошмара наяву. Выхода не было.

Ганс Шлиманн обхватил Эрни руками с таким спокойствием, словно действовал с его полного согласия. А Эрни приподнял локоть, чтобы облегчить Гансу работу.

Рыжий стал на колени и отстегнул ему подтяжки.

Эрни опустил глаза и увидел у своего живота рыжий затылок.

Одним рывком Рыжий стянул с него штаны, и Эрни увидел свои дрожащие ноги. Рыжий запустил два пальца под кальсоны. Тут Эрни вырвался из цепких пальцев Ганса Шлиманна и замахал руками над головой — высоко-высоко, прямо под солнцем. Кажалось, он не знал, что с ними делать, и лишь хотел показать свое бессилие.

Юные гитлеровцы растерянно посмотрели на эти голые руки, рвущиеся к солнцу, но Рыжий тут же опомнился и стащил с Эрни кальсоны.

Именно в этот момент проснувшийся в Эрни зверь поднялся к горлу, и мальчик в первый раз зарычал. Припав к ногам Рыжего, он вонзил ему в икру зубы, а ногтями начал раздирать его щиколотку. Рот у Эрни покрылся пеной.

Ганс Шлиманн немедленно стал коленом ему на спину, надавил на глазные яблоки пальцами и оттащил от Рыжего. Эрни снова завыл, вцепился зубами Гансу в руку и повис на ней. Тот проволока его по тротуару метра два, прежде чем ему удалось высвободиться. После этого Ганс отступил еще на несколько шагов, словно страхуясь от зубов Эрни. А

тот быстро вскочил на ноги и, прижавшись к дому, рычал, как собака. Слезы сыпались из его глаз, как острые ножи.

— Дерьмо собачье, — сказал Рыжий.

— Собачье и жидовское, — добавил кто-то еще.

— Жидовская собака, — неуверенно подхватил Ганс Шлиманн и, прижимая укушенную руку к бедру, подошел поближе. — Осторожно, она, наверное, бешеная.

Юные гитлеровцы отступили еще дальше, но улыбнулись, как бы показывая, что не принимают всерьез последние слова Ганса. Дело не в том, что с Эрни нельзя справиться, — просто им неохота связываться с жидовской собакой: они же сами только что видели, что она бешеная. Шутка Ганса спасла положение.

— Его надо отвести туда, где убивают собак, — сказал один из Юных гитлеровцев.

— А как их убивают? — спросил другой.

— Укол делают, и они подышают с раскрытой пастью, — ответил Ганс Шлиманн.

— А в какое место делают укол? В зад? — не унимался первый.

— Смотря каким собакам, — сострил Ганс Шлиманн. — Жидовским — — прямо в хвостик.

Юные гитлеровцы, только и ждавшие подходящего повода, расхохотались и пришли в такое неистовое веселье, что забыли, чем оно вызвано. Потом они вдруг опомнились, и Рыжий, подняв камень, запустил его в Эрни. Остальные последовали его примеру, но от злости они все время промахивались. Наконец, Ганс Шлиманн подал знак расходиться.

— Ты идешь? — спросил он Ильзу.

— А ты торопишься? — сказала она сухо.

— Ах, да, ты же любишь своим миленьким! Поосторожней, он бешеный.

— Я его не боюсь, — сказала Ильза Брукнер и, подмигнув Гансу, шепотом добавила: — Идите, я вас сейчас догоню.

— На углу возле школы? — спросил Ганс, многозначительно глядя на нее.

Увидев, что она принимает его намек, он медленно повернулся и пошел. Вскоре Юные гитлеровцы маячили уже в конце улицы, и оттуда доносилась веселая песня, которую они распевали чистыми голосами.

Слезы высохли. Солнечное колесо, перестав вращаться, медленно ушло на место и застыло в бесконечной дали, как свеча в комнате. Над равниной снова запел дрозд, и между кустами заплескалась Шлоссе. Эрни заметил, что его подруга Ильза все еще стоит на прежнем месте. На ней туфли с пуговками, красивый черный передник, а на земле между щиколотками лежат тетрадки. Эрни также заметил, что влажные глаза, скользкий взгляд и гладкость ее волос придают ей сходство с рыбой. На школьном маскараде, когда на ней было длинное платье, она помахивала подолом, как китайская рыбка хвостом. На носу и на руках, в том месте, где начинаются розовые пальцы, тоже были красивые штучки, только непонятно было, что это такое, как они называются. Восхищенный Эрни улыбнулся Ильзе, которая, как зачарованная, не могла отвести от него широко раскрытых глаз, словно любопытство было сильнее ее. Вдруг Эрни перестал видеть эти зеленые огни, тень улыбки еще немного поблуждала у нее на губах, скользнула в ямки, дрогнула и исчезла: девочка теперь смотрела на него, как на чужого, — презрительно и боязливо. Тогда Эрни решил сделать вид, что хочет к ней подойти. Побледнев, она схватила тетрадки и стрелой помчалась вслед за Юными гитлеровцами. Пробежав метров двадцать, она обернулась и зааплодировала — хлопка три, не больше. Солнце висело совсем низко, и на его фоне Ильза казалась летящей букашкой с черными крылышками, потому что черный передник развевался по ветру. Потом исчезла и эта точечка.

Солнце снова завертелось вокруг своей оси, набирая скорость. Сверкающие искры летели от этого ко-

леса и разноцветными песчинками уносились в небо. А еще вокруг колеса вились золотистые волосы. Эрни поднял штаны. Зверь рычал у него в груди так громко, словно хотел своим ревом немедленно убить Эрни, который мысленно все еще кусал Юных гитлеровцев. И тогда Эрни понял, что познал ненависть.

5

Дойдя до моста через Шлоссе, Эрни оглянулся: он был один.

Горбатый каменный мостик переходил на другой берег Шлоссе, добродушно, как старый крестьянин. Борода из цветущего плюща спускалась до самой воды. Иногда они с Ильзой стояли здесь, опершись на каменные перила, и наблюдали за нескончаемым течением воды и времени. Плыли по этому течению лини и караси, и Ильза высказывала предположение, что все рыбы уходят в море, иначе куда им деваться? Эрни не возражал, хотя и знал, что редкие сорта рыб, такие, как уклейка, например, остаются как раз на границе пресных и соленых вод.

Сегодня Шлоссе казалась застывшей в своем русле, а вода — прозрачной и пустой, как воздух.

Мальчик свернул с моста на тропинку, которая спускалась слева от парапета и бежала среди ежевики, крапивы и желтых цветов, росших в тени камышей. На середине склона тропинка огибала знаменитую скалу Вотана — германского бога войны, бури, вельмож и королей. Скала выступала из реки на протяжении метров четырех. Раньше, во времена республики, каждое лето по вечерам с нее ныряли рабочие. Скала казалась поднявшимся в этом месте дном, и трудно было поверить, что это просто огромный камень. Можно было еще вообразить, что это срубленный у подножья гранитный дуб, который продолжает жить и без кроны, такие у него мощные корни. Но господин Кремер уверял, что предки язычников принесли сюда эту каменную глыбу с гор, уже на ме-

сте отесали ее и она служила им столом, на котором они отрубали головы животным и людям. Кровь стекала к Шлоссе, и река уносила ее к Таунусу, куда в Вальпургиеву ночь приходили ведьмы из Брокена и пили эту кровь. Это был стол жертвоприношений... Теперь Юные гитлеровцы и взрослые члены партии иногда по вечерам жгли на этой скале древесные стволы. Жители с Ригенштрассе больше не называли ее камнем, а уважительно говорили: «Скала Вотана». Один берлинский ученый нашел под ее мхом свастику. Газеты утверждали, что ей несколько тысяч лет, а господин Леви-отец тонко замечал, что она не старше грудного младенца.

Протянув руку, Эрни Леви осторожно дотронулся указательным пальцем до скалы, как до спящего зверя. Затем он спустился по склону и отошел метров на десять в сторону, под солнце, чтоб не оставаться в тени этого гигантского камня. У тонкой полоски прибрежного песка камыш редел. Эрни стал на одно колено и увидел, что тень от скалы переходит на воду, которая треплет ее, как кудель, и волокна застревают в извилинах берега. Прорывая коленом песок, Эрни медленно подвигался влево, пока его тень не слилась с тенью скалы. Эрни наклонился к реке. Огромная тень лежала на воде, а поверх нее лопались илистые пузыри. Эрни расстелил по воде носовой платок, который продержался на поверхности несколько секунд и начал тонуть.

Волна затуманилась. Эрни медленно выжал платок и обтер им лоб.

По краям раны от металлической линейки запеклась кровь. Эрни протер рану тоже и приложил к ней лист крапивы. Нет, боли совсем не чувствуется. Он провел пальцами по голове и, к своему удивлению, обнаружил на ней шишки. Но и они не болели. Распухший от кулака господина Геэка подбородок тоже не давал себя знать. У него, значит, «пропала чувствительность», как говорят врачи. Из любопытства он укусил себе ладонь. На ней остались

следы от зубов, и в одном месте выступила капелька крови. А боли — никакой, хоть любуйся на укушенную ладонь.

— Но Праведники же чувствовали боль. — вдруг прошептал Эрни.

Он зачерпнул немного воды, смыл запекшуюся кровь со лба и с груди и прополоскал платок. Вода ненадолго покраснела, но тень от скалы помешала Эрни это заметить. Он встал и отряхнул с колена песок. Он решительно ничего не чувствовал.

Только спустя некоторое время впервые появилось ощущение пустоты. Эрни не хотелось возвращаться на тропинку Вотана, и он пошел прибрежной крапивою. Вот и луг. Окинув его взглядом, он спокойно и торжественно вошел в зеленое море. Местами травы доходили ему до подбородка. Чем дальше углублялся он в них, тем больше ему казалось, что зеленые волны хотят поглотить его или, по крайней мере, удержать навсегда: они вот-вот сомкнутся и преградят ему дорогу, которую он прокладывал наугад. Волны ли на него наступают, он ли погружается в них, как человек, покинувший берег, — все равно, пути назад не будет.

Полагая, что берег уже далеко позади, он остановился и увидел над собой всю ширь небес. А здесь, внизу, он затерявшаяся в траве пылинка — Эрни Леви. И тогда он почувствовал пустоту, земля будто разверзлась у него под ногами, и тихонько подступили слова: «Я — ничто».

А ширь небес по-прежнему радовала глаз. Тишина: потоки солнца, незыблемая голубизна наверху — все было пропитано запахом земли. Какая-то соринка ударилась о щеку и прилипла к ней. Он снял двумя пальцами соринку, поднес к глазам и увидел, что это божья коровка. Красненькая с черными пятнышками, лапки дрожат, как тонкие волоски, ни дать ни взять рубиновая головка драгоценной булавки, на которую тонким пером нанесены черные точки. За-

таив дыхание, посадил ее Эрни Леви на кончик большого пальца.

Божья коровка,
Полети на небо,
Там твои детки
Кушают котлетки.

На последнем слове дети всегда дуют на божью коровку, чтобы она улетела. Мальчик уже вытянул губы трубочкой, но вдруг передумал и раздавил божью коровку. На пальцах осталось месиво. Эрни скатал его в шарик, наподобие хлебного катыша. Ему почудилось, что он раздавил пустоту своего сердца. Но этого оказалось мало. Он долго растирал шарик между ладонями, пока остатки божьей коровки не превратились в серое пятнышко.

Тогда он поднял голову и понял, что только что умерла тишина.

... Весь луг беспокойно шуршал крыльями, шелестел травами, дрожал незримым трепетом жизни. Сама земля сердито урчала. Эрни Леви заметил сначала кузнечика, который уселся на кочку и блаженно трещал лапками. Эрни осторожно нагнулся, но кузнечик, видимо, не почувствовал опасности, и мальчику удалось разглядеть, что челюсти у него похожи на кроличьи и жует он ими, как старуха. При этой мысли Эрни взмахнул рукой и поймал кузнечика за лапку. Он раздавил его ладонями, скатал шарик и растер до пятна, на этот раз зеленого и большого.

Следующей жертвой стала бабочка... Редко кто по-настоящему ценит бабочек. Там, где невежды усматривают недостатки, Эрни находил их особые достоинства: они вылупляются из гусеницы, и красота их — пыльца, пыль. Бальтазар Клотц коллекционировал бабочек. Он ходил по полям с сачком, ловил их, потом прикалывал булавкой, всаживая ее прямо в то место, где сердце, и заспиртовывал. Комната Бальтазара Клотца была наполнена хрупкими трофеями. Под увеличительным стеклом крылышки у них каза-

лись особенно красивыми и живыми. Эрни охотно ловил бы бабочек: любоваться ими — одно удовольствие, но их никак нельзя поймать, не повредив крылышки и золотую пыльцу. Поэтому он лишь тихонько, как индеец, подкрадывался к этому чуду и любовался им до тех пор, пока бабочке не заблагорассудится упорхнуть. В такие минуты Эрни стоял совершенно неподвижно, и бабочки спокойно летали вокруг него, даже садились на голову, на пальцы, и тогда можно было подумать, что на руках у него перстни необыкновенной красоты.

Та, которую он только что раздавил, оказалась махаоном. Ее крылья напоминали узор из цветных стекол. В народе этот вид бабочек называют: большой хвостonos, потому что огромные крылья у махаона имеют отростки сантиметра в два длиной, и он летает величественно и плавно, как хищник.

Махаон уселся на фиалку, и Эрни накрыл его еще влажным носовым платком. Затем, не отнимая платка, сорвал цветок с бабочкой и растер в своих уже засаленных ладонях. За махаоном последовали стрекоза, огромная саранча, жук-навозник, крохотная бабочка с перламутровыми крылышками, еще бабочки, еще стрекозы, еще кузнечики... Эрни Леви носился по лугу, размахивая перепачканными руками...

Наконец он устал. С каждым разом все труднее давалась ему смерть насекомого. С каждой смертью в него входило новое месиво, и теперь живот был набит им, потому что раздавленные насекомые стали его внутренностями. С тяжелым сердцем растянулся Эрни на земле, закрыл глаза и положил руки ладонями в траву. Живот распластался во все стороны. Веки пропускают свет, но это не мешает жертвам кишеть под ними. В уши лезет жужжание тысяч живых существ, оно пробирается во внутренности, где еще мучаются бабочки вместе с другими насекомыми. А на траве лежат мертвые ладони.

Эрни открыл глаза. На голубом фоне каждую секунду меняется черный узор: небо полно птицами. Вскоре эту картину перечеркнули высокие травы. Эрни начал следить за одной птицей, надеясь вместе с ней подняться ввысь. Но птицы продолжали высокомерно летать, не обращая внимания на его взгляд, и пространство между ними и Эрни не уменьшалось. Как посмел он, жалкая букашка со страшным месивом в животе, возмечтать о таких высотах, которые даже и Праведникам были недоступны? «Никогда я не был Праведником — всегда был ничтожеством».

При этой мысли, уткнувшись лицом в землю, он издал крик — первый, с тех пор как остался один, — и сам удивился тому, что глаза остались сухими. Целых полчаса кричал он, уткнувшись в землю. Казалось, он зовет кого-то, кто находится далеко-далеко, кто зарыт в землю и от кого он ждет отклика. Но его крик только усугублял тишину, и в животе продолжало копошиться месиво. Рот набился землей и травой. Наконец, он понял, что ему не дожидаться ответа, потому что его зов исходит из пустоты: он не слышен Богу. Вот когда почувствовал мальчик по имени Эрни Леви, что его тело ему в тягость, и решил от него избавиться.

Тяжелым, медленным шагом, волоча ноги по земле, поплелся он к берегу, чтобы совершить предсмертное омовение. Бесконечный хор всего живого на земле больше не беспокоил его, и, раздвигая травы, он боролся только с лицом Ильзы. Скалу Вотана он обогнул совершенно равнодушно. Месиво настолько пристало к рукам, что пришлось песком оттирать его от ладоней, выковыривать из-под ногтей, соскребать с пальцев. Головка какого-то насекомого еще осталась на рукаве школьного халата. Внимательно присмотревшись, он узнал глаза махаона и его благородные усики. «Вот и твою судьбу Бог взял в свои руки», — подумал он. Когда вода успокоилась, он наклонился и всмотрелся в свое отражение. Сначала оно было расплывчатым, а когда выровнялось, с ресниц упали

две капли, покатались по складкам у рта, и лицо исчезло. «Слезы льются сами по себе, я не плачу», — подумал Эрни. Когда же ноги отправились в путь, перешли мост и вышли на городское шоссе, он подумал: «Колени у меня дрожат, но мне самому не страшно».

Он с трудом узнал Ригенштрассе. Улица как улица, и люди ходят на двух ногах. Некоторые при виде его останавливаются (особенно женщины), но он не смотрел на них. Так же едва подумал он и о тех, кого заметил в кухне, войдя в дом с черного хода: оттуда слышались какие-то отзвуки человеческих голосов, но связь с семейством Леви, с этим сердцем теперь уже мертвого для него мира, порвалась настолько окончательно, что ему и в голову не пришло попрощаться с кем-нибудь из родных: всякие прощания — это все уже в прошлом.

И все же на середине лестницы ноги так постыдно задрожали, что ему пришлось ухватиться за перила. «Кто посмел сказать, что ты боишься? Кто посмел такое сказать?» — твердил он вполголоса.

Но вот уже грозным существом перед ним встала тяжелая чердачная дверь, обитая железом.

Скрипнули петли. (Эрни испугался, как бы их предательская жалоба не дошла до кухни). Он распахнул двери, но отступил перед навалившейся на него темнотой. Вроде даже убежать захотелось, потому что темнота, вдруг став жидкой, накатила на него, как морская волна. Наконец, сероватая чернота слилась с тусклым светом лестничной площадки, и из этого мутного марева выступила веревка с повешенной на ней голой куклой (Мориц с товарищами играли в казнь Адольфа Гитлера, которого изображала эта кукла с нарисованными карандашом усами. Но Эрни показалось, что ее лицо напоминает не фюрера, а Ильзу, и он почувствовал легкое удовлетворение).

Потом проглянули сложенные рядами черепицы со сверкающими, как черные зубы, краями, потом выступила куча известки, потом бечевки, сломанные

стулья, бывший обеденный стол (после рождения братьев и сестер Эрни он оказался слишком мал), плюшевый медвежонок без головы, тазы с пасхальной посудой — словом, весь чердак. Эрни вошел.

Как раз в этот момент из окошка полился свет, настолько похожий на теплую желтую пыль, что, казалось, от него першит в горле.

Намереваясь пододвинуть стул к окошку, мальчик решительно приподнял его за спинку и почувствовал, что от этого прикосновения стул ожил: он ударил его ножкой по колену. Без особой уверенности Эрни влез на драчуна, дотянулся до окошка, раскрыл его до отказа и, ухватившись за раму, подтянулся на руках. Мастером в спортивных упражнениях он себя не считал, но ему представлялось вполне разумным и справедливым, что сегодня, в силу исключительных обстоятельств, тело будет беспрекословно подчиняться его воле. Однако едва он повис на руках, как оконная створка прищемила ему пальцы, они не выдержали и разжались. К счастью, он упал на пол и, уже сидя в пыли, пришел к заключению, что система мироздания, не рассчитанная на его несчастье, не хочет помогать ему.

Обычно в его положении вешаются. Эрни никогда не задумывался над тем, почему при подобных обстоятельствах люди именно вешаются, но теперь ему понятно, что это самый удобный способ. А еще люди топятя. Это тоже простой и общедоступный способ, не требующий особых приспособлений. Может, надо было просто броситься в Шлоссе? Наверно, это не очень страшно, особенно солнечным днем. Поплыл бы он по течению, как щепка или как пучок веток... А теперь вот ему придется вешаться, поскольку он не может влезть на крышу. Но чтобы повеситься, нужны веревка и стул и петля должна быть скользкой, а ее-то он и не умеет делать. Снова возбудившись, Эрни отвязал куклу и увидел, что Мориц с приятелями вовсе не повесили ее, а просто повязали ей веревку вокруг шеи. От огорчения у Эрни даже

руки занемели, и скользящая петля, как он ни старался, не получалась: либо веревка развязывалась (а это значит, что он просто-напросто упадет на пол, когда вытолкнет из-под себя стул), либо затягивалась так туго, что потом ее никак было не снять с руки. Может, потренировавшись подольше, Эрни в конце концов и научился бы делать этот проклятый скользящий узел, но ему вообще расхотелось вешаться. Он помнит, в одной книжке с картинками был нарисован повешенный; его распухший язык вывалился на подбородок. Нет, неприятный это способ. Конечно, и с крыши броситься не лучше, но с крыши, по крайней мере, он уже прыгал, а вешаться еще никогда не пробовал.

Торопиться теперь было некуда, и Эрни уселся на стул хорошенько подумать, потому что дело это серьезное и нужно как следует в нем разобраться.

Через открытое окошко вместе с теплым светом в сердце к нему входили любимые существа и предметы: Муттер Юдифь, бабушка, папа, мама, комната на первом этаже, господин Кремер, Мориц, малыши, плывущее высоко между домами и деревьями солнце, Ильза, которая была уже мертва. Почему все они сегодня покинули его... и почему от этого он чувствовал себя отяжелевшим, а не наоборот? Нет, правда... Он будто камнем летел с неба; и лучшего способа избавиться от головокружения, чем на самом деле упасть, наверно, нет. Поэтому ужасно жалко, что он не может броситься с крыши: для этого нужно как следует подтянуться на руках, а он не умеет.

Эрни опустил глаза и снова увидел бывшего плюшевого медвежонка, таз с посудой, веревки, тряпки, бывший обеденный стол... Его внимание привлек сломанный стул: он лежал опрокинутый, задрав вверх свою единственную ножку. Эрни вспомнил, при каких обстоятельствах стул сломался: однажды, когда на нем сидела Муттер Юдифь, он не выдержал натиска ее гнева. Человек, конечно, не может превратиться в кусок дерева, но у Эрни появилось странное

чувство, будто он и есть сломанный стул. Может, у людей и у предметов одинаковый конец? Нет, наверняка нет, потому что никому не известно, как умудряются умирать люди, ни у кого нет ни малейшего представления об этом. Сколько раз, обычно за ужином, Муттер Юдифь сообщала: «Сегодня скончался такой-то» — и называла какую-нибудь болезнь, словно произносила имя виновника. Но Эрни полагал, что дело не в болезнях, они только предлог. Стоит лишь посмотреть на идущих за гробом, и станет ясно, что их близкие были уведены, похищены прямо у них на глазах. Потому что, кроме горя, вполне, конечно, понятного (хотя Эрни часто удивлялся отчаянию взрослых: сами они ведь тоже не бессмертны и, значит, обязательно встретятся со своими любимыми), так вот, кроме горя, лица родственников выражали еще какую-то обиду.

Только Праведники не умирали таким поспешным и огорчительным образом. Наступал день, когда Праведник доказывал свою праведность, и во всей вселенной устанавливался такой порядок вещей, какой был нужен, чтобы приготовить ему смертное ложе: короли разжигали войны, правители устраивали погромы. Им же, Праведникам, не приходилось даже пальцем шевельнуть: начиная со времен Рабби Иом Това, все до последней мелочи было предусмотрено. Из их кончин никакого примера позаимствовать нельзя, поскольку никто из них не шел, как Эрни, навстречу Божьей воле.

Впрочем, и то верно, что ни Праведники, ни умершие соседи не оказывались в положении Эрни. Ни туберкулеза, ни пыток, ни истязаний — ничего нет. Есть только Эрни на чердаке.

Из окошка донеслось пение птицы. Эрни Леви встал, размял затекшие ноги. Оставалась последняя возможность: выброситься из окна уборной, которое тоже выходило во двор. Он подбежал к дверям, но

тут почва ушла у него из-под ног — так сильно заболела рана на лбу и прищемленные пальцы. Очнулся он на полу, в висках еще стучало, но боль прошла. А все из-за проклятого леденца, который завалялся у него в подкладке штанов. Не успел он положить его на язык, как по жилам разлилась боль, скрытая под сладкой оболочкой удовольствия. Поднявшись с пола, он почувствовал, что до того увеличился в размерах, что голова на удлинившейся шее раскачивается из стороны в сторону от своей тяжести.

Лестничные перила помогли ему спуститься на один этаж. Уборная находилась там, как раз против комнаты господина и мадам Леви. Опять потекли по щекам слезы! «Я же не плачу, чего это они текут сами собой? — удивился Эрни. — И ноги дрожат так, что их не унять, хотя мне совсем не страшно».

Раковина уборной стояла в глубине под квадратным окошком, через которое лился поток солнечного света, застывавший желтым прямоугольником с бесчисленными пылинками внутри, которые плавали, как крохотные рыбешки. Эрни поднял крышку, чтоб зря не пачкать ее, и стал ногами на борта раковины вровень с оконной рамой. Проем достаточно широкий, плечи вполне пройдут, но сначала нужно просунуть голову, а затем уже туловище, и тогда под тяжестью своего веса он полетит на землю. Собственно, он просто вывалится из окна, а не прыгнет в пустоту. «Голова наверняка разобьется как яйцо, даже лица нельзя будет узнать», — подумал он и снова пожалел, что не может нормально броситься с крыши.

Ноги так дрожат, что, того и гляди, он потеряет равновесие и свалится в раковину. Вот уже несколько секунд, как в них, видимо, бес вселился и только для того, чтобы поспорить со спокойствием его души. Нет, слез больше не было: коварный враг целиком ушел в ноги и командовал ими, как хотел. Поведение ног настолько не вязалось с его волей, что он едва ли удостоил бы их взглядом, но опасаясь, как бы они не сбросили его со стульчака, Эрни решил осторожно

опустить их на пол, чтобы утихомирить внезапное смятение души.

Минуту спустя он заметил, что машинально разглядывает предметы на полочке. До умывальника солнце не доходило, и, окутанные тенью, они сливались в один общий контур, по которому мальчик рассеянно проводил взглядом, как по вершинам горной цепи. Его внимание привлек бритвенный прибор, который стоял на самом краю, — вот-вот упадет.

Мысли вдруг успокоились, из сердца ушла тоска, глаза и ноги стали снова послушными.

Он подошел к полочке. В коробке лежали еще не тронутые лезвия, каждое в отдельной обертке. Вынутое из бумажки, лезвие сверкало на ладони, как драгоценная камешка. Жаль, что, подравнивая бороды, ни дедушка, ни господин Леви-отец не пользуются такой бритвой, как в парикмахерских. Некоторые люди одним движением руки перерезали себе горло такой бритвой. Говорят, она такая острая, что достаточно поставить ее под прямым углом к телу — и готово. Можно так легко себя зарезать, что даже не почувствуешь прикосновения бритвы.

Эрни Леви положил левую руку на край умывальника и, проколов уголком лезвия нежную голубоватую кожу, сделал насколько смог глубокий разрез. Вытащив лезвие, он увидел на нем капельку крови. Странно: и боль не чувствовалась, и на руке почти ничего не заметно, только маленькая розоватая полоска, будто мушиный укус. Не успел он это подумать, как полоска рассеклась и из нее сплошным потоком полилась кровь. Значит, получилось.

Он вернулся к раковине, чтобы зря не пачкать пол. Теперь у мадам Леви-мамы не будет лишней работы: кровь стекает в воду. Она льется из руки, как из клюва курицы под ножом резника. Эрни как-то носил курицу к резнику. Он помнит, как она бешено дернулась под ударом ножа, потом безнадежно дрогнули крылья, и она затихла, хотя была еще жива, иначе откуда бы взялась кровь, верно?

Эрни эту курицу есть не стал и к другим тоже больше не притрагивался, потому что уже знал, как они падают в тарелку. И теперь вот часть его существа продолжает биться, как та курица, наверно, потому и начали снова дрожать ноги.

Руку свело, и она стала совсем похожей на окровавленный клюв, а рана показывала, где начинается куриное горло. Эрни складывает пальцы в щепоть, и клюв сечет воздух от страха, а вот и круглый куриный глаз блестит.

Когда же жизнь покинет его? Это очень интересный вопрос. Эрни в сладостной тоске ждал минуты, когда он перейдет в иной мир. Все люди боятся смерти, потому что думают, что их больше никто никогда не увидит и что там — немая тишина и ничего не происходит. Но Эрни прекрасно знал, что такой смерти быть не может. Все будет по-прежнему, с той только разницей, что пропадет это болезненное желание умереть. Не так уж страшна эта самая смерть, и, чтобы начать новое существование, Эрни вообразил себя мыльным пузырем. Прозрачный, кружит он под солнцем, и все предметы отражаются в нем. Но тут его проколола какая-то булавка, и пузыря как не бывало. Тогда Эрни решил, что умереть нужно так, чтобы стать невидимкой: ему не хотелось снова напороться на булавку. «Дети мои, — говорит дед, — наш дорогой Эрни покинул нас. Он не хотел оставлять нам огорчения и ушел в лучший мир из-за божьей коровки и по разным другим известным вам причинам. Там, где он сейчас, ему хорошо, и я уверен, что он все время смотрит на нас. Не будем же его огорчать и споем».

Дед стоит у стола, на нем талес и все, что положено в таких случаях религиозному еврею. «Я не могу петь», — заявляет Муттер Юдифь. «Обо мне и говорить нечего», — бормочет господин Леви-отец. «И я не могу», — выдавливают из себя мадам Леви-мама. «Я его любил», — говорит Мориц так жалобно, что из новых глаз Эрни, который невидимый сидит в

столовой на диване. начинают капать слезы. Кап-кап-кап — стучат они по полу, но только Эрни их слышит, а остальные нет.

Открыв свои настоящие глаза, Эрни понял, что действительно слышит, как падают капли: это кровь вытекает из вены, но так медленно и понемножку, будто ее уже почти не осталось. А рука так занемела, что все тело расслабилось. Ах, какое приятное чувство... Его ни с чем не сравнить, разве что с удовольствием, которое ему доставляли прогулки с Ильзой вдоль Шлоссе, когда он украдкой смотрел на ее лицо. Эрни представил себе, как после смерти приходит навестить свою подругу. Раскаявшаяся, убитая безутешным горем, она говорит: «Прости меня».

— Ты бредишь, мой друг, — сказал себе Эрни вслух.

А кровь продолжала капать: кап... кап... кап...

Сегодня утром господин Геек сказал, что после битвы под Верденом души павших в бою продолжали сражаться в воздухе. Так же и Ильзины аплодисменты — три хлопка — вечно будут звучать за домами, и ни ее раскаяние, ни смерть Эрни — ничто не в силах прекратить их: они ни на секунду не перестанут звенеть у Эрни в ушах.

Теперь каждая капля ласкает его и баюкает. А что, если он, не устояв перед сладостным желанием, уснет и потом проснется еще больше живой, чем раньше? Мальчик в панике открыл глаза, но они закрылись снова, и он соскользнул на пол.

Прислонившись спиной к стенке, он сидит в луже крови. Ильзины три хлопка ироническими нотами вплелись в общий хор насекомых, которые гудят у него над ухом: быстрые, черные, хитрые, они так и норовят вонзить в него свои жала.

Он с трудом поднялся, и кровь полилась сильнее. Ему удалось поставить ногу на край умывальника и, ухватившись за оконную раму, подтянуть вторую. Высунув сначала сложенные, как у пловца, руки, он протиснулся до половины туловища в открытое окно

и повис между небом и землей. Левая рука болтается вдоль стены, и кровь доходит уже до первого этажа. Над каштаном пролетают огромные птицы с разноцветными крыльями бабочек, в которых, как в зеркалах, отражается солнце. Птицы-бабочки летают так быстро, что за ними не уследить. Они взмывали так высоко над крышами, над каштаном и над мальчиком, что последний лишь тихонько над собой посмеялся. Вдруг рука перестала кровоточить, исчез терпкий запах, уменьшились бабочки, солнце протянуло свои руки к лицу Эрни и послышались напевные, пронизанные грезой слова поэта, которые дел произносил каждую субботу перед семейной трапезой: «Иди, любимый, навстречу невесте своей».

... Эрни уже скользил вдоль стены, подняв кверху руки и голову, словно хотел на секунду ухватиться за небо, словно не желал видеть летящую ему навстречу землю раньше, чем упадет на нее. А земля стремилась к нему, ей нравилась эта фигура, напоминающая парящего ангела, эти руки, распростертые, как крылья... Эрни уже сорвался с окна, когда ноги зацепились за подоконник и на какую-то долю секунды удержали его, словно в них ушла вся жажда жизни, словно страх перед смертью, который дремал, приглушенный страданием, в самой глубине его существа, неожиданно проснулся, чтобы оставить его в живых, но в тот момент, когда было уже поздно.

СОБАКА

1

Статистика показывает, что в течение ряда лет перед началом конца процент самоубийств среди немецких евреев практически равнялся нулю. Эти данные относятся в равной мере к тюрьмам, к гетто и ко всем темным закоулкам, где звериная морда фашизма выглядывала из бездны. Эти данные верны даже для преддверий крематориев, или, как их поученому назвал один нацистский обозреватель, «анусов мира». В противоположность этим данным попытки самоубийств среди евреев школьного возраста начиная с 1934 года насчитывались десятками и сотнями; в десятках случаев они оканчивались успешно.

Так что первая смерть Эрни Леви заняла скромное место в статистике среди десятков подобных смертей (хотя другие смерти были первыми и последними). Конечно, восхищает нас то, что те самые учителя, которые учили арийских школьников убивать, учили еврейских детей кончать жизнь самоубийством. Вот что такое немецкая техника, строгая и простая, не изменяющая себе даже в педагогике.

Когда Мордехай нашел во дворе под стеной бездыханное тело ребенка (его птенчик разбился на лету, превратился в кровавый комочек), он почувствовал, что сходит с ума. Его серые глаза словно высохли и застыли в орбитах, как камни. Чем ближе подходил он к ребенку, тем глубже впивался зубами в нижнюю губу. По бороде потекла красная струйка, за ней дру-

гая, третья... Эрни лежал, прижавшись щекой к земле, как гончая собака, курчавые волосы стыдливо закрыли его лицо. Казалось, смерть настигла его, когда он спал на боку. «Господи, не ты ли вылил его, как молоко, и как творог, сгустил его; кожей и плотью ты одел его; из костей и жил сплел его... и в прах обратил теперь?» Мордехай упал на колени. Его удивило жужжание мух, круживших над худеньким трупом. Одна из них, зеленоватая, огромная и прожорливая, уселась на торчащую из локтя кость. Мордехай поднял растерзанное тело с окровавленного каменного ложа.

— Вот я вопию к небу, — ровным голосом сказал он ребенку, — и нет мне ответа.

В этот момент школьная блуза приподнялась, опустилась и снова приподнялась с чудесной равномерностью человеческого дыхания. Мордехай пронзила глубокая благодарность к столь милосердному Богу. Как был, в старом домашнем халате, с окровавленным, растерзанным ребенком на руках, старик миновал гостиную и выбежал на улицу. Все остальные Леви, обезумевшие от страха, кинулись за ним. Тем же вечером, так и не придя в сознание, Эрни уже лежал в Майнцкой больнице, в отделении для евреев. Его превратили в гипсовую куклу. Мордехай не переставал благодарить Бога, явившего свою милость. Он благодарил его полгода, год, но по возвращении Эрни в Штилленштатт вынужден был признать, что если Всевышний в своем милосердии возвратил Ангелочку жизнь, то душу он ему не вернул.

Эрни сразу же понял, что смерть наложила свою костлявую руку на его мозг. Он лежал подвязанный ремнями к специальному устройству с многочисленными трубочками, введенными в гипс, через которые вливали жизнь в его тело. Из всех страданий, которые ему причиняла каждая клеточка его организма, самое страшное исходило от единственного глаза: он

снова обрел способность воспринимать краски и очертания предметов, а вместе с ними и жестокость окружающего мира. Сначала, еще не придя в себя от перенесенного потрясения, Эрни подумал, что Бог покинул все предметы и поэтому они стали бесцветными и бесформенными, как халаты, брошенные в больничном коридоре. Но потом он понял, что просто-напросто видит предметы такими, какие они есть на самом деле, потому что душа больше не обманывает его зрение. И тогда он решил перестать разговаривать с этим безжалостным миром, хотя язык у него не был поврежден. «Может, он еще не совсем проснулся», — послышался голос Мордехая. Над единственным глазом Эрни поплыло огромное лицо Муттер Юдифи, и с каждой ресницы посыпались прозрачные брильянты слез.

— Ты проснулся, мой ангел?

Вместо ответа Эрни открыл и снова закрыл единственное веко...

Так продолжалось бесчисленное количество дней и ночей. Слова не могли выйти из отверстия, проделанного в гипсе над ртом, потому что Эрни удерживал их на языке. Только по ночам среди похрапывания и стонов соседей он молил Бога, чтобы тот сменил правительство. Но его молитвы услышала дежурная сестра, чем немедленно воспользовались жители этого света, чтобы мучить Эрни. Поэтому он перестал двигать языком и по ночам. Однажды Муттер Юдифь была особенно невыносима. Но когда он увидел, как печально опустила она голову, пробираясь между белыми койками, и как странно подрагивают у нее плечи, он почувствовал, что из глаза у него выкатилась капля и просочилась под гипсовую маску.

Вечером прошлое нахлынуло на Эрни, как взбесившаяся река в половодье: она уносила с собой вырванные деревья, детские колыбели, разбухшие животы мертвых животных, силуэты на крышах, Ильзу, стоящую на плоту, который гнали какие-то кривляющиеся чудовища. И среди всех этих остатков кора-

блекрушения вертелся, как щепка, Ноев ковчег с семейством Леви. Обитатели ковчега воздевали руки к Богу, а Бог взирал на все это, и взгляд его был непостижим. Хаос все плыл и плыл вниз по течению, но никто его не замечал. Соседи по палате беседовали о жизни, которую они вели до того, как попали в больницу, или о жизни, которую собирались вести после выписки, словно имели гарантию, что река за больничными стенами любезно остановится, чтобы их подождать. Никто не видел, что река течет под кроватями, унося в своем медлительном и неумолимом течении всю больницу. Над кроватью напротив Эрни увидел две таблички, висевшие одна над другой. На фаянсовой было написано большими красивыми буквами: «Фонд Ротшильда», а на картонной: «Для евреев и собак». Но никогда больные не упоминали о кусочке желтого картона, висевшего у них над кроватью. Они говорили о лавках, которые нужно спасти или бросить, о руках и ногах, о печени и легких, о желудках, которые нужно лечить или удалять, о визах в Палестину, о женах и детях, об еде и о солнце и еще о тысячах других вещей, которые нужно спасти или бросить, будто река вовсе и не вздымала все это на своих черных волнах. «Осторожно!» — хотел сказать им Эрни, но не говорил, потому что смерть удерживала слова на его устах. И когда приходившие навестить его Леви не переставали обсуждать планы отъезда в Эрец-Исраэль, плакали горькими слезами и молитвенно складывали руки, он и им хотел сказать: «Будьте осторожны, вас обманывают, все совсем не так, как вы думаете, все совсем иначе...», но тут и подавно он молчал, потому что Леви страшно перепугались бы, если бы узнали, что у них под ногами вместо твердой почвы илистая река. Бедные, бедные милые смертные! Своим единственным взглядом Эрни смотрел на родных, и расстояние между ними было огромно, куда больше, чем та малая смерть самоубийством, которое разделяло их прежде; и это ужасающее расстояние постепенно запол-

нялось необъяснимой враждебностью, коренившейся в самой жалости, которую они ему внушали, несмотря на свое ослепление (а может быть, и благодаря ему).

Так же было и с Ильзой: тщетно он пытался думать о ней плохо. Порой, когда какая-нибудь косточка особенно болела, он обращался к лексикону Морица или Муттер Юдифи: «Она такая, она сякая, она не заслуживает доброго слова, Бог ее так накажет, что на ней живого места не останется» и так далее в том же духе. Но он немедленно представлял себе, как ее уносит поток, о чем она даже не догадывается, и все приговоры, которые выносило ей правосудие, уступали место ужасу перед тем, что любимая белокурая головка уплывает в общем потоке, издавая мелодичные крики. И даже, когда он просыпался ночью оттого, что вспоминал Ильзины аплодисменты, и возобновлялись его телесные и душевные муки, ничего, кроме горького сострадания, он к ней не испытывал. Потому что и Ильзу уносил поток.

Однажды барышня Блюменталь приехала навестить его со всем своим выводком маленьких Леви. Увидев Эрни, она окаменела. Только ноздри ее затрепетали, словно мушиные крылышки. Наконец, она подошла к сыну и начала гладить его загипсованные щеки, приговаривая: «Все будет хорошо, ты скоро вернешься домой, я тебе сварю суп с фарфелах...» Рука ее застыла в воздухе, и на гипсовую маску, которую она уже перед собой не видела, упала прозрачная капля. Слезы мадам Леви-мамы всегда были особенно тихи и прозрачны. Они имели свойство исчезать под первым же взглядом, поэтому Эрни видел материнское лицо только спокойным. И сейчас, когда он увидел, как упала эта лучезарная капля, он помимо своей воли заговорил.

— Все будет хорошо. — произнес он раздавленным, скрипучим голосом, которому и сам удивился.

Но он тут же пожалел о том, что открыл рот: сделав это, он как бы согласился участвовать в старой комедии.

Когда после двух лет пребывания в больнице Эрни вернулся в Штилленштадт, его никто не узнал: от Ангелочка остались только кудри.

Он еще ходил на костылях и был худ, как щепка, зато ростом оказался выше Морица. Белый неровный шрам пересекал верхнюю часть лба. Такой же шрам вздернул его правую бровь и оттянул назад веко, отчего глаз имел то скорбное, то холодно-презрительное выражение. Второй глаз сохранил прежнюю миндалевидную форму, но, по словам барышни Блюменталь (крупнейшей специалистки в этом деле), из него исчезли «чудные звездочки, помните, которые так сияли?» Отныне зрачки погрузились в беспросветную тьму. А по поводу его сухого скрипучего голоса Биньямин сказал, что он ему удивительно напоминает голос молодого человека из Галиции.

— Хуже всего то, что он молчит, — заметила Муттер Юдифь, — за три дня слова не проронил. Нет, Богу не следовало...

— Но ты только подумай, какое чудо, — перебил ее Мордехай. — Не был бы я тогда нездоров, не услышал бы я, как он упал, а не внуши ему Бог броситься из окна, он умер бы от потери крови. Опять же, если бы несмотря на то, что он еврей, его приняли бы в штилленштадскую больницу, его и в половину так хорошо не выходили бы, как в Майнце. И, наконец, если бы...

— Ой, оставь, пожалуйста, свои чудеса, — закусила удила Муттер Юдифь. — Нам жить не дают, нас преследуют, дети из окон бросаются, кости ломают, душу калечат, а он тут про свои чудеса твердит! Когда уже Бог перестанет творить с нами такие чудеса?

— Тц -тц -тц. — укоризненно сказал Мордехай. Спускавшийся в этот момент с лестницы Эрни остановился.

Количество интонаций, мелодий, оттенков, ужимок и гримас, существующих для этого дурацкого «тц-тц-тц», талмудисты насчитывают сотнями.

Мордехай попал как раз на такое «тц, тц, тц», что даже у Эрни слегка покраснели щеки.

«О, Господи, они все такие же наивные!» — подумал он пораженный и, боясь расхохотаться, тихонько поднялся в свою комнату, чтобы еще немного потренироваться в боксе, которым он недавно начал заниматься.

Как только он оставил костыли, он серьезно приступил к осуществлению замысла, родившегося у него в больнице, когда еще он лежал без движения. Нужно так натренироваться, чтобы стать защитником ковчега Леви. Леви, решил он тогда, заменят ему весь мир, от малой букашки до небесных звезд. Они такие чистые, такие нежные, такие простодушные... Они умеют только плакать, стенать и простирать руки. А вот он, Эрни, защитит их своими кулаками. Вернувшись из больницы и припомнив все виденные им когда-либо кулачные бои, он записал неясные вопросы, какие могут у него возникнуть, и, соблюдая строжайшую тайну, приступил к первому занятию по боксу, запершись в комнате на втором этаже. Вскоре он уже знал различные приемы: как выбрасывать вперед кулак, как напрягать все тело, как сделать прыжок, чтобы предупредить любой выпад противника, и так далее и так далее. По ночам он в уме повторял свои записи.

Через много месяцев, полагая, что желаемые результаты почти достигнуты, Эрни отправился провожать Якова в школу. Первое сражение прошло не совсем по правилам. Когда противник — совсем юный гитлеровец — оказался прямо напротив него и Эрни оставалось лишь сосредоточить всю силу в кулаке, тут-то враг и ударил его по лицу. Падая, Эрни

подумал, что, наверно, что-то упустил из виду. Затем, уже ни о чем не думая, он вскочил и начал орудовать не только руками, но и ногами, которые он, кстати, еще не тренировал. Он так обрадовался этой первой победе, что почувствовал жалость к удиравшему противнику.

— Твоя взяла, твоя взяла! — визжал Яков, в восторге от боксерских приемов старшего брата.

— Верно, — без всякого воодушевления сказал Эрни.

Еще через день в самый разгар сражения Эрни уголком глаза случайно заметил высокое синее небо и тут же перевел взгляд на лица нападающих. Он посмотрел им в глаза, подумал, что они такие же мальчишки, как и он, что их тоже уносит поток, что круглое око взирает и на них, и бессильно опустил руки. Та же история повторилась и в следующий раз. Издали Эрни кипел и рвался в бой, но в разгар сражения великая мысль завладевала им, и он слагал оружие. Яков продолжал жаловаться на то, что его бьют, и Эрни решил воспитать в себе ненависть к Юным гитлеровцам. Он перебирал все причины для нее, какие только у него были в прошлом и в настоящем, но вскоре понял, что если бы их было у него больше, чем звезд в небе, он все равно не научится ненавидеть. Напрасно он твердил себе, что Юные гитлеровцы не люди, что это звери с человеческим обличем. Ему даже удавалось в это поверить, но вечно какая-нибудь мелочь портила все дело: то летский взгляд, то скривившаяся губа, то уголок неба, проглянувший между противниками. Эрни прибегал ко всяким ухищрениям, чтобы воздвигнуть подпорки для ненависти. Например, провожая Якова, прищуривал глаза, чтобы все видеть, как сквозь туман, но оказалось, что расплывчатые очертания и вовсе нельзя ненавидеть.

Тревога не покидала Эрни, но особенно его беспокоила судьба утлого ковчега, которым правил дед.

Эрни мучили вспышки стыда: он считал, что предает дело всех Леви. Язык его снова прилип к гортани.

2

6 ноября 1938 года еврейский юноша Гершель Гриншпан, родителей которого выслали в Збоншинь, купил револьвер, выяснил, как им пользоваться, пошел в немецкое посольство в Париже и убил советника первого ранга Эрнста фон Рата, выбрав его в качестве искупительной жертвы. Эта новость распространилась с быстротой молнии и ударила в каждое еврейское сердце. Немецкие евреи заперлись в своих домах и обратили к небу самые душераздирающие молитвы; потом они стали ждать бури. В Штиллентадте первая группа нацистов показалась часам к пяти.

Этим вечером семья Леви сгрудилась в кухне вокруг треножной печки — последнего остатка былой роскоши. На столе уныло чадила керосиновая лампа, вывезенная когда-то из Земиоцка; в ожидании фасоли — единственного горячего блюда — малыши жадно грызли каштаны, которые Муттер Юдифь осторожно вытаскивала из горящего торфа. Усталые лица, изношенная одежда, превратившаяся в лохмотья, молчаливые от голода дети...

В дверях появился Эрни, весь в снегу и с посиневшим лицом.

— Морис, папа, дедушка, Муттер Юдифь, — спокойно сказал он и, покосившись на малышей, знаком пригласил названных им домочадцев пройти за ним в гостиную.

— А я? — спросила барышня Блюменталь.

Эрни машинально провел пальцем по розовому шраму от переносицы до виска. Он теперь легко мог сойти за молодого еврейского рабочего из Варшавы или из Белостока. Сшитая из одеяла блуза, пушок на бледном, изможденном, как у Муттер Юдифи, лице,

медлительный, сосредоточенный взгляд огромных черных глаз, лихо сдвинутый на затылок берет вместо ермолки...

— Нет, мама, — виновато улыбнулся он, — тебе нельзя, это для взрослых.

Остальные прошли в тесную комнату вслед за Эрни. Он приподнял край занавески, и все выглянули в окно. Что-то красное пылало на противоположной стороне улицы, как сигара в ночи.

— Видите, — сказал Эрни, — и там, и там — их полным-полно.

— Это по нашу душу? — спросила Муттер Юдифь.

— Ясно — по нашу. Они ждут только сигнала, — сказал Эрни. — Но я припас железные брусья.

— Зачем? — холодно спросил Мордехай. — Ни огонь, ни железо не спасут нас от руки Всевышнего. Пошли ужинать.

Все вернулись в кухню. Подслушивавшая под дверью барышня Блюменталь покраснела и отскочила в сторону. За столом было особенно тихо: разорванная чернота, повисшая в воздухе после налетевшего шквала, не располагала к беседе. Муттер Юдифь одним глазом смотрела в тарелку, а другим поглядывала на испуганных детей: лед сидел как каменный, и время от времени из этой скалы исходили звуки, подобные рокотанию грома; господин Леви-отец перебирал про себя все «за» и «против» неизвестно чего, а мадам Леви подавала на стол, отводя свои огромные страдальческие темные глаза. Малыши, чуя опасность, стали тише воды и ниже травы.

Но даже если бы сам Бог опустил к столу. Муттер Юдифь и тогда не удержалась бы от замечания.

— Ну, как вам это нравится! И стол есть, и хлеб на столе, и нож... а кусок не лезет в горло! — сказала она многозначительно.

— Что делать, — вздохнула барышня Блюменталь, и от волнения губы у нее стали тонкими. — Может, Бог сжалится над детьми?

— Бог творит свою волю, — резко оборвал ее дед, — а вот монета в пустой бутылке только и знает, что звякать!

Старик уставился на невестку таким суровым взглядом, что не оставалось сомнений, кого он подразумевает под пустой бутылкой, и сокрушенная барышня Блюменталь удалилась в свое царство у печки.

— Ой, — неожиданно вспомнила Муттер Юдифь, — мадам Вассерман сказала, что ни одна страна уже не принимает евреев. Даже в дикие страны в Африке, в Азии — я знаю? — уже не попасть. Даже они не дают нам визы. А мадам Розенберг сказала сегодня утром мадам Вишняк, что англичане впускают на Святую Землю не больше двухсот евреев в месяц. Представляете себе? Двести евреев в месяц со всего света? В одной Германии сколько несчастных евреев! А в Австрии! А сколько есть Леви! Но это еще не все! Говорят, этидушегубы пускают только богатых. На границе нужно предъявить самое меньшее тысячу фунтов! Ну, я вас спрашиваю, зачем нам виза, если...

— Там и границы-то нет — одно море. — заметил Биньямин.

— Хочешь море — пускай будет море! — взорвалась старуха. — Но стоит оно тысячу фунтов! Америка, Африка, Азия, море, не море — какая разница? Чтобы бедному еврею поехать — по морю или по суше, в Америку или в Палестину, на луну или на солнце, — нужно тысячу фунтов, и кончено! Боже мой, Боже мой, верно говорят: как бедному жениться, так и ночь коротка. Куда нам деваться, куда ехать? С детьми... Только на тот свет...

— А что, если во Францию? — спросил Биньямин без тени иронии в голосе.

— Ой, горе нам, горе! Во Франции другая история: мадам Вассерман сказала, что французы терпеть не могут немцев. Ну, вы слышали что-нибудь подобное!

— Так мы же не настоящие немцы, — в простоте

душевной сказала барышня Блюменталь. — Разве мы уже не евреи?

Тут Биньямин не выдержал и улыбнулся. Наивность жены всегда веселила его ум, чуткий ко всяким фантазиям Создателя.

— Ой, жена ты моя ненаглядная, — ответил он под смех стариков, — ты знаешь, для немцев мы только евреи, а для французов — только немцы. Ну, как тебе это нравится! Мы везде не к месту: здесь мы евреи, там немцы...

— Но бедны мы везде одинаково! — воскликнула Муттер Юдифь, которую не так-то легко было отвлечь от начатой ею темы.

— Боже мой, может, я совсем дура набитая, но я все-таки не могу понять, что же нам делать, — сказала барышня Блюменталь и сложила тонкие руки на своем, как всегда, огромном животе, словно хотела успокоить будущего ребенка.

— Подождать немного, — сказал дед.

— Кричать, — усмехнулся господин Леви-отец, — как кричали евреи в Проскурове.

— Боже мой! — завопила Муттер Юдифь. — Он еще шутит! Мы на краю гибели, а у него шутки на уме!

Тут Мордехай поднялся и, размахивая перед собой руками, как крестьянка, разгоняющая цыплят, вывел из комнаты малышей, дав Эрни свечу, чтобы он им посветил в коридоре.

Закрыв за ними дверь, он печально посмотрел на Юдифь своим тяжелым взглядом и сказал:

— Это не совсем шутка. Евреи в Проскурове кричали семь ночей подряд. Да, да. Шельнский раввин рассказывал мне, что из каждого дома в гетто несся крик, из каждого окна от первого до последнего этажа. В Проскурове орудовал казак Шельгин. Каждый вечер приводил он белогвардейцев, да покарает его Бог, и все улицы встречали его криком. Чудо же состояло в том, что бандиты приходили шесть раз по-

дряд, но каждый раз уходили из-за криков. Это известная история. — закончил он озабоченно.

Барышня Блюменталь схватилась за горло.

— А что случилось на седьмую ночь? — едва выдохнула она.

Но ни дел, ни Биньямин, очевидно, не услышали ее вопроса и уж во всяком случае не сочли уместным уточнять, что же случилось в Проскурове в конце тысяча девятьсот восемнадцатого года на седьмую ночь тех душераздирающих криков...

Наступила тишина.

— Знаете, мне действительно становится страшно, — сказала Муттер Юдифь, улыбнувшись невестке. — Я уже думаю, может, и в самом деле лучше быть немцами во Франции, чем евреями в Германии? Я, конечно, понимаю, хрен редьки не слаще, но все-таки...

Облокотившись на стол и подперев лицо ладонями, Мордехай сидел с отсутствующим видом.

— Ночь на носу, а тут эти звери бродят вокруг. А у нас дети... дети... — вдруг мрачно пробормотал он.

— Хочешь, я выйду посмотреть? — спросил Мориц.

— Нет, нет, нельзя себе позволять такой роскоши... Ах, да, — вернулся он к начатому разговору, как все старики, с трудом вспоминая, на чем остановился. — Мы, кажется, говорили о Франции. Я не знаю, нужно ли вообще бежать. Завтра успокоятся немцы, и за меч Божий возьмутся французы. Много ли мы выиграли от того, что уехали из Земиоцка? Ибо сказано: «Нечестивцы — жезл гнева Божьего, бич в их руках есть Мое негодование». Все, что происходит, есть Божье наказание. Так чего же вы хотите? Избежать Его воли? (Благословенно имя Его во веки веков, аминь). Я знаю немцев — не совсем уж они дикари, это вам не украинцы. Немцы отнимут у нас все, но не жизнь. Вот я и говорю: терпение, дети мои, молитва и терпение.

Старик вдруг замолчал и бросил на дверь горестный взгляд.

— Нет, вы только послушайте его! «Я знаю немцев, не совсем они дикари, это вам не украинцы...» — взорвалась Юдифь. — Мужчины вечно так рассуждают! Тут хоть мир перевернись вверх дном, а они себе разглагольствуют как ни в чем не бывало! — распалаясь она, стараясь заглушить в себе страх. — Вашими устами — да мед бы пить! Я, конечно, не такая умная, как ты, но провалиться мне на месте, если ты за весь вечер сказал хоть одно разумное слово. Чтоб меня холера взяла, если...

— Довольно, — оборвал Мордехай. — В такой вечер и так клясться... — оскорбленно проворчал он, теребя бороду.

Юдифь не осмелилась посмотреть ему в лицо, на котором было написано холодное еврейское отчаяние, но все же перегнулась через стол и по-матерински погладила старика по лбу.

— Ничего с ними не случится, — нежно пробормотала она, — я тебе ручаюсь. Что может случиться с детьми? Никогда больше не буду божиться, никогда! Я уже и сама жалею... Чтоб меня холера взяла, если я еще когда-нибудь стану божиться, — наивно добавила она в порыве искреннего раскаяния.

Мордехай огорченно пожал плечами.

— Божись, сколько тебе угодно, пожалуйста! — сказал он.

Он устало провел рукой по глазам и вдруг надавил на них огромными, как у дровосека, кулачищами, словно хотел спрятаться от света.

— Дети мои, — пробормотал он странным голосом, — дорогие мои дети, бывают дни, когда я и сам не понимаю, чего хочет Бог. Сколько наших женщин и детей замучено в Европе за эти тысячи лет! Нет, не Праведников, которые умирали спокойно, а простых смертных, испуганных агнцев. Зачем нужны страдания, — продолжал старик с горечью, — если они не

служат во славу Его имени? Кому нужны бесполезные муки?

Тяжело вздохнув, старый еврей опомнился:

— Но не страдания ли человек... э... гм... приносит Богу? Благословенно имя его... Благословенно...

— Дорогой мой отец,—сокрушенно перебил Биньямин. — А кто говорит, что он не приносит? Если такова Его воля... Но я вижу, что мы просто жертвы нечестивцев, и больше ничего тут нет. Скажи мне, дорогой мой отец, разве цыпленок стремится прославить Создателя? Ты же знаешь, что цыпленок не хочет родиться цыпленком, не хочет, чтоб его зарезали и съели. Вот что я думаю относительно евреев.

— Мессия... — начал Мордехай без особой уверенности.

— Ой, Мессия, Мессия, — проникновенно сказала Муттер Юдифь, мечтательно качая головой. — Наверно, ты прав, наверно, Мессия вот-вот спустится на землю. Не сегодня, так завтра... Кто это может знать? Ой, как нам нужна помощь! А если не от него, так от кого же нам ее ждать? Знаете, мои дорогие, что-то чует мое сердце...

— Может, он уже за дверью? — сказала барышня Блюменталь, и все Леви машинально обернулись к Мессии.

10 ноября 1938 года в час двадцать ночи Иозеф Гейдрих, начальник тайной полиции, сообщил телеграфно во все отделения, что «следует ожидать» антиеврейских демонстраций на территории всего Третьего Рейха. А в два часа ночи в самом центре Штилленштадта под ледяное небо взвился первый пронзительный крик. Теплый клубок мирно спавшего города размотался и выкатился на улицы, освещенные десятками факелов, сверкавших над городом, как глаза, полные ненависти. Разыгрывался ночной карнавал. Сверху над евреями была пустота

зимнего неба, а вокруг них клубилось преступление. Дома кричали, словно вели между собой какой-то адский диалог. На Ригенштрассе было светло, как днем. Будто в очистительном пламени пылали все еврейские библиотеки, какие только были на этой улице. Швейные машины, рулоны тканей и даже колыбель, приготовленная для последнего Леви, который должен был появиться на свет, — все, что находилось в мастерской Биньямина, валялось на тротуаре, все стало добычей грабителей. Биньямин, смотревший на все это через щелку в ставнях, больше всего огорчился тому, как он заявил, что среди погромщиков был его бывший заказчик.

— Дикие звери, — наставительно сказал дед.

Когда первые удары начали расшатывать дверь, Биньямин предложил прибить поперечные планки, но Мордехай только пожал плечами, и они поднялись на чердак, куда уже спряталась вся семья. Мордехай запер двери на ключ. Слабый свет падал через чердачное окно на окаменевших от ужаса Леви. У барышни Блюменталь со страху стучали зубы; малыши сбились в кучу и цеплялись за ее юбку. Муттер Юдифь, держа на руках младенца, легонько зажимала ему рот носовым платком. Шум внизу нарастал. Зазвенели разбитые стекла. Мордехай подошел к стопке священных книг и еще раз на ощупь проверил, все ли они на месте, чтоб ни одна не досталась грабителям. Эрни держал Свиток Торы, отданный на хранение семейству Леви во время пожара в синагоге. Мордехай надел филактерии на лоб и на запястье, покрылся талесом и застыл, как уснувший утес, вырисовывающийся в темноте, — только губы шевелились. Яков почувствовал, что вот-вот закричит...

— Мама, — простонал он, — мне не удержаться, я сейчас начну кричать, зажми мне, пожалуйста, рот.

Эрни разглядел, как поднялась рука барышни Блюменталь, и в этот же миг на лестнице раздался пронзительный голос, перекрывший весь остальной шум:

— Наверху! Они наверху!

Эрни положил Свиток на пол и схватил железный брус, который припас на всякий случай. Увидев это, дед подошел и ударил его по лицу.

— Ради спасения жизни потерять ее смысл?

Дверь чердака уже дрожала под ударами. За ней о чем-то торопливо переговаривались, и вдруг раздался дрожащий, умоляющий голос старого обойщика с Ригенштрассе:

— Послушайте, господин Биньямин, уж очень они разошлись. Дайте нам бросить в костер ваши священные книги, хотя бы книги, господин Биньямин...

— Только книги? — спросил Биньямин.

— Для начала только книги, — услышался издательский голос.

— Нет, нет, — снова заговорил обойщик. — Только книги. Остальное — через мой труп. Они... — Дальше его голос потерялся в общем шуме.

Мордехай наклонился, поднял железный брус, который Эрни выпустил из рук, и медленно, но удивительно ловко подошел к двери. Он распрямился, словно вырос, расправил плечи и обернулся к сгрудившемуся в темноте, стонущему семейству. Эрни заметил металлический блеск зубов и услышал странный, горький смех, прорывающийся между почти безумными словами:

— Вот уже тысячу лет, как изо дня в день христиане стараются нас убить — ха-ха! — а мы все это время изодня в день стараемся выжить — ха-ха! И нам это удастся. А знаете, почему, ягнята мои?

Он вдруг резко вернулся к двери и упер в нее железный брус. От этого рывка филактерии и талес упали на землю.

— Потому что никогда не отдаем мы своих священных книг! — вскричал он, вкладывая в свои слова необычайную силу. — Никогда! Никогда! Никогда! Скорее мы отдадим душу, — добавил он, когда под брусом со страшным грохотом треснула дверь. —

Душу вам отдадим, — закончил он, как в бреду, и в ярости его звенело последнее отчаяние.

Он вытащил брус из рассеченной двери, оперся на него, широко расставив ноги, как дровосек, уверенный в своем топоре. Потоки света хлынули через разбитую дверь, снова раздались крики, но уже на лестнице, и они стали словно бы потише. Пот, покрывавший скулы деда, заблестел у него и на усах. Потом Эрни увидел, что он катится у деда из печальных глаз.

— Какой позор... в моем возрасте... какой позор...

Эрни тем более запомнились эти минуты, что, утратив связь вещей, он сосредоточил все свое внимание на малейших подробностях. Так, например, у господина Леви-отца на самом кончике носа повисла капля настоящего пота, и она мучительно преследовала Эрни. Она пугала его, как крики на лестнице, сверкала страшнее булыжника, неожиданно брошенного в дверь, была ужаснее, чем наступившая после погрома тишина.

3

11 ноября 1938 года только в одном Бухенвальде было принято со всеми обычными формальностями более десяти тысяч евреев, и громкоговоритель вещал: «Каждого еврея, который желает повеситься, просят держать во рту записку со своим именем, чтобы его можно было опознать». А 14 ноября все семейство Леви в полном составе развернуло знамя эмиграции и с тюками в руках перешло через Кельский мост.

И еще через полтора месяца семейство Леви уже усматривало в пережитом погроме перст Божий. Что же касается Муттер Юдифи, то она усматривала не один перст, а всю руку. Для этого были некоторые основания, ибо все, что под небом именуется демократией, решило отплатить Германии той же монетой: приговор гласил, что в наказание за антисемитизм

Германии придется держать своих евреев при себе. Это мудрое решение было принято в тот момент, когда нацизм, задыхаясь от «жидовского духа», решил жидовскую эмиграцию через Гамбург. Хлынувшие в этот порт десятки тысяч немецких евреев столкнулись с непреодолимым препятствием: все без исключения демократии сказали свое слово: «Визы нет». Некоторые евреи все же успели попасть на корабли. Из чистой гуманности их не пустили ко дну: евреям было любезно разрешено умирать у причалов Лондона, Марселя, Нью-Йорка, Тель-Авива, Малакки, Сингапура, Вальпараисо и у всех других причалов, какие им только понравятся.

Поскольку демократические инструкции похоронных процедур не предусматривали, набожные немецкие евреи погребали друг друга в море как придется. Только туземцы острова Борнео, падкие до человеческих голов, разрешили предавать евреев земле, при условии, что самые красивые «бороды» они оставят себе. Знаменитый американский талмудист, которому был послан телеграфный запрос, разрубил гордиев узел, если можно так выразиться, следующим образом: «Пусть рубят — Бог, благословенно имя Его, приставит их на место».

Ковчег новейшей истории под названием «Сент-Луис» дважды обогнул земной шар, но ни разу никто и нигде не преподнес ни единого цветка его женщинам, не подарил ни единой улыбки его детям, не проронил ни единой слезы над его стариками. Демократии сдерживали свои сердечные порывы. Эта морская прогулка завершилась в том же гамбургском порту, куда корабль вернулся, дабы все путешественники могли погибнуть на родной земле. Никогда еще ни одно эмбарго не соблюдалось с таким пылким рвением. И да здравствует демократия! — воскликнули все демократии. Но тут же раздался встречный крик: «Долой демобольшеплутожидонегромонголо... кратию!» Так во гневе закричал маленький капрал и с досады приказал «немедленно принять меры против

тысяч евреев, начиная с пассажиров «Сент-Луиса». «Шокинг! Шо-о-кинг!» — завопила в ответ газета «Таймс», и британский Королевский флот в благородном стремлении научить этих недемократичных немцев правилам международного лицемерия отправил на дно маленький корабль с еврейскими детьми, скитавшийся в водах британского мандата Палестины, лишь после того, как сделал все надлежащие предупреждения.

— Значит, нацисты уже повсюду? — сказала барышня Блюменталь.

По крайней мере до мирных берегов Сены варвары не добрались. Там царил такой покой, что Леви даже испугались. Откуда могут взяться оазисы? Что же получается? Бог, значит, начертал на земном шаре демаркационные линии и повелел: здесь будут вещать ежечасно, здесь — только во время завтрака, обеда и ужина, там будут срезать головы, а дальше будет Франция. Так, что ли?

— Дурак я набитый, — сказал Биньямин.

— Почему? — осведомилась Муттер Юдифь.

— Если бы тогда в Варшаве, в двадцать первом году, я выбрал Францию, не знали бы мы ни слез, ни крови и даже не заметили бы, что нас беды миновали. И Штиленштадта со всеми его прелестями тоже не знали бы. А мне ведь подавали Францию, как райский плод на блюде. Но я сказал: нет, мне не по вкусу такая пища, мой желудок ее не принимает! Вот дурак!

— И нищеты не знали бы, — сказала барышня Блюменталь.

Биньямин только глаза раскрыл, а Мордехай улыбнулся.

— Не выбери ты Германию, ты не встретил бы молодого человека из Галиции, он не помог бы тебе устроиться в Штиленштадте, не узнала бы тебя барышня Блюменталь и не родила бы тебе самых лучших в мире детей. А теперь у нас есть все это да еще

и Франция в придачу. Благословенно имя Превечного! Аминь.

Такие разговоры велись в уютном догике парижского предместья, куда Еврейский комитет спасения расселил с грехом пополам десяток семейств. Городок назывался Монморанси, а дом — Приютом, и секретарь мэрии во что бы то ни стало хотел убедить беженцев, что в былые времена этот дом давал приют какому-то Жан-Жаку Руссо. Но даже близость душ куда более знаменитых людей, таких, как, скажем, Великий маггид из Злочева или рабби Ицхак из Дрогобыча, не помешала бы беженцам наслаждаться приятным теплом в саду под зеленой листвой, укрывавшей каменную скамью, где в любое время дня женщины трещали языками и сверкали спицами, по-еврейски тяжело вздыхая над какой-нибудь петлей или фразой.

— Что вы себе ни говорите, а я бы сгорела от стыда, если бы узнала, что на том самом месте, где мы сейчас расселись своими толстыми задами, сидел собственной персоной, например, Баал-Шем-Тов или кроткий рабби Авраам — ангельская душа, или какой-нибудь Праведник из Земиоцка, — призналась одна из кумушек.

Муттер Юдифь промолчала.

Весь этот маленький, замкнутый мир жил на субсидии, с великим трудом выхлопотанные в парижской консистории. Муттер Юдифь творила чудеса. Не было такого учреждения, где бы она не урвала свой кусок, — так искусно она кланчила, чередуя угрозы, моления и апелляции к милосердию Всевышнего и к его гневу.

— Чтоб вы-таки знали, что это вы должны меня благодарить, — говорила она, уходя. — За подаяние Бог воздаст сторицей, так что вы еще у меня в долгу, поэтому я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания.

Но чего ей стоили эти номера, знала только она. Сколько слез она пролила, прежде чем устроила Биньямина в еврейскую портновскую мастерскую!

Вскоре и Мориц начал там работать гладильщиком и помощником механика. А за ним и Эрни достиг должности посыльного: развозил на велосипеде заказы. Тут уж семья зажила в таком достатке, что ели, только когда бывали голодны. Ненасытная утроба Морица, и та утихомирилась. Вначале он с места не двигался, прежде чем не запасется хлебом, он даже за пазуху его прятал, а теперь лишь иногда надкусывал рогалик, вытащенный из кармана, и то скорей по привычке. Каждое утро под восхищенными взглядами всех домочадцев работники уходили на вокзал Монморанси и садились в пригородный поезд, пыльный и грохочущий, который французы называют драндулетом, в отличие от того, что везет вас из Энгьен-ле-Бен прямо в Город Светоч. Преимущество драндулета заключалось в том, что в нем был второй этаж, где так укачивало, что при наличии еврейского воображения вы могли чувствовать под собой волны разбушевавшегося океана. Люди поглядывали на наших трех героев, но не оскорбляли их, и, казалось, никому не хотелось плюнуть им в лицо. На обратном пути они совершенно беспрепятственно заходили в булочную — то в одну, то в другую, чтобы разнообразить удовольствие, — и покупали молочные хлебцы, которые так вкусно пахнут французской мукой и которые так приятно жевать на крыше грохочущего поезда, любуясь пейзажем, расстилающимся перед глазами, как дорогой ковер. А еще очень приятно, когда кто-нибудь из постоянных попутчиков приветливо кивнет вам головой и вы тоже ему поклонитесь — элегантно, как настоящий маркиз. В подобных случаях Биньямин крепко пожимал руки обоим сыновьям, которые его уже переросли на голову, и шептал на идиш таким тоном, словно раскрывал перед ними высшую истину:

— Дети мои, вот она, жизнь!

Иногда по воскресеньям Эрни ходил с делом на собрания парижского Объединения выходцев из Земиоцка. В те времена оно насчитывало семнадцать чле-

нов, но маленькая комната всех не вмещала, и поэтому собрания частично проходили на лестничной площадке, а частично на улице. Что касается Эрни, то, будучи там в некотором смысле сбоку припека, он дальше лестничной площадки никогда не проходил. Пока дед важно заседал в «бюро» и уже в который раз отказывался от поста председателя Объединения, Эрни вертелся среди эмигрантов, слушал разные анекдоты, истории и воспоминания о Земиоцке, который в устах его бывших жителей выглядел просто столицей. Это был настоящий город-светоч, не то что Париж — даже смешно сравнивать... Иногда речь заходила о Германии, Австрии, Чехословакии, и «катастрофа нашего века» острой иглой входила в сердце Эрни.

— Знаете что, — говорил кто-нибудь в таких случаях, — поговорим лучше о чем-нибудь веселеньком: что слышно о войне?

Эрни тоже смеялся, но игла тихонько вонзалась ему в сердце. Не думать, не думать, не видеть, и крики не слышать, говорил себе Эрни сквозь смех.

Зная, что ее ожидает, война пришла величаво, как сказочная принцесса. Однако сначала она выслала вперед своих мрачных глашатаев — легионы противозавозов. Рабочие в драндулете вешали их на плечо, как новомодные сумки с инструментами. Когда выяснилось, что обитателям Приюта не выдают эти спасательные морды, потому что у всех беженцев паспорта со свастикой (неважно, что стоит пометка «еврей»), семейству Леви стало не по себе.

— Хорошенькое дело! Поздравляю вас! — сказал Биньямин.

— Как вам нравится наш великий Создатель! — возмутилась Муттер Юдифь. — Это называется править миром?

— Не рот у тебя, а бездонная яма, — заметил

Мордехай. — И слишком часто ты из нее выбрасываешь огонь, пламя, серу и смолу!

Но когда начались странные визиты, тайная слежка, завуалированные допросы и прочие прелести, Мордехаю пришлось согласиться, что в глазах государства, стоящего на пороге войны, кроткие Леви из Штилленштадта выглядят врагами. В августе появились первые угрожающие плакаты: «Будьте бдительны — враг вас подслушивает». В драндулете уже никто не здоровался с тремя иностранными рабочими. Пошли сплетни, шушуканья... Слово «интернирование» уже вертелось у всех на языке, но пока еще никто не решался произнести его вслух. В одно прекрасное утро трое пассажиров-иностранцев, войдя в драндулет, увидели, что в нем творится что-то неладное. Газеты так и ходили по рукам. Началась война.

На Северном вокзале Эрни почувствовал легкую дурноту. Мориц вызвался проводить его домой, но «больной» заупрямился и остался сидеть в бистро. Однако едва брат с отцом вышли и силуэты их, недолго помаячив в серо-синей толпе рабочих из предместий, окончательно скрылись из виду. Эрни встал из-за столика. Взгляд еще оставался затуманенным, но тело вдруг напряглось, и движения стали уверенными. Спустя полчаса он уже вошел в оживленную казарму Рейи и занял место в очереди добровольцев всех национальностей.

— Вам повезло, — сказал сержант-майор, — вы как раз подходите по возрасту.

— Действительно, редкое везение, — сказал Эрни.

— Вы уверены, что хотите быть санитаром? Если так, то вам не дадут в руки винтовку.

— Знаю, — ответил Эрни. — Что ж, тем хуже.

— Дело ваше. На каком инструменте играете? —

спросил сержант-майор, продолжая держать перо над розовым бланком.

«Хочет шутить — пожалуйста», — подумал Эрни.

— На барабане, — ответил он, натянуто улыбаясь.

— Ничего смешного нет. Следующий! — выкрикнул сержант-майор.

На улице какая-то старушка приколотла Эрни на грудь военный значок. Он смущенно поблагодарил и хотел было уйти, но она задержала его за рукав:

— С вас франк двадцать пять сантимов за Наполеоновский значок.

Утром он приехал в Монморанси. Секретарь мериши широко раскрыл глаза, но странную просьбу славного новобранца удовлетворил. Не желая случайно кого-нибудь встретить, Эрни прошел пешком две мили до Энгiena. Пестрели знамена на домах, неслись воинственные мелодии из раскрытых окон — патриотический карнавал был в полном разгаре. В бесконечном небе гуляли белые тучки, сжеживая свое молоко на мирные домики, застигнутые войной. Какая-то девочка захлопала при виде Эрни, и он вспомнил о трехцветной ленточке на груди. «Посмотрим, что за штука иметь Родину», — подумал он. В поезде, мчащемся в столицу, Эрни обступили пассажиры. Какая-то дама, увидев через плечо соседа потухшее лицо Эрни, взвизгнула:

— И не разберешь, этот на фронт или с фронта!

Кто-то на нее шикнул, и она замолчала. Эрни улыбнулся.

Зайдя снова в бистро напротив Северного вокзала, он сел за тот же самый столик, где так недавно мысленно прощался с отцом и братом.

Он потрогал столик, которого касались короткие толстые пальцы Морица. Хозяйка принесла ему бумагу с ручкой и сказала:

— Ну, что, фронтовик, подружке перед отъездом пишем?

— А как же, военному иначе нельзя, верно? — сказал Эрни не то с немецким, не то с еврейским акцентом.

Он принялся писать, но, увидев, какие корявые

буквы выходят из-под дрожащего пера, разорвал начатое письмо. Совладав со своей рукой, он начал писать снова, но опять безуспешно: мысли разбежались в разные стороны. Пришлось начинать в третий раз. Аккуратно выводя каждую букву и старательно подавляя в себе каждый душевный порыв, он, наконец, написал свое послание: «Дорогие папа и мама, дорогие дедушка и бабушка, дорогие братья и сестрички. Вот я снова вас огорчаю... Когда вы получите это письмо, я уже буду во французской казарме. Не спрашивайте, как это получилось, не задавайте никаких вопросов. Мориц и папа знают, что утром у меня закружилась голова. Когда мне стало лучше, я решил немного пройтись и случайно попал в казарму. Там и пришла мне в голову эта безумная мысль. А потом было уже поздно. Напрасно умолял я генерала вернуть мне мое заявление — документ уже был подписан. Конечно, это безумие, поэтому задавать вопросы бесполезно: что может сказать человек, совершивший безумный поступок? Не волнуйтесь. Вы прекрасно знаете, что я вас всех люблю и мне больно с вами расставаться. Не говорите: «Эрни нас не любил». Я думаю, что решил пойти на фронт, потому что хочу рассчитаться за все, что немцы со мной сделали. Но ты, дедушка, не волнуйся: я всегда буду помнить, что передо мной люди. Кстати, я записался в санитары, так что буду носить не винтовку, а людей. Не забудьте вернуть мадемуазель Голде Фишер томик стихов Бялика. Извинитесь перед ней за меня: на тридцать восьмой странице я случайно загнул уголок. Теперь, дорогой дедушка, несколько слов тебе лично. Я знаю, сколько страданий причинил вам, начиная с той самой истории с дочкой лавочника. Но мне часто кажется, что не столько во мне зла, сколько бед я натворил. Послушайте, давайте лучше поговорим о чем-нибудь веселеньком: что слышно о войне? Извините меня за эту шутку — иногда полезно хоть немножко посмеяться. Крепко-крепко об-

нимаю вас и еще раз прошу прощения. Ваш любящий сын, внук и брат Эрни.

P.S. В этом конверте вы найдете восемь сертификатов, подписанных секретарем мэрии. У каждого из вас будет доказательство, что его сын или внук или брат пошел добровольцем во французскую армию, а значит, и каждый из вас тем самым стал немножко французом. Смотрите, не потеряйте их, чтобы вас не отправили в концентрационный лагерь. Хоть один раз да послужит зло во благо. Все равно безумный шаг уже сделан и изменить ничего нельзя, так пусть хоть с вами ничего не случится. Пусть я хоть немножко искуплю свою вину перед вами за то страдание, которое причинил вам сегодня. Ничего больше сделать я не могу — документ уже подписан. Любящий вас Эрни».

4

Уже через день после не слишком блистательного вступления в ряды французской армии Эрни трезво оценил свое положение в 429-м пехотном полку, сформированном из иностранцев. Сержанты родом из Дрездена и Берлина бросали на него раздраженные взгляды, а лейтенант, сучковатый, как виноградная лоза в его родной Бургундии, грубо предупредил своих подчиненных, что чужакам не удастся его провести, прикрывшись трехцветным знаменем: пусть лучше как следует держат строй и вообще казарма лишается увольнительных до следующего распоряжения.

По примеру колониальных войск 429 иностранный пехотный полк в полном порядке отправился на поле брани. В перерывах между боями Эрни стойчески бил в барабан в полковом оркестре. Не все музыканты были санитарями, как он понял, но все санитары обязательно играли на каком-либо инструменте. Этим странным маем сорокового года на Арденс-

кий фронт к Эрни пришло известие о том, что его сестры, братья, родители, бабушка, Муттер Юдифь — словом, вся семья интернирована. Сосед из Парижа сообщил. Он очень красочно описал, как это было тягостно и печально.

Тем более, продолжал он, что это была чистая игра случая. По правде говоря, нужно было выполнить постановление, а тут как раз под руку попало семейство Леви. Эрни, однако, должен согласиться, что по логике вещей хоть немецкие евреи и остаются евреями, они все же не перестают быть немцами, а по французскому обычаю, и т.д. и т.д. Потом пришло письмо от отца. Не столь рассудительное. О лагере в Гюре упоминалось очень сдержанно, но Эрни по логике вещей из него заключил, что иногда французские обычаи не уступают немецким традициям. Поэтому он вполне согласился с последней фразой господина Леви-отца, гласившей: «Невозможно быть евреем».

Письмо из Гюра необычайно заинтересовало капитана, который любил вскрывать корреспонденцию своих иностранных подчиненных.

— Либо это шифровка, либо это по-китайски! — заявил он, отчаявшись что-либо понять.

— Это не шифровка и не по-китайски, а на иврите, господин капитан, — ответил Эрни как ни в чем не бывало.

Капитан диву дался, засыпал Эрни вопросами и, наконец, сказал, что письмо требует перевода. К счастью, в подразделении у Росиньоля оказался свой еврей. Его нашли, и он в основном подтвердил содержание, изложенное самим Эрни.

— Однако, господин майор, — уточнил второй ивритоязычный солдат, — тут есть один пункт, один маленький пунктик...

— Не может быть маленьких пунктиков, когда речь идет об интересах Франции! Говорите все, солдат! — торжественно воскликнул офицер.

— Видите ли, господин генерал, — с волнением

начал ивритоязычный солдат. — Слово «хемда» лучше переводить не как «деликатность», а как...

Яркая речь капитана, блиставшая исконными французскими словами, положила конец этим лингвистическим откровениям.

В общем все дело кончилось бы пустой формальностью, если бы офицеру не пришла в голову поразительная мысль. Сначала он дал одному солдату неделю гауптвахты, другому — две, а потом задумался. Что ж получается? Все семейство капрала Леви «изолировано», а сам Эрни Леви носит форму? Ерунда какая-то! Ничего подобного в истории Франции не было! Что же теперь делать? Арестовать солдата Леви немедленно? Или совсем не арестовывать? Не в силах справиться со столь сложной задачей, он решил передать дело в вышестоящие инстанции, тем более, что оно принимало государственный оборот.

Послали нарочного. Он помчался во весь опор: сначала он удивлялся, потом стал беспокоиться, потом пришел в ужас. Да и как не ужасаться, если вышних инстанций уже нет. На всякий случай он захватил дневального из генерального штаба — тот пытался удрать на велосипеде. Ведя за собой дневального и велосипед, нарочный вернулся в батальон, а там уже и майора нет. Он в роту — нет и капитана.

Продолжение следует читать в книгах по истории Франции. Однако в них вы не найдете описания того, как Эрни Леви (которого передали на попечение батальонному адъютанту, который торжественно его принял от господина юнкера, который, в свою очередь, получил его от капитана) спускался вниз по иерархической лестнице до тех пор, пока не попал в руки к старшине, который мог бы хоть какому-нибудь поляку его передать, но позорно исчез, так и не сделав этого.

Поэтому Эрни, недолго думая, принял решение. Зная, что неподалеку укрыт прекрасный велосипед, он сообразил, что если к этому виду транспорта до-

бавить немного провизии. то останется лишь найти попутчика.

Однако его ивритоязычный однополчанин после гротельных приветствий произнес перед Эрни целую речь:

— Сударь, слова бессильны выразить, как глубоко меня тронуло ваше предложение, ибо я чувствую, что оно сделано не только единоверцу, но и мне лично. Позвольте же заверить вас в моей искренней благо-
"арности, но...

— Что еще за «но»? — прошептал Эрни, напуганный столь пышным вступлением больше, чем приближающейся канонадой.

— Но, учитывая, что, кроме вас, в этом батальоне я остаюсь единственным представителем Моисеева вероисповедания, мне представляется совершенно необходимым поступить так, чтобы у неевреев не сложилось впечатления, будто сыны Израилевы их покинули.

— Но в батальоне никого из французов не осталось! — закричал Эрни, окончательно выведенный из терпения.

— Остался я! — сказал второй ивритоязычный солдат. — Я живу во Франции с 1926 года и вот-вот получу французское подданство.

Эрни горько улыбнулся.

— Ладно, давайте получать его вместе. Вместе получим, вместе и подохнем, если вам так угодно. Предсмертную молитву знаете?

— Знаю, но...

— И я знаю, — прошептал Эрни.

— Не будьте пораженцем, — сказал второй ивритоязычный солдат. — Человек слабее мухи, но крепче железа. Завтра солдаты Вердена, Ватерлоо, Вальми, Рокура, Мариньяна...

Назавтра нацисты прорвались по всей линии Арденского фронта, бросив на него лавину танков.

В 429 пехотном полку личного состава осталось не больше, чем на роту, а французских офицеров и того меньше. Полк выбрал себе командный состав в лице трех ветеранов Интернациональной бригады. На торжественной церемонии каждый выпил по стакану водки. Второй ивритоязычный солдат снова привел Эрни в изумление: он поднимал свой тощий кулак выше всех, прямо к небу, и лицо его выражало крайнее довольство собой и ближними. Новоиспеченный командир-испанец закончил свою мрачную речь, в которой слышалось давнее отчаяние, так:

— Компаньерос... товарищи... Среди вас есть гарибальдийцы, австрийские социалисты, немецкие коммунисты, испанские анархисты, евреи, беженцы со всей Европы. Много лет подряд мы отступаем. Мы катимся от границы к границе. Франция была последним оплотом, но сегодня предана и она. Французы, как стадо баранов, отходят к морю. Мы знаем, что такое предательство и с чем его едят. Товарищи бывшие коммунисты, присутствующие здесь, насытились им по горло, читая Молотовский пакт. Компаньерос, не для того я это говорю, чтобы возвращаться к старым распрям. Скоро я отдам концы, но пусть душа у меня будет легкая. Я хочу вам сказать только одно: нам некуда отступать, некуда эмигрировать. Франция была последним рубежом. Кто дрожит за свою шкуру — свободен. Остальным в порядке шуток я скажу, как говорят у нас в Каталонии: пока храбрец не умер, он живой. А тем, кто сражался за Республику, я напомним слова Долорес Ибаррури — Пассионарии... — И тут этого маленького мрачного человека с морщинистым, как ореховая скорлупа, лицом затрясло от смеха. — Ай, я-яй! Теперь эти слова — хи-хи-хи! — вся наша революционная стратегия и тактика... Хо-хо-хо!

— Так что же она все-таки сказала? — слышались недовольные голоса.

Маленький испанец, призвав на помощь всю свою серьезность, с трудом выговорил:

— Друзья мои, в Мадриде Пассионария нам сказала, что лучше жить на коленях... нет, не так... лучше жить стоя... опять не так... А! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях! — убежденно вскричал он.

Пятьдесят человек единодушно подхватили этот призыв, а захмелевший от воодушевления второй ивритоязычный солдат заплакал на виду у всех.

Потом началось ожидание. Эрни лежал в канаве рядом со своей винтовкой и думал. Мысль о лагере в Гюре не переставала терзать его сердце, и он снова и снова удивлялся тому, что в этом мире нет здравого смысла...

... Дед скрепя сердце молчал, а потом приводил готовую цитату из Талмуда. Менее притязательный отец довольствовался легендами и сказками, которые он подбирал там и сям, как плоды, упавшие с могучего древа еврейской мудрости. И сейчас Эрни вспоминал иронические интонации господина Леви-отца... Его чуткие, нервные пальцы, так ловко орудовавшие иглой... его кроличью мордочку в очках...

— Послушайте, братья... — Маленький раввин из местечка объяснял совершенство всего земного. — Скажите на милость, зачем, я вас спрашиваю, Всевышнему, благословенно имя Его, зачем Ему было создавать плохое творение? Для того, ягнята мои, земля и круглая, чтобы солнце могло тихо-мирно вращаться вокруг нее. А солнце круглое, чтобы его лучи светили всему миру и, заметьте, без исключения, чтоб не обделить ни медведей на севере, ни негров на юге. А возьмите луну! Подумаешь, важность какая — луна! Так чтобы вы знали, что и луна, хоть она не всегда круглая, тоже совершенна! Послушайте же, братья...

— А лук? — спросил какой-то ребенок.

— Лук тоже, — ответил маленький раввин.

— А редиска с маслом? — спросил другой ребенок.

— И редиска с маслом. Но главное, заметьте, что после Него, благословенно Его имя, самое совершен-

ное создание — человек! Человек, ягнята мои, человек...

— Рабби, а как же я? — выкрикнул маленький горбун.

Раввин быстро думал.

— Послушай, птенчик мой, сердце мое, — пробормотал он с едва уловимым упреком в голосе, — вот что: для горбуна ты самый совершенный горбун! Понимаешь?

... Для горбуна — ты самый совершенный горбун...

Сладостно-горькое утешение этой философии вдруг опротивело Эрни. Да, мир тащит на себе фантастически-огромный болезненный горб, но шутить над этим неприлично. О самом себе Эрни знал твердо: Всевышний, благословенно имя Его отныне и вовек, снабдил его прозрачной и холодной оболочкой, которая, покрыв его тело и душу, отражает все: и белую больничную палату, и яркие пожары погромов, и нежно-голубос небо парижского предместья, и эту тихую зарю, папахивающую кровью, и прозрачный воздух, исколотый крохотными юнкерсами...

Несколькими часами позже его память запечатлела ослепительный конец второго ивритоязычного солдата, которому пуля попала в то место, где, согласно книге Зохар, находится третий глаз, или центральный глаз внутреннего зрения. Последнее определение, очевидно, точнее, судя по тому, что, попадая между обычных глаз, пуля гасит всякое сознание, и «благородное, как солнце, и чистое, как свет, и наивное, как детство». Память запечатлела также похороны второго ивритоязычного солдата. Его опускали в могилу, чудом вырытую снарядом. Согласно обряду, на нем были филактерии и черно-белый талес, словно надетый для молитвы о Всепрощении. А еще запечатлела память не менее блистательное исчезновение с лица земли 429 пехотного полка: чисто кельтское поспешное отступление, частично на боевых ко-

нях Провидения, частично на вышеупомянутом велосипеде; захоронение человеческого обрубка на краю дороги Шалон-сюр-Саон; последние почести, возданные ребенку, лежащему вниз лицом под косым, как свет на итальянских картинах, шквалом, несущимся с неба; офицера в желтых перчатках, удирающего на велосипеде, который сказал ему по-братски: «Друг мой, положение безнадежное, но не серьезное»; объявление о капитуляции французской армии; знакомство с вечно голубым небом Ривьеры; объявление о том, что Франция отдает половину самой себя победителю и таким путем начинает обучаться искусству распада, и, наконец, объявление о том, что всех интернированных в лагере Гюр Франция выдает нацистам и сама обеспечивает средства транспортировки в лагеря уничтожения.

Хоть и укрытый своей оболочкой, Эрни счел, что последний пункт переполнил чашу, и тогда ему во второй раз пришла в голову счастливая мысль повеситься. Поспешим добавить, что он свой замысел не осуществил. «И почему он решил повеситься? И если уже решил, то почему не повесился?» Действительно любопытные вопросы. Однако поскольку мы ограничены местом, уточним лишь, что впоследствии Эрни не мог простить себе того, что не повесился.

5

Во время приступа головокружения Эрни обратился к своим умершим близким такие слова:

— Отец, мать, сестры и братья, дедушка, Муттер Юдифь! Зачем, потеряв вас, я остался в живых, почему не погиб вместе с вами? Если потому, что такова была воля Всевышнего, Бога нашего, то я проклиная имя Его и плюю Ему в лицо. А если во всем следует видеть силы природы, как меня учили в 429 полку, то я прошу у нее милости: пусть немедленно превратит меня в тварь. Ибо, любимые мои, Эрни без

Леви — все равно что растение без света. Вот почему, с вашего разрешения, я сделаю все, что в человеческих силах, чтобы стать собакой. И еще прошу вас, дорогие родители, считать это обращение к вам моим последним прощанием.

Заметим мимоходом, что, как бы назло Эрни, бесподобное средиземноморское солнце осенью обладает способностью придавать жизни особую ценность.

«Ну-ка, брат, поглядим, как нам стать собакой в этих краях», — сказал себе вскоре Эрни Леви и начал приспособляться к новой форме существования, согласно той логике, которая не преминет предстать перед читателем.

Из новаторских экспериментов Тарда стало известно, что подражание есть по крайней мере вторая натура, если не вся ее суть. В свете этих идей, если считать доказанным, что все разнообразие способов воспринимать жизнь, обрывать лепестки розы или разделять цыпленка определяется границами биологической среды, нетрудно понять, что при желании утратить человеческий облик Эрни следовало лишь всей душой усвоить собачье поведение, распространенное в данной среде.

Для начала покойный Эрни Леви решил, что имя у него может оставаться прежним — Эрнест, а самой подходящей фамилией будет для него Помесь. Как определение это слово одинаково оскорбительно и для человека, и для собаки, вот он и возьмет его себе в качестве фамилии.

Однако раз уж ты решил креститься, то нужно выполнить соответствующий обряд. Раньше, когда он еще был Леви, он был обрезан; теперь он решил возместить эту тайную ересь усами самой католической формы. Частично воздав Риму должное таким своеобразным способом, он нашел, что усы, не уравновешенные бородой, выглядят как-то нелепо, прямо-таки фривольно и несколько не придают ему сходства с собакой. А его тяжелая, степенная походка

стала такой вертлявой, какую и раз в сто лет не встретишь среди польских евреев, даже крещеных. Украшенный этими новыми атрибутами, в августе 41 года, спустя три месяца после обращения в собачий род, покойный Эрни Леви вошел в бистро «Старый порт» в Марселе — этот город стал его пристанищем. Его появление вызвало смех. Несмотря на дикую жару, на нем была старая, подпоясанная веревкой шинель — вся в заплатках, обтрепанная и замызганная, как шерсть у шелудивого пса. Воротник был заколот английской булавкой, пилотка едва держалась на грязной пакле волос, усатая песья морда была опущена, словно он высматривал на полу обглоданную кость, чтобы погрызть ее где-нибудь в уголке. Пошатываясь от голода, он подошел к прилавку и попросил стакан воды. Официант, толстый красномордый весельчак, к великому удовольствию посетителей, сначала заявил, что не укрывает в своем заведении ни капли этого опасного «снадобья», а затем предложил бродяге полстакана красного вина, но, видя, что тот не берет, ткнул его носом в стакан. Послышалось бульканье. Официант пришел в восторг, запрокинул бедняге голову и стал лить вино в горло. Две красные струйки покатались по складкам рта, стекли на подбородок и оттуда — на голую шею Эрни. Увлечшись этой забавой, кто-то из посетителей стукнул бродягу по спине, чтобы «лучше проходило», и все вино выплеснулось Эрни в лицо.

— Ну, хватит! — раздался голос из зала.

Официант почтительно застыл. Эрни утерся рукавом и увидел эlegantного мужчину с черными завитыми волосами, стоявшего спиной к столику, за которым веселая компания мужчин и женщин пила аперетив.

— Господин Марио, — раздался у Эрни над ухом дрожащий голос официанта, — мы же не хотели ничего худого.

— Святая дева, — сказал мужчина нараспев, — я зверею, когда вижу тебя, свинья ты толстая...

Затем, подойдя к Эрни медленной величавой походкой, он сказал:

— Ну, что, армия, голодаем? Не можешь, что ли, дать этой сволочи по морде? Ох, и красавец же ты! Да уж, с такими героями войну не выиграешь! Выпей с нами, а? Тут все бывшие вояки велосипедных частей. Кроме девиц. Блох на тебе хоть нет?

Часом позже причесанный, отмытый, наряженный в двухцветную рубашку Эрни оживленно участвовал в дружеском банкете на втором этаже захудалого ресторана. Господин Марио проникся к бродяге особой симпатией, заметив у него на руке розовый след, оставшийся после попытки самоубийства. Потом точно такой же след Эрни увидел на правой руке господина Марио: тот был левшой. Но, поглощенный едой, Эрни об этом не задумался. А господин Марио не спускал с него глаз.

— Ты слушай. Поешь, потом подожди, потом попей, потом опорожнись, если можешь, не то у тебя брюхо лопнет. Уж я-то все прошел, все знаю... — доверительно говорил господин Марио, наклоняясь к Эрни.

Друзья господина Марио, видимо, отмечали получение большого куша. Сначала они стеснялись гостя, но потом завели откровенный разговор о торговле; о сигаретах, кожах, молочных продуктах и медикаментах. Постепенно мужчины начали расстегивать пояса, а женщины — визгливо хихикать. Мелани то и дело спускалась и поднималась по лестнице, ведущей прямо в кухню. Она была совсем молоденькой, но держалась очень достойно, и Эрни никак не мог понять, почему каждый раз, когда она проходила мимо, даже бдительные взгляды жен не могли помешать мужчинам заигрывать с официанткой довольно грубым образом, пуская в ход руки. Она же высоко держала голову над подносом и, казалось, ничего не замечала. Все это ужасно развеселило Эрни, и, захлебываясь пьяным смехом, он начал изображать собаку.

Сначала он стал рычать над своей тарелкой, на которой остались только кости, затем грохнулся на пол, поднялся на четвереньки и под дикий хохот собутыльников запрыгал вокруг стола. Одна левица бросила ему кость, которую он немедленно стал грызть по-собачьи.

Взрыв хохота сотряс зал. Женщины корчились от смеха. Наконец, подбежав на четвереньках к Мелани, Эрни попытался ухватить зубами какой-нибудь лакомый кусочек ее тела. Прижавшись к стене, официантка защищала свои богатства, взывая к его добрым чувствам. Снова сплошной хохот. Наконец, Эрни, вняв ее увещаниям, стал «служить» и с громким лаем легонько ушипнул Мелани за щеку. Но ощутив пальцами нежность человеческого лица, он с криком «Мелани!» отскочил назад, словно обжег руку. Хохот прекратился только тогда, когда все увидели, что Эрни прыгает вокруг стола в каком-то иступлении и пьяные слезы катятся у него по щекам. А он все завывал, как над могилой, и лаял, лаял без конца...

«Ветераны», как они себя иронически называли, часто собирались в домике, выходящем окнами на доки. Компания состояла примерно из десятка молодых мужчин, которых странно объединил военный разгром и тайный стыд бесславно побежденных. «Нас продали»,—говорили одни и приводили доказательства. «Мы были слабы и наивны»,—возражали другие, склонные взвалить вину на провидение. «Мы оказались трусами»,—уточняли третьи, преимущественно беглые пленные. Последние пили больше остальных, стараясь забыть то, чему ни предательство, ни слабость, ни наивность не могли служить оправданием. Эти, казалось, только и ждали возможности еще раз себя проявить. Черный рынок, покрывая приятной позолотой все эти переживания, делал их по крайней мере выносимыми. Встретившись с этими людьми, Эрни открыл в себе талант кассира и «универсальное чутье». Но уважением он пользовал-

ся в первую очередь за способность пить просто холодную воду и есть сырое мясо. И хотя эта способность кое-кого шокировала, «сыроедение» превратилось в цирковой номер: мясо с кровью, сгустки крови, кровяную колбасу всех сортов Эрни уплетал так, что за ушами трещало. Непредубежденных зрителей охватывал страх.

— У тебя кровь из глаз уже сочится, — сказал ему однажды его странный покровитель. — Ты что же, ничего другого не любишь?

— Это ведь только кровь животных, господин Марио, — извинился Эрни.

— Ну, ну, я ведь для твоей же пользы...

Евреи не режут животных сами — для этого есть резник, который действует по ритуальным законам тысячелетней давности. Кровь, составляющая основу жизни, выпускается при забое вся, до последней капли, затем ее собирают в канавку и забрасывают землей. В этом символическом погребении курицы, утки или теленка выражается уважение ко всем живым творениям Создателя. Не желая преступать законы иудаизма, Эрни в армии перешел на вегетарианскую пищу, отчего он похудел и ослаб. Теперь же, толстый, добродушный, прожорливый, он напоминал героя Рабле. Он отрастил себе огромное жирное брюхо — «бриош», как его называют французы и за форму и за то, что он придает добродушный вид. Подходило ли это название к брюху Эрни? Справедливости ради, об этом лучше умолчать. В самом деле, бриош — благоприобретенное дополнение к плоти — накапливается постепенно и в гармоничном сочетании с розовым цветом щек, с округлостью линий и с веселым видом... Меж тем, если хорошенько присмотреться к лицу Эрни, то можно было заметить, что оно осталось болезненно худым и в глазах не светились ни веселье, ни душевный покой. Некоторые очевидцы (на чьи свидетельства мы полностью не полагаемся) утверждали, что «чем больше рос бриош покойного Эрни, тем худее становилось его

лицо». А сотрапезники как-то даже упрекнули его в том, что он жует пищу механически и без всякого удовольствия. И как это может быть, спрашивали они себя, чтобы при такой возбуждающей пище ни одна частица жизненной энергии не уходила в любовь? Действительно, несмотря на свой возраст, несомненную физическую силу и непомерный аппетит, покойный Эрни Леви, казалось, тщательно избегал «сентиментальной» стороны жизни.

Но так только казалось: в сердце покойного Эрни уже поселилась страсть. В тот роковой вечер, протрезвев странным образом еще во время банкета, он обнаружил, что стоит ему закрыть глаза, как на указательном и на большом пальцах он чувствует какую-то необычайную гладкость. То ли на них перешло что-то нежное с лица Мелани, то ли они стали такими гладкими оттого, что он потерял их об ее щеку. И хотя он оставался «собакой», все же когда на следующий день он проснулся, то почувствовал, что опять что-то творится в мире. А задавшись вопросом, что именно, сразу же вспомнил о нежном глянце на лице Мелани, перешедшем к нему на пальцы. Он тут же их вытер, чтобы избавиться от этого напоминания о ее существовании, но тщетно: пальцы помнили. Отныне, куда бы он ни шел, чтобы ни делал, даже когда все считали, что он душой и телом предается кутежам, он не мог удержаться, чтобы время от времени не погладить лицо Мелани, которое ощущал у себя под пальцами. Через несколько дней он увидел ее снова, и ему показалось, что она преобразилась: трудолюбивая пчелка теперь излучала свет. Она тоже почувствовала в нем перемену и начала оказывать ему всяческие знаки внимания, которые могут обмануть лишь равнодушный взгляд. Однако, не на шутку обеспокоенный, Эрни испытывал самого себя. Он подозревал, что даже самая низменная любовь способна задеть воображение и увлечь собаку на опасный путь. Но чем больше он себя испытывал, тем выше карабкалось по руке

странное томление, тем упорнее распускало оно свои нити и ткало из них пелену, которая, обволакивая Эрни, дрожала при малейшем дуновении ветра. при малейшем движении. Так продолжалось много месяцев. и, когда тоска по нежному лицу Мелани добралась до плеча, затопила всю грудь и заставила колотиться сердце, Эрни с ужасом понял, что влюблен в эту девицу.

Опасаясь худшего, он решил как можно скорее оказать внимание какой-нибудь уличной девке. Но, когда она вышла из темного угла, его вдруг растрогал ее усталый вид, а когда они оказались в ее жалкой лачуге и она начала приветливо болтать, а жесткий свет голой лампочки обрисовал ее черты. — сумасшедший юноша почувствовал в груди душераздирающую боль.

— Простите меня, мадам проститутка, — сказал он с сильным иностранным акцентом. — я передумал. Получите, пожалуйста, деньги и отпустите меня.

— Что с тобой? Ты болен? У тебя случилось несчастье? Может, я тебе не нравлюсь? Вон какие у тебя печальные глаза. Ты не здешний?

— Несчастье у меня случиться уже не может, — сказал Эрни.

— Ну, просто неприятность?

Эрни уселся на кровать и, помолчав немного, начал рассказывать историю своей жизни. Покончив с семьей в Марселе, он перешел к дедушке с бабушкой в Тулоне и к многочисленным знакомым в Ниме, словом, рассказал все подробности, благодаря которым общество должно его зачислить в категорию людей.

— А вы? — спросил он наконец.

Она тоже вначале помолчала, а затем придумала себе одного ребенка, потом другого, потом прибавила к ним старенькую мать, без которой не обходится ни одна чувствительная история. Потом она начала шутить и с кокетливой гримаской погасила

свет, изображая любовную стыдливость. И даже подвергая несчастного безумца последним унижениям, она не переставала болтать.

На улице он пришел в себя и немедленно почувствовал новую, еще более жгучую нежность, из чего заключил, что вне всяких сомнений влюблен в проститутку — во всяком случае гораздо больше, чем в Мелани, которая отошла на задний план, а если говорить правду, то от нее и вовсе ничего не осталось, кроме мурашек в пальцах. От новой истомы у него даже ноги вспотели. На террасе кафе его пыл несколько утих. Он уселся за столик и увидел рядом с собой уличную девку из негритянской части квартала. Ее высокая прическа с позолоченными роговыми гребнями казалась вытканной из черного шелка, а лицо — выточенным из заморского дерева. Вся прежняя нежность, сразу же оказавшаяся ненастоящей, немедленно исчезла вместе со лживыми мурашками, уступив место гораздо более странному упоению, которое на сей раз ушло в глаза, и он понял, что эта черная девушка внушила ему любовь навеки. Потом не менее окончательно его сердце пленила другая девица, белая, как молоко, которая плыла по тротуару, как корабль, распустив паруса. Потом еще одна, и еще одна, и еще, и еще. Шли дни; он перестал пить и есть, бродил как неприкаянный по улицам, а навстречу ему плыли лица и, как звезды в ночи, сверкали глаза. Наконец, он решил как можно скорее покинуть город. «Потому что, — говорил он себе в бреду, — стоит собаке хоть раз предаться любви, как она перестанет интересоваться пищей, ударится в трезвость, откажется от дневного сна, а там уж и до мечтаний недолго, и стихи захочется писать... Только ступи на этот скользкий путь — разве знаешь, где остановишься? Поди, не одна собака начала свое падение с любовной истории, не придав ей вовремя должного значения».

Всю зиму 1942 года Эрни скитался по Ронской долине, а навстречу ему неслись лютые в это время года мистралы. Их ночные завывания странным образом смешивались с мрачными пронзительными ветрами, гулявшими в его мозгу. За время пребывания в Марселе он набрался сил и теперь легко находил работу в попутных деревнях, откуда мужчин угнали в немецкие лагеря. Все это время он был, как в омуте. Вызывал в себе самые низменные инстинкты, иногда дрался, как скотина, словом, старался, хоть и не совсем осознанно, не впустить ни капли света в тот черный омут, в котором пребывал. Однажды он случайно увидел себя в зеркале и не без удовольствия отметил, что его прежнее лицо словно бы осталось в Марселе. Каждая отдельная часть — нос, рот, глаза, уши выглядели обычно, но они вместе не составляли человеческого лица; они существовали порознь. Покойный Эрни подозревал, что ему было бы все равно, если бы уши у него сидели на месте глаз, а глаза, например, под носом.

На рождество он застрял на хуторе, которым управляла жена хозяина, попавшего в плен. Она держала в ежовых рукавицах всех, кого выбросило за борт гитлеровское нашествие и кто случайно прибил к хутору. Когда женщина слишком слаба, чтобы управлять своей судьбой, и слишком требовательна, чтобы ей покориться, то тонкость ее чувств нередко превращается в коварство. С тех пор, как муж попал в плен, мадам Трошю чувствовала себя существом независимым и даже свободным. Регулярно отправляя посылки в Германию, она спала с каждым новым работником в ожидании своего повелителя, которого она теперь сумела бы прибрать к рукам, если бы только он не успел до этого ее убить. Типичная жительница Прованса с черными, как виноградины, глазами и жестким ртом, она казалась странной помесью огня со льдом. С первого же

взгляда Эрни решил, что уж она-то не внушит ему никаких мечтаний, а посему смотрел ей в глаза без малейшего опасения; тут-то она и влюбилась. Поглощая кровавое мясо, он упустил бесценное время. Наконец, она приказала, и он подчинился.

Поскольку покойный Эрни Леви совершенно не любил фермершу, он в наказание себе проявлял с ней геркулесову страсть, орудие которой она не очень-то рассматривала. Душой она была столь скромна, неприязнительна, что в любви искала лишь конкретных ее доказательств. Только бы они повторялись почаще. Ее прозвали Обжорой. Излишне объяснять, что поскольку покойный Эрни Леви исправно удовлетворял требования своей ненасытной кобылицы, а она ничего другого и не хотела, то между ними ничего другого и не было, кроме приказов с ее стороны и исполнений — с его. Не будем на этом останавливаться. Это настолько обычные вещи, что о них не стоит говорить.

— Еще немножко почек, миленок? — спрашивала прекрасная дама. — Или перчику? Может, молоденьких фазанчиков? Знаешь, как это полезно для твоего стручка, мой сладенький!

Покойный Эрни ничего не отвечал и раскрывал рот только, чтобы жевать. Лишь иногда, охваченный задумчивостью и тоской, он прикидывал, какое мясо больше подходит истинно собачьей породе (а следовательно, и ему): сырое, вяленое или просто вареное.

В остальном же он был ухожен, обстиран, накормлен, почитаем в деревне и ублажен в постели: словом, он был, что называется, счастливым смертным, по определению, существующему с самых древних времен. Более того, его влюбленная благодетельница сама решила избавить его не только от работ в поле, дабы он не переутомлялся, но и от неприятной необходимости вставать с постели, когда ему, скажем, хотелось выпить просто холодной воды.

— Посмотри на гусей! — восклицала она. — С них и бери пример!

В ответ на это покойный Эрни Леви послушно становился на четвереньки и ковылял на птичий двор. Там он здоровался со своим собратом — петухом, рывшимся в навозе, приветствовал своих сородичей — гусей, гогочущих в клетке, бросал завистливый взгляд на очередного каплуна и, наконец, подбирался к свинарнику, который чем-то его завораживал, но вызывал такую мучительную ненависть, что покойный Эрни в ярости плевал в рыло нечистой твари.

В тот вечер ему приснился странный сон. Он будто держит, как обычно, в своих объятиях рыжую собаку и, как обычно, поражается тому, какое огромное наслаждение испытывает его любовница. Конечно, человеческого облика ей не дано, говорил он себе, но по сути она умница. Доказательством служит огромная радость, которая ее охватывает.

Но в тот момент, когда, как говорится в книге Зохар, «все видимые предметы умирают, чтобы возродиться невидимыми», собака превращается в великолепную кошку, которая, сверкая в ночи горящими глазами, вызывает у него желание и втягивает в любовную пляску. Так почему же из-за какой превратности судьбы в момент, о котором говорится в книге Зохар, кошка становится крысой, затем тараканом, затем слизняком и так до тех пор, пока не сливается с ним в живое амебовидное месиво и в пьяном восторге теряется в бесконечности?

Хотя фермерша всегда ценила любовные достоинства Эрни достаточно высоко, она прониклась к нему новым уважением, когда он ее заверил, что испытывает сожаление при мысли о том человеке, постелью и женой которого он пользуется. Ох, какой же он развратник, думала она почтительно. Долго и упорно добивалась она, чтобы он признался, что он развратник, но, поскольку хитрец наотрез отказывался, уважение фермерши лишь возрастало.

Не хотел он признаваться и в том, что вовсе он не

из Бордо (как значилось в фальшивом удостоверении личности, выданном на имя Эрнеста Помесь). Поэтому его выраженный «эльзасский» акцент наводил фермершу на мысль, что он бежал из плена. Когда же она любопытствовала относительно некоторой интимной подробности, то ей стало ясно, что он иудей. Однако рьяная сторонница высокой религиозной терпимости, она слова ему не сказала о своем открытии, тем более, что эта интимная подробность была даже пикантной. С детства еще она мечтала свратить обрезанного. В приходской школе кюре как-то имел неосторожность употребить слово «обрезание», и маленькая Дюмулен начала хихикать. Она находилась под сильным влиянием своего отца — школьного учителя, который в отместку за то, что не мог помешать религиозной жене ходить в церковь, посылал нерелигиозную дочку в приходскую школу, чтобы она там мешала кюре на уроках. Ученицы приходской школы собрались на тайное сборище, чтобы обсудить вопрос об обрезании. Мадмуазель Дюмулен объяснила, со слов отца, что обычай требует от евреев, которые первыми стали верить в единого Бога, чтобы они приносили Ему в жертву кусочек своей кожи. А священники, которые стали верить в единого Бога уже после евреев, не хотят отстать от последних. Но поскольку священники страшные неженки, то они выстригают себе лишь кружок волос на макушке.

Убежденный атеист, господин Дюмулен называл евреев не иначе как иудеями. Он в глубине души считал, что слово «еврей» иезуиты выдумали назло франк-масонам. Все это привело к последствиям. досадным для покойного Эрни Леви, которому пришлось расстаться со своим беспечным существованием. Однажды, когда он отдыхал после обеда в алькове, прибежала его фермерша с пылающим лицом и повела такую речь:

— Ты меня обманул: ты еврей!

— А ты что, не догадывалась?

— Я знала, что ты иудей, потому что... ну, словом, я это знала. Но я только что разговаривала с господином секретарем мэрии, и он меня заверил, что иудеи — те же евреи.

— Возможно. А в чем действительно разница?

— В чем разница? — заорала оскорбленная фермерша. — Ты как себе представляешь, могу я спать с евреем в постели моего Пьера? И еврей этот может сидеть в его кресле и носить его костюмы и рубашки? Ну, нет! Это уж слишком!

— Ладно, — сказал покойный Эрни и поднялся.

— Куда ты?

— Я ухожу.

— Это еще почему? Я тебе устрою хорошую постель в сарае.

— Ну, а с остальным как же? — забеспокоился сумасшедший.

— Ах, ты про это! Что ж, нужно соблюдать осторожность, а то знаешь, что будет, если мой бедный Пьер (она всегда добавляла «бедный», желая этим выразить и свое горе по поводу того, что муж находится в плену, и странное сочувствие, которое испытывала к нему оттого, что его обманывала), если мой бедный Пьер узнает, что мы... что я... Нет, нет, теперь будет это самое в конюшне. И потом. — добавила она вдруг, — уж очень ты привольно себя чувствуешь в последнее время. Теперь я тебя приберу к рукам. И масла надо мазать на хлеб поменьше, ну, и все такое прочее.

— А если я не захочу?

— Неужто?! — сказала она насмешливо.

— Ладно, — согласился сумасшедший, и жизнь потекла по-прежнему.

Мистраль утих. На землю сошло тепло. Даже оливковые деревья уже не мучились, и иногда по вечерам казалось, будто все живое радуется под мирным небом. По воскресеньям Эрни ходил в деревню, тупо слушал мессу, потом задумчиво пил анисовку, смотрел, как живые существа играют в шары в тени

церковных ворот, снова пил анисовку... Как-то раз один из игроков бросил на него такой взгляд, что Эрни побледнел. Это был деревенский кузнец, вернувшийся из плена. Он катил шар, не сгибаясь, потому что осколок гранаты так и застрял у него в спине. Потом Эрни увидел его в кузнице. По молчаливому согласию, оба не касались вопроса о том, какими судьбами они очутились в одной деревне. У кузнеца было лицо типичного северянина, но по-ужному горячие и быстрые глаза. Он был рослый, длинноногий; огромные ручищи болтались в такт его шагам, словно помогая ему сохранять равновесие. Видно было, что он с такими руками не родился: это со временем они стали мощными орудиями труда и покрылись толстой серой кожей, изъеденной припоем, под которой угадывались мускулы и жилы, мощные, как у борзой. Глядя, с какой точностью действуют эти машины, Эрни думал, что, наверно, значительная часть ума у кузнеца ушла в пальцы. Поэтому уважение, которое Эрни питал к этим рукам, возросло от визита к визиту.

Кузнец никогда не задавал таких вопросов, которые заставляли бы вас возводить нагромождения небылиц, хрупкие, как карточные домики. Его, казалось, интересует только будущее. Лишь изредка, не глядя на собеседника, ронял он многозначительные фразы такого типа: «Знаешь, парень, есть вещи, которые нам кажутся вечными. Мистраль, к примеру, зарядил на всю неделю, а потом, глядишь, в одно прекрасное утро — и солнце выходит. Понимаешь?» После подобных изречений он приглашал Эрни выпить «глоток» анисовки. Они входили в кузницу (три ступеньки вниз), и украшенная лентами толстуха приносила кувшин свежего напитка. Она тоже никогда не спрашивала Эрни о прошлом, словно между ней и мужем был такой уговор. Когда дети возвращались из школы, Эрни часто оставляли на обед. Дети тоже избегали даже самых невинных вопросов. Они лишь старались развлечь сумасшедшего, кото-

рого временами вдруг покидало безумие, и, как при вспышке молнии, он видел перед собой этот немислимый мир, эту Францию, о которой он и не подозревал, простую и добрую, как хлеб. И хотя он боялся (пусть неосознанно), что от этих встреч ослабнут цепи, сковывающие его ум, удержаться от тяги к опасному источнику света он тоже не мог.

— Послушайте, — сказал он однажды своему приятелю, — почему-то мне кажется, что не то вы меня знаете, не то еще что-то... С самого первого дня...

Кузнец ответил не сразу.

— Вот что, парень, — тихо сказал он наконец, не поднимая глаз от наковальни, — не знал я тебя раньше, можешь мне поверить. Просто я сразу же увидел, что ты еврей.

— Но я не еврей! — в испуге закричал Эрни.

Кузнец опустил молот на наковальню, подошел к молодому еврею и положил свои тяжелые руки ему на плечи.

— Я, значит, похож на еврея, — сказал Эрни мелодичным голосом, который так легко вышел у него из горла, будто он вновь вспомнил забытый мотив.

И тут заговорил кузнец.

— Не знаю, — сказал он, — на кого похож еврей. По моему разумению, люди как люди. В нашем лагере были евреи, но я это сообразил уже потом, когда фрицы их увели. Только вот что. Когда шел я из плена, я сделал крюк. Мне нужно было попасть в Дранси. Друга моего убили, а жена его там живет, недалеко от Парижа. Рано поутру немецкие машины прогнали всех с дороги на тротуар, и мы увидели, как мимо нас на полной скорости промчался автобус с еврейскими детьми. У всех были звезды нашиты. Рожицы к окнам прилипли и смотрели на нас... а ноготками они все скребли и скребли стекла, будто выйти хотели... Лиц различить я не мог, но у всех были такие глаза, каких я прежде никогда не видел и не приведи Господь увидеть снова. Так вот, парень, не там на шарах, а еще в церкви, когда лица твоего мне не

удалось разглядеть, глаза я узнал сразу. Понимаешь?

— Вот оно что! — сказал Эрни, пораженный в самое сердце.

Он поднялся и, шатаясь, вышел. На улице ему слышался крик. Он звенел не в ушах, как когда-то, а словно издалека, потому что его приглушала плотная собачья оболочка, которую Эрни изо всех сил пытался удержать, но которая уже начала размягчаться. Он дошел до тропинки, ведущей к хутору Трошю. Его обступили цветущие миндальные деревья. Раньше он любил ходить по этой тропинке. Но теперь он ее не замечал: крики так усилились, что пришлось заткнуть уши. Он узнал крик леда, затем крик Муттер Юдифи. И тогда ему показалось, что он очнулся от долгого-долгого сна, и он спросил себя, в своем ли он уме. От этого вопроса он почувствовал удушье и схватился за горло. Фермерша решила, что он заболел.

Он ушел в сарай, лег и зарылся в солому, чтобы не слышать криков. Несколько раз он выходил подышать ночным воздухом Прованса. Наконец, он уснул, но и сон не помог — просто крики теперь раздавались внутри него. Ему снилось, что он собака и бежит по улицам большого города, а прохожие удивленно показывают на него: «Смотрите! Собака с еврейскими глазами!» Он и не знал, что началась охота, а со всех сторон уже сбежались люди с сетями в руках, и сети заволокли все небо. Он укрылся в подвале и уже считал себя в безопасности, когда за дверьми слышались голоса преследователей, которые требовали, чтобы он им отдал хотя бы глаза. Глаза? Странно. И вдруг он заорал во все горло:

— Мы никогда не отдаем наших глаз! Никогда! Никогда! Никогда! Лучше мы отдадим нашу душу! У-у-у!..

Эрни Леви оделся в темноте и вышел из сарая. Весь хутор утонул в черной ночи. Он уже было открыл калитку, но раздумал и подошел к дому. Сначала послышался мужской голос, а затем испуганный крик мадам Трошю.

— Я пришел попрощаться с вами, — сказал Эрни через дверь.

Зажегся свет. Рассерженная мадам Трошю открыла дверь.

— Чего уходить: ночью, как вор?

Она стояла, наброшив вышитый красными цветами халатик, и через ее плечо Эрни увидел на своем бывшем месте голый торс какого-то мужчины. Знакомая картина: пышно убранная дубовая кровать, на потолке зеленый круг от абажура, комнатные туфли (не раз вставлял он в них лихорадочно дрожавшие ноги), приторный запах сплетенных тел: комната до конца никогда не проветривалась. Но теперь ему показалось, что все это отошло от него и плывет перед глазами, как мертвая рыба. Мадам Трошю тоже выглядела совсем другой. Не была она ни красивой, ни уродливой (когда-то он все думал, какое определение к ней подходит). Она просто бесцельно плыла по течению.

— Я хотел сказать тебе до свидания, — повторил он. — Думал, нехорошо уйти, не попрощавшись.

При звуке его нежного голоса она задрожала, прижала руки к голой груди и неожиданно закричала:

— Господи, что я натворила!

Она в отчаянии ломала руки.

— Ну, ну, перестань плакать, — сказал Эрни.

Он шагнул в спальню и подошел к фермерше, которая окаменела от непонятного ему горя.

— Вы же знаете, у такой красавицы, как вы, недостатка в мужчинах не будет, верно?

— Дитя! Малое дитя! — закричала она, не отводя от Эрни широко раскрытых глаз.

Больше она не проронила ни слова — только ломала руки. Эрни боязливо отступил к дверям. Обер-

нувшись в последнюю минуту, он улыбнулся на прощанье, но женщина лишь беззвучно шевелила губами.

На лесистой тропинке, спускавшейся в деревню, ему снова показалось, что он что-то забыл на хуторе, только не знал, что.

— Паршивая собака, — вдруг прошептал он.

Усевшись посреди темной дороги, где блуждали неясные тени, будто вышедшие из всей его жизни, он, по еврейскому обычаю, в знак унижения посыпал голову землей.

Этого ему показалось мало.

Он начал бить себя по лицу. Вскоре ему почудилось, что тот, кому он наносит пощечины, хоть и есть он сам, но какой-то другой, и получалось, что он бьет не себя. Поэтому он не удовлетворился и побоями.

Тогда он стал царапать левую руку правой и наоборот, чтобы ни одной не было пощады. Но все время рождалась третья рука.

Тогда он попытался вспомнить все способы унижения, к каким только прибегали его предки. И он назвал имя Бога. И он не увидел ничего, перед чем можно унижить себя. И он вызвал образы своих родных. Но родные уже давно умерли и ничем не могли ему помочь.

Тогда он застыл и сидел, не шевелясь, без слез. Потом он наклонился, поднял камень, разодрал им щеку, и только когда почувствовал боль, из глаз выкатилась слеза, за ней другая и третья... И когда он прижался щекой к земле, и когда обнаружил в себе источник слез, который считал навсегда пересохшим с тех самых пор, как услышал Ильзины три хлопка, и когда почувствовал, что покойный Эрни Леви восстал из мертвых, — только тогда его сердце тихонько раскрылось навстречу прежнему свету.

ЖЕНИТЬБА ЭРНИ ЛЕВИ

1

Марэ, старинный район Парижа, где когда-то жили маркизы, давно уже стал, наверно, самым запущенным местом в городе. Поэтому в нем было еврейское гетто. Шестиконечные звезды во всех витринах напоминали христианам, что здесь нужно быть настороже. Такие же звезды и на груди у торопливых прохожих, которые робкими тенями мелькают под домами; только это матерчатые звезды, размером с морскую звезду; они нашиты с левой стороны, у сердца, и в центре каждой из них клеймо, как фабричная марка: «Еврей». У детей звезды той же величины, что и у взрослых, отметил Эрни; они как будто пожирают хилую грудь, впиваясь в нее своими шестью лучами, как щупальцами. Эрни смотрел на этот клейменный мелкий скот и не верил своим глазам. Над каждой головой ему чудился нимб ужаса. В дальнейшем он убедился, что глаза его не обманывают.

Улица Экуфф, где находилось Объединение, показала ему самой «живописной» во всем Марэ, а дом, в котором оно помещалось, — самым покосившимся и печальным.

С бьющимся сердцем, охваченный любопытством и щемящей тоской, какую иногда вызывает дышащая на ладан лестница, постучался он в узкую дверь на шестом этаже. Открыл маленький старик. Через его плечо Эрни увидел еще троих таких же маленьких стариков, выстроившихся, как на смотре. Хозяин чуть сдвинул ермолку вперед и вернул ее на положенное место.

— Проходите, пожалуйста, — пробормотал он.

Его тонкий голос и чопорные манеры напомнили Эрни слащавую вежливость Биньямина.

Закрыв за Эрни дверь, хозяин шагнул к нему, едва заметно поклонился и протянул руку.

— Добрый день, месье, — сказал он.

Остальные три старика по очереди повторили приветствие. У всех четверых были одинаковые бородки клином, одинаково глубоко запавшие глаза и одинаково высокие еврейские лбы. Однако первый старик был покультурнее, судя по тому, как безупречно произнес он это «месье», которое никак не давалось остальным: один сказал «мосье», другой — «мусьи», а третий и вовсе проямлил «мисью».

Хозяин дома сдержанно представил их гостью: «Мосье» оказался заместителем председателя Объединения, «Мусьи» — генеральным секретарем и «Мисью» — казначеем.

— А вот председатель, — поднеся руку к сердцу, сказал хозяин о себе в третьем лице, словно стесняясь произнести спесивое «я».

Пока происходила церемония взаимных представлений, Эрни окинул взглядом парижское Объединение выходцев из Земиоцка. Клетушка метра два длиной, окошко во двор, кувшин, таз, швейная машина, на ней неоконченная работа, полка с книгами — штук пятьдесят — ивритские, французские, немецкие, русские, кажется, на идиш тоже есть; крохотный стол, крохотный стенной шкаф, стул, кровать, спиртовка в углу, на ней кастрюля, прикрытая тарелкой. Все идеально прибрано, все блестит, все пропитано стариковским запахом.

— Простите, месье, могу ли я осведомиться о цели вашего визита? — спросил председатель совсем тоненьким от волнения голосом: его беспокоило, что Эрни молчит.

— Да, да, — только и смог выдавить из себя сконфуженный Эрни, которому было совестно, что он свалился, как снег на голову.

— Говорите, говорите, не стесняйтесь. — грустно улыбнулся председатель. — Вы, разумеется, пришли нас арестовать, я верно догадываюсь? — спросил он все с той же печальной и понимающей улыбкой в блестящих глазах.

— О! — выдохнул Эрни.

— Не смущайтесь, месье, мы к этому готовы. — продолжал председатель, не отводя скорбного взгляда от Эрни. — мы вас ждем...

Он осторожно ногой указал на четыре узелка на полу недалеко от дверей.

— Перестаньте, я вас умоляю. — сказал Эрни на идиш и, выдержав испытующий взгляд блестящих глаз, добавил: — Я внук Мордехая Леви. Дедушка водил меня сюда перед войной. И... и... перестаньте, я вас умоляю... — разрыдался он.

Немедленно все четверо заговорили разом, и если до сих пор их сдерживало присутствие Эрни, то теперь голоса у них стали такими пронзительными, какие бывают только у детей и у стариков. К этому нестройному жалобному хору прибавился и танец: они воздевали руки, ломали пальцы, раскачивались взад и вперед, устремляли взоры к небу, словно оно было совсем близко, и проливали скупые старческие слезы, которые не сразу скатываются с век, а скатившись, сразу же тонут в морщинах.

Когда первая волна возбуждения спала, все четверо разом вернулись к Эрни. Танцы теперь происходили вокруг него: каждый старался как можно лучше засвидетельствовать свое глубочайшее почтение потомку Леви, как можно больше оказать ему внимание. Хозяин дома вытащил из кармана носовой платок, тщательно обтер им единственный стул, очевидно, предназначенный для предметов культа, положил на него шелковую подушечку и долго упрашивал Эрни оказать ему честь и сесть на нее. Эрни опять смахнул слезу. Хозяин наклонился к нему, потечески потрепал по щеке и, горько улыбаясь, прошептал:

— Вы должны нас понять, это же не жизнь, а сплошной страх.

Заместитель председателя достал из металлической коробки примятую сигарету и преподнес ее Эрни на вытянутой руке, как бесценное приношение. Генеральный секретарь раскрыл пакетик пастилы. Наконец, засеменил к Эрни и казначей. Он посмотрел Эрни прямо в глаза, схватил его руку своими узловатыми пальцами и на словах «Мисью, мисью» разрыдался.

Тут только Эрни заметил, что все четверо олеты немножко как нищие. На Мисью были разные ботинки. А еще Эрни показалось, что четыре желтые звезды, неумело пришитые крупными стежками к лоснящимся от времени кафтанам, летят ввысь, изяшно порхая, как легкие, беззащитные бабочки.

Эрни сел на подушечку, а четыре маленьких старика — на край кровати.

— Мы не знали, — начал председатель, стараясь, чтоб Эрни чувствовал себя свободно, — нам и в голову не приходило, что у вашего отца есть тридцатилетний сын. До войны я, конечно, был не председателем, а всего лишь помощником казначея... сегодняя даже должности такой нет... А скоро настанет день, когда и самого Объединения не будет... оно растает, как свеча. Сначала, надеюсь, не станет меня, потом другого, потом третьего и четвертого... И что уже тогда будет иметь значение, я вас спрашиваю... «Мертвая плоть ножа не чувствует».

Эрни провел рукой по глазам.

— Что вы такое говорите! У моего отца нет тридцатилетнего сына, — прошептал он словно самому себе.

— А сколько же вам? — закричали все четверо.

Эрни улыбнулся, видя, как они оживились. Совсем как дети, подумал он не очень-то почтительно.

— Мне самому иногда кажется, что больше тысячи, — сказал он, все еще улыбаясь, — но по подсче-

там моего отца, да упокоит Бог его душу, мне только двадцать.

Взволнованный председатель озабоченно посмотрел на него, потом обернулся к остальным и начал с ними спорить по-польски, а Эрни старался вежливо не прислушиваться.

— Вы, значит, удрали из *их* ада? — обратились все старики к гостю.

— Я пришел из неоккупированной зоны, — не колеблясь ответил Эрни. — Сегодня утром. Про какой ад вы говорите?

— Так вы, значит, не оттуда? — спросил председатель, снова вглядываясь в Эрни, будто читая на его лице страшную историю.

— Боже мой! Он не оттуда! — эхом откликнулся генеральный секретарь.

— Откуда же он? — еле выдохнул Мисью.

Председатель по-прежнему стоял, наклонясь к Эрни, и из его выцветших, не то серых, не то зеленых глаз (трудно бывает разобрать цвет старинных предметов, покрытых от времени зеленоватым налетом) сочилась жалость. И, наверно, потому, что он стоял так близко, Эрни показалось, будто он видит, как в глазах председателя шевелится мысль. Вот она маленькой рыбкой всколыхнула серые воды старческих глаз и всплыла на поверхность.

— Так вы, значит, будете Эрни? — тихонько высказал председатель свою догадку.

Эрни удивленно кивнул. Он плакал от стыда.

— Ах, вот как! — сказал проникновенно председатель. — Дедушка часто о вас рассказывал. Он всегда приходил по воскресеньям на утренние заседания; что вам сказать, это был настоящий... еврей. Я, извините, помню, как он рассказывал о своем внуке, я хочу сказать, о сыне своего сына. Ах, как он о нем рассказывал! Будто не сомневался, что тот призван стать Праведником. Нет, не Праведником из рода Леви, говорил он, а настоящим, неузнанным Праведником, безутешной душой, одним из тех, кого Бог и

пальцем приласкать не смеет. Теперь все это так далеко... верно? Дитя мое дорогое, может, это нескромно с моей стороны, но скажите, зачем вы вернулись? Зачем вам быть среди нас в этом кошмаре? Вы, наверно, не знали, что здесь творится? Рассказывают такое, что волосы дыбом становятся...

— Я все знаю, все, что только можно знать, — сказал Эрни. — Кто читал подпольные листовки, кто слушал запрещенные радиопередачи... Но то, что люди говорят... о чем они шепчутся... в голове не укладывается. Они и сами в это не верят.

— А вы верите? — вздохнул председатель.

Эрни, видимо, очень смутился.

— Так почему же вы вернулись?

— Вот этого я как раз и не знаю, — сказал юноша.

— Очень плохо, что вы это сделали, — начал председатель. — В Париже жизнь теперь короче детской распашонки. А вы такой молодой, такой сильный, у вас вся жизнь впереди. И вы совсем не похожи на еврея. Даже удивительно, как вы не похожи на еврея. Я вам точно говорю. Даже нельзя понять, на кого вы похожи! — воскликнул он. Вглядевшись в изуродованное лицо Эрни, он взял себя в руки и продолжал безразличным тоном: — Нет, в самом деле, дитя мое, вы ни на кого не похожи. Неужели тот кудрявый мальчик, который приходил со старым Леви, это были вы? Ничего не говорите, ни о чем не вспоминайте, не надо... Зачем? Все это было давным-давно, в другом мире... Если бы я не знал, что с тех пор не прошло и трех лет... Подумать только, что это были вы... — Он удивленно развел руками. — Нет, нет, не отвечайте мне, я вас умоляю, ничего не отвечайте, не надо. Я в глубине души не хочу знать, что творится в тех адских местах, о которых рассказывают и о которых не рассказывают. Как видно, дитя мое, я не Праведник, я не выношу никакого ада. О, Боже! — вдруг воскликнул он и отвернулся от гостя, словно не в силах дольше переносить его вида. — О, Боже, — повторил он, прикрывая морщинистое лицо маленькими

руками, — когда же Ты перестанешь испепелять нас своим взглядом, когда уже дашь нам передохнуть? Всевышний Отец наш, когда же простишь Ты нам наши грехи, когда забудешь наши бесчинства? Скоро мы превратимся в прах, Ты будешь звать своих евреев, но...

— Тц-тц-тц, — укоризненно перебил его казначей.

— ...но нас уже не будет, — докончил все-таки председатель парижского Объединения выходя из Земиоцка.

Все на него яростно набросились, а казначей даже ущипнул за локоть.

— Ты что, как тебе не стыдно? Тоже мне Иов нашелся! Да еще перед Леви.

При звуке этого магического имени все четверо смиренно застыли на краю кровати — один, скрепив руки, другие, смущенно теребя бороды. Председатель опустил глаза.

— Мы тут ссоримся, грыземся, — промямлил он, не смея взглянуть на гостя, — как старые сварливые еврейки. Так мы ими и стали! А все потому, что живем вчетвером в такой комнатухе! Двое спят на кровати, а двое на матрасе, который мы на ночь выкладываем на пол...

— По очереди, — вставил казначей.

— ...и, может быть, достопочтенный Леви понимает, что когда люди вынуждены жить в таких условиях, — продолжал председатель, еще больше смущаясь, — так появляется ненужная фамильярность, о чем мы сами и жалеем...

— Особенно я, — убежденно сказал генеральный секретарь.

Эрни Леви ерзал на стуле, не зная, куда деться от стыда: эти загнанные существа сделали его высшим судьей, а он не мог найти слов, которые вернули бы им их достоинство, а его самого не возвысили бы из его ничтожества.

— Кто я такой, — сказал он, наконец, — чтобы

мой взгляд смущал таких благородных старейшин, как вы? Если бы вы только знали...

— Слыхали? Старейшин! — воодушевленно закричал казначей, весь просияв. — Ой, эти Леви! Все на один лад!

— Мед и молоко под языком твоим!

— Если будешь толочь Леви пестом в ступе между крупую, кротость его не отделится от него. Старейшины! Боже мой... — тихо произнес председатель, все еще не осмеливаясь взглянуть на Эрни. — Дитя мое, дорогое мое дитя, вы видите, что мы остались в живых? Так это не одно чудо, а все четыре. Если бы не чудо, вы и следа не нашли бы от нашего дорогого Объединения. Ну, и что бы вы тогда делали?

— Действительно, что бы я тогда делал? — сказал Эрни, улыбаясь.

— Как это так...

— Не спрашивайте! Не задавайте вопросов Леви! — взвизгнул казначей. — Не мешайте ему илти своей дорогой: он ее знает сердцем. Помните, как у нас говорили? Не надо толкать пьяного — сам упадет. Не надо толкать Леви — сам вознесется, хи-хи-хи!

— Оставайтесь с нами, — сказал председатель, глядя в пол. — По правде говоря, комната эта — ничья. Когда-то тут было Объединение, потом мы из нее сделали себе убежище... Конечно, они могут прийти в любую минуту: завтра, сегодня — когда угодно, но пока они не пришли — это ваш дом. Ну, как договорились? Значит, мы вас усыновили. Прекрасно! Замечательно! Лучше быть не может!

— Но я...

— А, — перебил казначей, — мы, наверно, слишком стары для вас, да? Конечно, не очень-то весело быть среди старых хрычей, я вас понимаю. Но, знаете, когда-то в Объединении бывали и молодые. Боже мой! Помню, был такой год, когда мы приняли двадцать семь членов в парижском районе! Трудно представить себе...

— А балы... — начал генеральный секретарь, но казначей не дал ему закончить.

— Ой, какие были балы! — взволнованно взвизгнул он. — Я хорошо помню балы на Новый год. Разве сейчас в это можно поверить? Мы их устраивали в Бельвиле: скромные семейные балы, не такие сумасшедшие, как в больших городах, скажем, в Варшаве или в Лодзи, или в Белостоке, или, не знаю где еще. Но как бы мало народу ни было, поскольку жителей Земиоцка знают и любят во всей еврейской Польше...

— Дурень ты старый, — сухо заметил председатель.

Казначей бросил на него гневный взгляд, но тут же поправился:

— Ой, извиняюсь, я хотел сказать, з н а л и и л ю б и л и во всей еврейской Польше. Потому что если верить рассказам, так там уже некого любить и некому любить...

Тут, наконец, председатель поднял голову. Щемящая тоска дрожала в его глазах.

— Ну, как, принимаете наше предложение?

— Для меня это... большое счастье.

Просеменив вокруг стола, председатель начал шелестеть бумагами у гостя за спиной. Позже Эрни заметил в стене шкафчик и в нем архив Объединения. Председатель вернулся к столу, положил на него черную папку со списками и, перелистывая их, начал тихонько делиться своими воспоминаниями:

— Понимаете, до войны я жил у сына. Чудная квартира с мастерской и с магазином готового платья. Так представьте себе, они меня оставили. Решили как-нибудь перебраться в неоккупированную зону. В молодости я перешел не одну границу, но больше я не хочу удирать, с меня хватит. Так я остался в их квартире. Пусть себе идут с миром. Консьержка сначала забрала машины, потом мебель, потом посуду, а потом и саму квартиру, но меня не выдала. Вот и остались старые книги, старые бумаги и я. Знаете,

Бог забавляется. Нет, пожалуй, я сделал эту запись в 1938 году... Так и есть. Посмотрите: Мордехай Леви, Сена-и-Уаза, Монморанси, улица Приюта, дом 37. Значит, я вас записываю рядом? Прекрасно! Замечательно! Лучше быть не может!

— Только вам нужно поскорее нашить звезду, — вмешался обеспокоенный казначей.

— С удовольствием, — сказал Эрни.

2

Эрни поражался тому, что жители Марэ никогда не утрачивали своего тяготения к Богу. На крохотном островке среди потока смерти, который неизбежно должен был их поглотить, они продолжали страстно протягивать руки к небу и цепляться за него всей силой своего благочестия, мук и набожного отчаяния. Каждый день в сетях облавы оставался богатый улов: родители, друзья, соседи по площадке или по двору, живые существа из плоти и крови, с которыми только вчера еще вы разговаривали... Но маленькие синагоги на улицах Руа-де-Сисиль или Розье, или Паве не пустели. Четыре старика регулярно водили туда своего гостя, чтобы он участвовал в их пламенных молениях. Иногда у выхода их поджидали молодые люди с дубинками в руках, украшенные геральдическими лилиями; на губах у них блуждала утонченно-саркастическая улыбка.

— Теперь все время так, — охали старики, семена под стенами домов. — Но мы же не можем пропустить молитву, хотя они как раз этого и хотят.

В перерывах между облавами на клейменных улочках в тупиках человеческого вивария продолжала шевелиться жизнь. Неизвестно почему, бывали бесплатные раздачи супа. В эти весенние дни 1943 года меченый желтыми звездами мелкий скот имел также право на бледное солнце, которое садилось за серые средневековые воды Марэ. Эрни нашел работу у ме-

ховщика, обладателя зеленой карты. Уже поговаривали о введении белых карт, однако ввели красные. Так искатели людей вылавливали свою добычу на приманку выживания.

В тесной мансарде на шестом этаже к узелкам еще не выловленных жертв прибавился и узелок Эрни. В нем, как и в остальных четырех, были завернуты молитвенник, талес, филактерии, ермолка на смену и шесть кусочков сахара. Однажды, придя с работы, Эрни нашел дверь опечатанной. Он подумал-подумал, а потом сорвал пломбу и вошел в комнату. В ней все осталось без перемен — не хватало только четырех узелков, принадлежащих членам парижского Объединения выходцев из Земиоцка, задержавшихся в живых дольше прочих. Вокруг нетронутого узелка Эрни образовалась жуткая пустота.

Двое суток Эрни лежал на кровати, дрожа от какой-то странной лихорадки, и ждал своей очереди. Перед глазами чередой проходили его близкие. Иногда у него появлялось желание спуститься вниз, выйти на улицу, примкнуть к одному из движений, которые теперь возникали в гетто и за его пределами. Рассказывали о подвигах каких-то молодых героев среди евреев. Но что толку? Даже все немцы, какие только есть в этом мире, не могут расплатиться за одну невинную голову, а кроме того, говорил он себе, героическая смерть была бы для него слишком большой роскошью. Нет, он не хотел выделяться, не хотел покидать траурное шествие еврейского народа.

Когда стало ясно, что немцам он пока еще не понадобился, он спустился с шестого этажа и отправился на работу. В этот день к нему на улице подошла невысокая француженка в трауре и протянула ему руку. Еще через неделю старый рабочий в спецовке уступил ему место в метро.

— Потому что они тоже люди! — крикнул он, гневно оглядев окружающих. — Разве человек выбирает себе материнское чрево!

Эрни не воспользовался любезностью рабочего, но

даже вечером по дороге в синагогу все еще улыбался, вспоминая о нем. Эрни нашел синагогу почти пустой, откуда и заключил, что днем была облава. Всего несколько самых набожных стариков, как всегда, сидели на темных скамьях, и плакали за перегородкой две-три женщины. И снова Эрни задал себе вопрос: что влечет его сюда? Как он ни старался, ему еще ни разу не удалось постичь Бога, а теперь и недавно между ним и Всевышним стояла стена еврейских стонов, возносящихся к небу.

На улице развлекалась компания золотой молодежи. Один из них пытался подергать за бороду старого верующего, который ошалело отбивался, стараясь не уронить молитвенник.

— Монжуа Сен-Денис! — с досадой крикнул молодой человек, и тотчас же к нему на помощь подбежали еще несколько весельчаков с криками «Во имя Бога и моего права!»

Уходя с поля их подвигов, Эрни увидел еще одну сцену. Два французских «патриота» зажали в угол невысокого роста девушку с желтой звездой и, заливаясь смехом, тискали ее, а она, как могла, отбивалась. С минуту он смотрел на это зрелище, но не выдержал и, импульсивно бросившись вперед, расшвырял молодых людей (те просто растерялись от неожиданности), схватил девушку за руку и со всех ног помчался с ней по улицам Марэ, которые чудом оказались пустыми.

Возле улицы Риволи, где, как всегда, было большое движение, они остановились, и тут только Эрни с удивлением заметил, что девушка хромот.

— Я вам очень обязана, — сказала она на идиш, когда они стояли на краю пустыря возле улицы Жоффруа-Лание.

Девушка тяжело дышала, по лбу у нее струился пот. Эрни показалось, что она немного похожа на цыганку. Рыжие взлохмаченные волосы, ситцевое платье мешком, матовые щеки, как у уроженки Прованса, не то дерзкий, не то простодушный вид, кото-

рым его так привлекали девчонки на дорогах от Камарга до Сент-Мари-де-ля-Мэр. Желтая звезда была на ней как яркий брелок, как броское цыганское украшение.

— Они, правда, ничего такого со мной не слделали бы, — добавила она, улыбаясь, — не большая я красавица.

Эрни в недоумении посмотрел на нее. Они смущенно разняли руки. Девушка начала что-то болтать насчет вечной признательности и так далее.

— Вы не очень устали? — чуть резковато перебил ее Эрни.

— Нет, а почему вы спрашиваете? Ах, вы беспокоитесь о моей ноге? — сказала она самым непринужденным тоном.

— Да, — не сразу ответил Эрни, — я беспокоюсь о вашей ноге.

— Ерунда, о ней не стоит беспокоиться. На вид она не очень-то, но когда доходит до дела, так она еще крепче здоровой. Ну, подруга, — шутливо обратилась она к больной ноге и, наклонившись, похлопала по ней. — один раз ты уже сломалась — и хватит.

— Вы далеко живете? — поспешно спросил Эрни, словно стараясь перевести разговор на другую тему.

Девушка распрямилась.

— Нет, в двух шагах отсюда, — улыбнулась она.

— Все же возьмите меня под руку, пожалуйста, ладно?

Девушка вдруг покраснела и, не сказав ни слова, испуганно взяла его под руку. Молодые люди вышли по улице Жоффруа-Лание к Сене и отправились вдоль берега под удивленными взглядами прохожих. Хотя странная девушка и взяла Эрни под руку, она старалась не опираться на него, так что их руки соприкасались, только когда она ставила на землю больную ногу...

— Знаете, она у вас совсем немножко короче дру-

гой, — простодушно сказал Эрни самым обыденным тоном.

Но не успел он произнести эти слова, как раздался звонкий смех, и, убрав свою руку, девушка прошла несколько шагов самостоятельно, подчеркнуто хро-мая и хитро поглядывая на Эрни, словно приглашая его убедиться в обратном.

— Ну, как? Совсем немножко? — сказала она ве-село.

Эрни подошел к ней и на сей раз без спроса взял ее под руку так, что ей пришлось на него опереться. Будто испугавшись, она молча и покорно зашагала рядом с ним, почти не хромая. Вдруг они оба расхо-хотались и так же неожиданно вместе замолчали; по-том снова рассмеялись, смущенные и обрадованные таким единодушием.

— Ну, а теперь? Все еще чувствуете, что она коро-че? — задумчиво спросил Эрни.

— Нет, теперь не чувствую, — так же задумчиво ответила девушка.

На набережной кружился белый пух, облетающий с платанов. Десятью метрами ниже Сена катила свои воды, сдавленные городом. Мимо молодых людей проехало случайное такси, увозя с собой отражение мотоциклиста с высунутым языком и толстой дамы с муфтой, которая восседала в его коляске и, видимо, наслаждалась парижской весной. Несколько солдат Вермахта тоже прогуливались по набережной, и Голда (так звали девушку) сказала Эрни, что, под-держивая ее обеими руками, он прикрывает свою звезду, а это опасно. Потом она стала выдумывать разные истории, в частности, что у нее теперь второй муж и что она решила уйти от него, как только по-двернется новый претендент на ее руку. Эрни слушал эту болтовню, не вникая в ее смысл, и думал лишь о том, как легко и свободно ему дышится, в полную грудь.

— Ну, вот, — говорила она через каждые пять ми-

нут, — здесь уже можете меня оставить, не стоит вам затрудняться.

Но и эти слова не производили на Эрни никакого впечатления. Он их воспринимал как часть того удовольствия, которое он испытывал в присутствии Голды от всего вокруг. Все преобразалось в ее присутствии: дома начинали плясать в теплом воздухе, Сена журчала, как деревенский ручеек, парижский гул становился гармоничным... И когда Голда роняла эти пустые слова, Эрни лишь легонько приподнимал ее от земли, словно хотел сделать их еще воздушнее.

Когда они ушли с набережной, Голда повела его в один из многочисленных тупиков среди прогнивших домов, неподалеку от Сены, за площадью Бастилии. На его просьбу о новой встрече она ответила шуткой и в шутку же спросила, в какие часы он работает. Мысль о том, что ее «спаситель», как она его шутливо называла, будет ждать ее завтра в таком-то месте, в такой-то час, явно забавляла девушку. Однако перед узкой толевой дверью, небрежно протягивая на прощанье руку, она тихонько спросила:

— Вы действительно придете, господин Эрни?

— Разумеется, — спокойно ответил он, — не пошлю же я вместо себя свою тень.

— А почему вы придете?

— Простите, я вас не понял.

— Я спросила, почему вы придете, — повторила она очень серьезно.

— Потому что хочу вас видеть, — спокойно сказал Эрни с оттенком упрека в голосе.

И тут удивительно ясно выступило второе лицо Голды. Лицо такой красоты, озаренное такой живой радостью, что Эрни невольно закрыл глаза. Когда он их снова открыл, девушка уже уходила, припрыгивая, как птица. Она вошла в парадную, потом высунула оттуда нос, тут же спряталась снова, и из-за дверей послышался умоляющий голос:

— Можно, я все расскажу папе?

— Да, да, — сказал Эрни.

Не слыша ничего больше, он ушел не оглядываясь, но в конце тупика, уверенный, что она смотрит ему вслед, он почувствовал, что опьянел от ощущения, которое он никак не мог определить. Однако поскольку он плакал посреди улицы, то решил, что испытывает бесконечно нежную жалость, которая почему-то переходит в радость, и эта не то жалость, не то радость такая легкая, что она уносит его, как на крыльях.

3

В детстве Голда не хромала... Когда в 1938 году после отмены паспортов для польских евреев-эмигрантов новое «австрийское» правительство выслало их к границам Польши, среди них была выслана и семья Энгельбаум. История эта обошла прессу всего мира: вечером евреев выслали в Чехословакию, на следующее утро их оттуда отправили в Венгрию, из Венгрии — в Германию и снова в Чехословакию. Так они кружили до тех пор, пока, наконец, не удалось нанять старые лодки, курсирующие по Дунаю. Они вышли на них в Черное море, где большинство евреев утонуло. К какой бы земле они ни причаливали, их отовсюду высылали. На Дунае Голду чуть не сбросили с парохода, в последнюю минуту она удержалась, только сломала ногу. Ей наложили шины. Чтобы заглушить боль, она пела. В конце кругосветного плавания некоторым уцелевшим изгнанникам удалось найти пристанище на итальянской земле, а другим — нелегально перебраться во Францию. Мужчины несли Голду на спине. Сломанная нога перестала расти — вот и все.

Но Голда начала на себя смотреть другими глазами. Не то чтобы в ней появилась горечь, но во всем теперь чувствовался легкий налет отчужденности: в ее по-прежнему улыбчивом лице, в беззаботных манерах, в жизнелюбивом характере; все теперь было

проникнуто неуловимой сдержанностью, в результате чего ее утраченная миловидность превратилась в красоту.

Иногда, правда, на нее нападала жадность: то она объедалась фруктами до резей в животе, то упивалась меланхолическими звуками гармоники, которая под ее руками издавала бессознательные любовные призывы. В любую мелочь она вкладывала всю душу: сморщенное яблоко грызла с таким усилием, словно это была сама земля, которая крошилась у нее под зубами, прозрачную воду пила долго и, видимо, не от жажды, а в каком-то задумчивом исступлении. Мать приходила в ужас от этих странностей. Голда же успокаивалась после каждого такого «приступа», не испытывая ни сожаления, ни горечи, словно утоляла свои желания у самых пьянящих источников жизни.

— Несерьезная ты какая-то, — говорила ей мать, — будешь так себя вести — никогда не выйдешь замуж.

— А если буду вести себя иначе, думаешь... Кому я нужна с такой ногой? — смеялась Голда.

Мать, женщина угловатая не только на вид, но и по характеру (вероятно, жизнь ее такой сделала), грубо возражала:

— Чтоб я сдохла, если я что-нибудь понимаю в этой девчонке! Да будь ты уродиной из уродин, жабой из жаб, все равно если ты захочешь, то найдешь человека, который тебя прокормит! Зачем, ты думаешь, я тебя растила? Чтобы ты так и зачахла? Посмотри на меня! Нашла же я твоего отца!

Если при этом присутствовал господин Энгельбаум, он воздевал руки.

— Ты меня нашла, я тебя нашел, мы оба нашли друг друга... Упаси тебя Бог, доченька, от таких находок, — печально говорил он в бороду. — Иди лучше сюда, детка, скажи мне, какого мужа ты хочешь.

Эти разговоры ничуть не задевали Голду, она при-

нимала в них участие только из почтения к родителям.

— Вот ты и есть мой муж, правда, — говорила она отцу и, глядя на мать со снисходительной усмешкой, добавляла: — А ты — моя жена, моя чудная жена. Чего же мне еще хотеть!

Мадам Энгельбаум приходила в ярость от этих слов, а Голда их часто повторяла, словно хотела подчеркнуть свою отрешенность от женского начала и убедить родителей, что, «выйдя замуж» за них обоих, она вдвойне с ними счастлива. Голда не рисовала себе будущего, думая больше о том, как найти удовлетворение (в каком-то смысле более полное, богатое и невыразимое) в настоящем и в пределах ее мира. Эти «приступы», как она говорила, голода, жажды, желаний распространялись только на доступные ей вещи. Когда в буфете бывало пусто, она прекрасно утоляла «приступ» голода сухим хлебом. Позднее, когда они с Эрни сошлись поближе, он иногда спрашивал, чего бы она хотела.

— Назови что-нибудь совсем недоступное, чего я не могу тебе дать...

Сначала она отвечала ему поцелуями, а узнав его странный характер, просила что-нибудь такое, что ей представлялось почти недоступным: что-нибудь из парфюмерии или из фруктов, или больше сахара, чем полагалось по норме.

Эрни приходил в отчаяние от такого отсутствия воображения, он усматривал в этом серую забитость бедняков. А иногда ему виделась в этом благоразумная расчетливость, вызванная страданиями. Так объяснял он, почему Голда безропотно принимает несчастья ближних и свои собственные. Не вдаваясь в размышления, он называл ее «Простушкой», но однажды после долгого разговора на эту тему, когда она утверждала, что нужно покоряться воле Бога, а он с ней не соглашался, Эрни задумчиво сказал:

— Все дело в том, что я даже не начал еще пости-

гать, в чем суть страданий, а ты все знаешь лучше самого раввина.

Она растерянно на него посмотрела. В другой раз, когда на улице Паве он попросил ее назвать «желание», она вдруг «пожелала» пройтись вдвоем по Парижу без звезд. Они гуляли весь день. Это и было ее единственным «несбыточным желанием».

Они предприняли эту прогулку в одно из августовских воскресений. На всей их поношенной верхней одежде с левой стороны были нашиты звезды. Поэтому Голда предложила просто выйти без курток. Погода стояла такая чудесная, какой больше уже никогда не будет в жизни этих двоих детей. Эрни с Голдой дошли до берега Сены и под темным сводом моста сняли с себя куртки со звездами. Голда загнула их в хозяйственную сумку и поспешно прикрыла бумагой. Потом, взявшись за руки, они пошли вдоль Сены до Нового моста. Там они поднялись по каменным ступенькам наверх и, испытывая такую тревогу, что дух захватывало, вышли в христианский мир.

В то время ноги у Эрни совсем уже окрепли, и к нему вернулась красивая походка, какой он отличался в детстве. Тщательно причесанные Голдой черные кудри скрывали шрамы на лбу. В белой сверкающей на солнце рубашке, стройный, как молодой кедр, он выглядел, как всякий юноша, у которого вся жизнь впереди. Будто на приспущенном поводке держал он всей пятерней рыжую козочку, припрыгивающую рядом с ним, на долю которой, казалось, тоже выпала долгая жизнь. Голда словно танцевала; она принарядилась, как деревенская девушка. Еще мокрые от речной воды волосы стянуты в узел, тонкий слой помады на губах, к которым она то и дело с удивлением подносила палец, белая накрахмаленная блузка, доставшаяся ей две недели тому назад; о такой блузке, как у настоящей «барышни», она давно

мечтала и теперь гладила ее только сама, никому не доверяя, осторожно проводя по ней легким утюгом, нагретым, как говорил господин Энгельбаум, собственным сердцем.

Охваченные страхом и радостью, не смея взглянуть друг на друга, шли они рядом, каждый ощущая присутствие другого, как две птицы, интуитивно летящие вместе. Иногда, забывая о своем обещании, Эрни приближался к Голде, и та призывала его к порядку, молча пожимая ему руку. На площади Сен-Мишель они долго стояли перед кинотеатром.

— Я еще никогда не была в кино, — вдруг прервала молчание Голда. — А ты?

— И я никогда не был, — с удивлением ответил Эрни. — Давай зайдем разок, на нас же нет звезд. Не могу себе представить, что там такое. Смотри, вот у меня есть четыре, пять... семь франков.

— Нет, это ужасно дорого, — возразила Голда, — и вообще я предпочитаю быть на улице и смотреть на настоящую жизнь.

Она по-хозяйски обвела вокруг себя рукой. Велев ей никуда не отходить, Эрни вскоре вернулся с двумя порциями мороженого. Она выбрала зеленое и, вытянув шею, чтобы случайно не капнуть на блузку, впилась в него зубами, задохнулась, подавилась и выплюнула восхитительную сладость. Потом она посмотрела на Эрни и, переняв его опыт, стала лизать вафлю языком. Он подумал, что, кушая мороженое, она как будто смакует самое себя: она всегда смаковала самое себя, что бы ни делала, что бы ни говорила, даже когда бросала жадные взгляды на павильоны, украсившие в честь праздника бульвар Сен-Мишель, даже когда смотрела на Эрни. Эрни же чувствовал, что он с головой уходит в мечту и в нем не остается ни капли ненависти к самому себе.

Покончив с мороженым, они отправились дальше и по бульвару Сен-Мишель дошли до площади Дан-

фер, где стоит лев, такой же строгий и величественный, как лев Иехуды, который охраняет Скинию Завета. Потом им понравилась какая-то прелестная улочка, и они по ней вышли на проспект Мэн. А там оказался еще более прелестный скверик — настоящий оазис, со всех сторон окруженный домами, которые крепко уснули на солнце, прикрыв окна шторами. Молодые люди долго выбирали скамейку, наконец выбрали. Голда сунула под нее сумку, и они уселись как обычные парижские влюбленные, уставившись невидящим взглядом на детей, на нянек, на старух, которые тоже блаженствовали в сквере Мутон-Дюверне.

— Подумать только, что тысячи людей здесь сидели до нас! Даже не верится... — сказал Эрни.

— Вот, послушай, — сказала Голда. — Что это такое? Существовало еще до Адама. Только меняло два цвета своих покровов: само же ничуть не изменилось, хотя прошли тысячелетия. Что это такое?

— У моего отца на каждый случай были притчи, а у твоего — загадки, — сказал Эрни.

— Это время, — задумчиво сказала Голда. — а два цвета — это день и ночь.

Их сблизила одна и та же мысль, а время мчалось с коварной быстротой и неожиданно скрепило их счастье печатью первой звезды.

— Не могу понять, почему они запрещают нам заходить в скверы, — прошептала Голда. — Ведь это природа...

Высоко в небе над Парижем проплывало розовое шелковистое облако: вот оно миновало многоэтажный дом на другой стороне проспекта Мэн: Эрни провожал его взглядом до самой Польши, туда, где под тем же августовским небом умирал еврейский народ.

— Послушай, Эрни, — сказала Голда, — ты же знаешь христиан, скажи, за что они нас так ненавидят? С виду они такие добрые, если смотреть на них без звезды.

Эрни обнял Голду за плечи.

— Этого понять нельзя, — прошептал он на идиш.
— Они и сами точно не знают. Я бывал в их церкви, читал их евангелие... Знаешь, кто такой был Христос? Простой еврей, как твой отец: что-то вроде ха-сида.

— Ты шутишь, — мягко улыбнулась Голда.

— Нет, нет, честное слово; я даже уверен, что они с твоим отцом нашли бы общий язык; потому что Христос действительно был хороший еврей, знаешь, немножко, как Баал-Шем-Тов: милосердный, кроткий. Христиане говорят, что любят его, а по-моему, сами того не подозревая, они его просто ненавидят: потому-то они и берутся за крест с другого конца и превращают его в меч и разят нас этим мечом. Понимаешь, Голда, — вдруг закричал он, страшно взволнованный, — они берут крест и поворачивают его другим концом, другим концом...

— Тише, тише, — остановила его Голда, — нас услышат. — Она провела рукой по его шрамам на лбу, как делала обычно, и улыбнулась. — Ты же мне обещал сегодня не думать.

Эрни поцеловал ее руку и упрямо продолжал:

— Бедный Иешуа, если бы он вернулся на землю и увидел, что язычники сделали из него меч и разят им его же братьев и сестер, он бы так опечалился, так бесконечно опечалился... А может, он все это и видит: ведь, говорят, некоторые Праведники остаются у врат рая, потому что не хотят забывать людей; они тоже ждут Мессию. Кто знает, может, и видит... Понимаешь, Голделе, он хороший еврей, такой же простой, как мы, обыкновенный Праведник, как все наши Праведники, ни больше, ни меньше... Наверняка твой отец нашел бы с ним общий язык. Я так и вижу их вместе. «Ну, что ты на это скажешь, мой добрый рабби, — сказал бы твой отец, — прямо сердце разрывается смотреть на все, что творится». А тот взялся бы за бороду и ответил: «Но ты же знаешь, мой добрый Шмуэль, что еврейское сердце должно

разрывать, разрывать и разрывать во благо всех народов. На то мы и избраны. Разве ты этого не знаешь?» А твой отец сказал бы: «Ой-ой-ой, еще как знаю! К сожалению, достопочтенный рабби, только это я и знаю...»

Оба рассмеялись. Голда достала из сумки гармонику, повертела ее у Эрни перед носом и начала играть непозволенную мелодию: старинную песню надежды — Хатиква. Тревожно поглядывая на бульвар Мутон-Дюверне, она вкушала удовольствие, как от запретного плода. Эрни наклонился, вырвал пучок пожелтевшей травы и посыпал ею еще влажные волосы Голды. Когда они поднялись уходить, он хотел стряхнуть этот жалкий веночек, но девушка удержала его руку.

— Пусть люди смотрят: тем хуже для них. И для немцев тоже. Сегодня я всем говорю: «тем хуже». Всем, — повторила она, вдруг став серьезной.

— Эрни, Эрни, — нежно сказала девушка, ты же знаешь, что нас ждет смерть.

Прямая, как струнка, она сидела на кровати, покрытой серым одеялом, в комнате на шестом этаже, молитвенно сложив на коленях дрожащие руки. Шерстяная красная куртка, никак не гармонировавшая с мрачной комнатой землющих стариков, была застегнута на разные пуговицы до самого верха, так что виднелся лишь белый воротничок до блеска накрахмаленной блузки. Несколько травинок запутались в ее уже высохших волосах, золото которых сумерки превратили в осеннюю рыжину.

— Смерть, Эрни, смерть, — повторила она неожиданно холодно, и в уголках ее глаз Эрни заметил те же слезы, которым он удивился, когда они молча возвращались с прогулки. Таким же печальным и ясным был ее взгляд, как там под мостом, когда она снова надевала красный жакет со звездой; такая же своевольная и отчаянная искра осветила ее лицо, как та, какую Эрни видел несколько минут назад, когда, стоя у дома, она почти умоляла его подняться в ком-

нату. И вот теперь, сидя на единственном стуле против Голды, как сидел он два месяца назад против бесследно исчезнувших четырех стариков, положив ладони на дрожащие колени. Эрни Леви смотрел на сомкнутые, в первый раз в жизни накрашенные губы Голды и слышал ее немой крик.

— Конечно, — прошептал он, стараясь улыбнуться, — мы друзья до гроба.

— Нет, нет, ты знаешь, о чем я говорю, — настаивала она, — смерть не за горами.

Она наклонилась, взяла его за руки, потом медленно отодвинулась назад, и между ними остался живой мост сплетенных рук.

— А кого теперь не поджидает смерть каждую минуту? — сказал Эрни.

— Да, Эрни, но нас... мы же как бы обручены, верно?

— Что же, кроме нас, нет обрученных? — возразил Эрни, сильно побледнев.

Голда сдерживала слезы с тех самых пор, как она шла с Эрни по бульвару Мутон-Дюверне, но теперь они тихонько катились у нее по щекам.

— Нет, нет, есть и другие, есть много обрученных, — проговорила она, оставаясь величественно строгой и неподвижной.

Никогда еще Эрни не видел Голду плачущей; ему стало ясно, что слезы любимой девушки горше смерти, и он подумал: «Великий Боже, вот плачут угнетенные, и некому их утешить! Они беззащитны перед насилием, и некому их утешить!» Голда заливалась слезами, и он понял: лучше тем, кто умер, чем тем, кто остался в живых. Пока остался в живых. Он так крепко сжал Голде руки, что она подняла глаза и, улыбаясь сквозь слезы, сказала:

— Эрни, Эрни, сегодня я хочу стать твоей женой.

У него перехватило дыхание.

— Прекрасно, — произнес он, наконец; кислым тоном, — замечательно, лучше быть не может. Но где же ты найдешь так поздно раввина?

Голда рассмеялась и укоризненно на него посмотрела.

— Ты же знаешь, что я не беспокоюсь о раввине, — проговорила она серьезно.

— Прекрасно. Замечательно. О ком же ты беспокоишься?

— Перестань, пожалуйста, — сказала Голда.

Эрни закрыл глаза, открыл их снова и, по видимому, усилием воли заставил себя перейти на обычный тон.

— Завтра ты пожалеешь о том, что не скрепила наш союз перед Богом, — сказал он.

— Завтра может оказаться слишком поздно. — ответила она спокойно. И, отняв руку от живого моста, все еще перекинутого между стулом и серой кроватью, шутливо добавила: — К тому же разве мы сейчас не перед Богом? Разве оставит он нас в такую минуту? Ты же прекрасно знаешь, что, когда смерть стучится в дверь, Бог всегда рядом.

— Если хочешь, — сказал Эрни. — если хочешь...

Несмотря на всю нежность, у Эрни в голосе слышался оттенок снисходительности, что не понравилось Голде.

— Если бы рядом не было Бога, — сказала она тихо, но с негодованием. — как бы люди все это выдержали? Безумцем нужно быть, Эрни, чтобы думать... Если бы рядом не было Бога и Он не помогал бы нам каждую секунду, евреи превратились бы в сплошные слезы, как говорит мой папа. Т ы с л ы ш и ш ь м е н я, Э р н и? Или мы превратились бы в собак, как Праведник из Сарагосы, когда Бог его покинул на миг. — продолжала она рассеянно. — или растворились бы в воздухе. Ты слышишь меня, Эрни? Ты слышишь?

Она взволнованно положила снова руку на дрожащий между ними живой мост, но, когда увидела, каким холодом светятся у Эрни глаза, и услышала, как неуверенно он бормочет: «Конечно, конечно. Бог

всегда рядом», она вырвала обе руки и, откинувшись к известковой стенке, в отчаянии прошептала:

— Значит, ты не хочешь взять меня в жены?

— Тебя?

Эрни вскочил, хрипло повторяя: «Тебя? Тебя?» Глаза у него побурели, щеки, казалось, обмякли и отвисли.

— Бедная моя Голда, — вдруг произнес он разлавленным, скрипучим голосом, — разве ты не знаешь, кто я?

— Знаю, знаю, — сказала Голда испуганно.

У нее было такое чувство, будто перед ней душевнобольной, речь его — ошетилившаяся колючками ночь, и собственное беспокойство нетрудно понять, потому что собеседник, человек в общем-то милый, чуткий, воспитанный, просто лишен рассудка.

— Нет, — скрипучим голосом повторил Эрни, — ты не знаешь, кто я такой. Я...

Затем этот отвратительный голос заглох, и раздался третий голос, совсем незнакомый и такой слабый, что Голде пришлось вслушиваться, чтобы разобрать слова.

— Вот что, Голда, — шептал этот третий голос, — тебе действительно следует знать, что на земле нет худшего еврея, чем я, уверяю тебя. Потому что я... А у скотины не может быть... Понимаешь? Ты ведь такая... такая... А я... я... Понимаешь, Голда?

— Ничего не говори, — спокойно сказала она.

Видя, что девушка перестала тревожиться и улыбается ему светлой улыбкой, Эрни воздел руки к небу, словно выпустил птиц на волю и они летали несколько мгновений в воздухе, пока он не рухнул, раздавленный всей тяжестью своего позора, и не уткнул голову Голде в колени. А она спокойно начала перебирать черные взъерошенные кудри, с удовольствием ощущая на своих коленях его учащенное дыхание и бесконечно радуясь тому, что так любима.

— Я знаю, кто ты, я знаю, я все знаю, — повторяла Голда в восхищении.

Эрни почувствовал, что его прежняя маска из земли и крови растворяется под воздействием ее слов. Он поднял голову, посмотрел на девушку и на дне ее глаз прочел как бы далекое отражение своего собственного лица. Он не знал, каково оно, его истинное, внутреннее лицо, которое он смутно в себе ощущал, но Голда улыбалась просто лицу человека, и, освобожденный, Эрни улыбнулся тоже.

— Может, нужно хоть разок поцеловаться? — сказала она.

— Совершенно необходимо, — отозвался Эрни.

Они сидели друг против друга на краю кровати, держась за руки, и каждый смотрел на губы другого. Но событие это было такой важности, что Голда смутилась, встала и отошла к окну. Ее рыжая голова вырисовалась на фоне неба.

— А что я должна делать теперь? — спросила она и тут же заметила, что Эрни прячет в уголках губ улыбку, которая придавала его лицу детское выражение.

— Нет, я, конечно, читала, что мужья раздевают своих жен, — выдохнула она, тронутая этой улыбкой, — но может, тебе больше нравится, чтобы я разделась сама?

— А тебе?

— Мне больше нравится раздеваться самой. — звонко рассмеялась она, но, подумав, озабоченно нахмурилась и спросила: — Может быть, ты хочешь посмотреть на меня?

— Я хочу все, чего хочешь ты.

— Мне бы не хотелось, чтобы ты на меня смотрел.

Когда, раздевшись тоже, Эрни обернулся, голова Голды нежным цветком уже покоилась на подушке, а серое одеяло было натянуто до подбородка. Он вдруг огорчился тому, что у него на теле остались следы от переломов. Опустившись на колени перед кроватью, он прижался щекой к подушке, и черные кудри смешались с кудрями золотой осени.

— Не существует никакого «завтра», — прошептал он.

При этих словах девушка вынула из-под одеяла белоснежную руку и начала робко гладить влажную грудь Эрни. Потом открыла глаза, посмотрела на юношу и проникновенно сказала:

— Знаешь, ты красив, как царь Давид.

4

Плыла легкая голубая ночь, когда двое наших детей вернулись в этот мир. Комендантский час для евреев уже давно наступил. Несмотря на то, что Голда ему это запретила, Эрни тайком пошел за ней следом. Он шел метрах в двадцати от нее по темным, пустым улочкам Марэ, как вдруг раздались металлические шаги патруля. Голда метнулась в подворотню, Эрни тоже прижался к стенке, похвалив себя за то, что не отпустил ее одну перед арестом, но патруль прошел мимо, и в темноте снова замелькал припрыгивающий силуэт. Дойдя до тупика, Голда, к великому изумлению Эрни, обернулась, помахала ему рукой и исчезла.

Эрни благополучно добрался до улицы Экуфф, лег в постель и тут же уснул. Когда он проснулся, он увидел на подушке несколько травинок, упавших с головы его невесты. Он аккуратно завернул их в носовой платок и положил под рубашку на грудь. Затем он отправился на работу и начал строить планы на будущее. Один за другим рождались они у него в голове и один за другим рушились. Работа его состояла в том, что он натягивал на гвоздики грубые овечьи шкуры, которые господин Цвинглер, счастливый обладатель зеленой карты, потом поставлял немецкой армии уже в виде меховых жилетов. Рот у Эрни был набит гвоздиками, руки заняты крохотным молоточком, а душа боролась с нарастающим соблазном «простого человеческого счастья». «По ло-

гике вещей, — говорил он накануне, — мы все должны быть арестованы». «По логике вещей, — отвечала Голда, — я останусь с родителями, как бы я тебя ни любила. Подумаешь, логика! А что, разве по ней нет риска умереть во время побега?»

И тут Голда была права: не могли они бежать. У них не было иного выхода, как разделять общую судьбу и любить друг друга столько, сколько им отведено судьбой, — несколько дней или недель...

— ...или месяцев, как знать! — вдруг закричал Эрни, к великому удивлению всей мастерской.

В полдень Голды не было на другой стороне улицы. А ведь она знает, как мучительно ожидание. Может, ее не пустили родители? Может...

В половине первого Эрни медленно направился к тупику. Последние метров сто он пробежал бегом, но на углу остановился. Около часу он простоял, прислонившись к стене, стараясь унять сердцебиение. Когда он, наконец, вошел в дом, из окошка выглянула консьержка и уже было раскрыла рот, но ничего не сказала. До второго этажа Эрни шел, держась за перила, а дальше идти стало так легко, будто кто-то прикрепил к его животу канат и тащит вверх, а ему остается лишь дать себя втащить: раз — и он очутился перед обшарпанной дверью Энгельбаумов, запечатанной, как их судьба.

Консьержка ждала его на первом этаже. На ладони у нее лежала Голдина гармоника. Это была типичная парижская консьержка, из тех, что встречают вас в халате, с кудельками на голове и не могут вам простить того, что они навсегда заточены в свои каморки. Когда в первый раз Эрни спросил ее, где живут Энгельбаумы, она сердито буркнула в окошко: «Все на том же месте». Но сегодня она стояла притихшая у самой лестницы, против медного шарика на перилах, голова была опущена, и выцветшие космы прикрывали серое, как у мокрицы, лицо. Будто железной рукой скрученная гармоника так красноречиво все объясняла, что консьержке ничего не нужно было до-

бавлять, но, сбитаая с толку молчанием Эрни, она заговорила.

— Хотела я вам только что сказать, — начала она, — да подумала, пусть раньше поднимется. Это у меня уже третьи евреи. Говорить, конечно, я не мастер, только уж не такая я вредная, как люди думают. Вот, возьмите.

Эрни остолбенело поднес гармонику к губам, и она издала резкий неприятный звук.

— Это потому, что они ее растоптали. Она мне ее бросила и чье-то имя назвала, а я сразу поняла, что ваше: потому что, может, в чем другом и нет, но в жизни я хорошо разбираюсь. Тут один из этих господ подобрал гармонику, хотел посмотреть, что в ней. Может, думал, там драгоценности, а может, просто любопытствовал. Он-то ее и растоптал. Ну, а потом они сели в грузовик и... Да чего тут говорить — вы и сами знаете.

— Неважно, ее можно починить, — проговорил Эрни и, заметив удивленный взгляд консьержки, добавил: — Не беспокойтесь, мадам, ваши евреи вернуться. Впрочем, все евреи вернуться. Все. Ну, а если нет — у вас всегда найдутся негры, или алжирцы, или горбуны, — докончил он, еле сдерживая дрожь.

— Что вы такое говорите?

— Ой, извините меня, — сказал Эрни, — простите, пожалуйста, не сердитесь, не знаю уж, как извиниться, и большое спасибо, простите...

— Убирайтесь отсюда, пока из меня еще жалость не ушла.

А еврей продолжал неловко настаивать:

— Вы простите меня, честное слово, у меня как-то само собой так получилось, просто вырвалось — и все тут.

Слово «Дранси» само по себе ничего не значит, это название одного из парижских предместий, написанное на фронте обыкновенного вокзала. Открытые

платформы, допотопные часы, время на них будто не идет, а тянется с чисто французской медлительностью, безлика толпа пассажиров, служитель в форменной фуражке стоит, опершись о бетонный барьер, и, не глядя, отбирает билеты, перед ним открывается весь городок, затопленный солнцем, какое бывает только в Иль-де-Франс. Короче говоря, даже настороженному взгляду не удастся уловить ни малейших признаков лагеря, одно упоминание о котором пугает еврейских детей больше, чем все страшные сказки. Эрни испытал знакомое чувство, которое не раз уже в жизни испытывал: его подавляла и ошеломяла невероятная способность человека сотворить страдания из ничего или почти из ничего. Небо над крышами Дранси было такое же легкое, чистое и манящее, как небо над Шлоссе, взрывавшееся на детей, когда те устраивали под ним ад; такое же спокойное, как небо, глядевшее на гибель 429 пехотного полка и на собачье отчаяние Эрни. На следующий день после налета американских бомбардировщиков, уничтоживших, по газетным сведениям, Сен-Назер на три четверти, город проснулся все под тем же ласковым небом. Неодушевленные предметы не участвовали в отвратительных затеях людей. Где-то в Дранси таился гнойник, источавший непостижимое количество страданий, но ни по городку, ни по небу над ним об этом нельзя было догадаться. Эрни долго шел в том направлении, какое ему указал станционный служащий, пока не увидел бетонную громаду, которая возвышалась над маленькими крышами, словно помыкая ими; пройдя еще немного по плохо вымощенной дороге, он неожиданно очутился перед огромным жилым массивом, который, казалось, вырос на соседних огородах и пустырях и стоял среди них, как неприступная крепость. Мимо Эрни не спеша проехал молодой велосипедист; щеки у него покраснелись на солнце, а взгляд сиял молодостью; он ехал по самой середине дороги между лагерной стеной, обнесенной колючей проволокой, и низенькими домами. Попри-

ветствовав жандармов, стоявших у ворот. точнее, у деревянной некрашеной двери, велосипедист свернул налево, подрулил к тротуару, на который палала тень от колючей проволоки, и, насвистывая, вошел в соседнее бистро.

Эрни подошел к двум жандармам.

— Разрешите мне, пожалуйста, войти в лагерь, я еврей, — сказал он, поклонившись и поплотнее прижав к себе узелок выходцев из Земиоцка.

— Слышал? — сказал первый жандарм, показывая на звезду Эрни. — Он еврей! И это точно, как то, что я — жандарм.

— Свидания запрещены, — важно сказал второй. — Но передачу оставить не возбраняется. Это мы уладим... — многозначительно подмигнул он своему напарнику.

— Войти-то можно — выйти нельзя, — сказал тот, насмешливо похлопывая Эрни по плечу.

— Как раз об этом я и прошу, — почтительно объяснил Эрни, выждав, пока жандармы перестали смеяться. — Я хочу там остаться.

Последовав примеру толстого жандарма, Эрни подмигнул им обоим, потом улыбнулся и наклонил голову, словно приглашая вволю посмеяться над собой.

Ответом ему было ошеломленное молчание, из чего Эрни понял, что просчитался. Когда же за молчанием последовал взрыв гнева, он с изумлением сообразил, что жандармы считают себя всего лишь охранниками того зверья, которое доставляет сюда гестапо, и видят для себя страшное оскорбление в том, что их хотят возвести в ранг охотников.

— Это же не наше дело! Обратись куда положено! Здесь лишь приемка товара — и только!

Однако в том рвении, с каким они отказывали в его просьбе, Эрни уловил, как ему показалось, немой упрек за то, что он кощунствует перед немецкими богами, отдаваясь им в руки добровольно, а не дожидаясь, по примеру своих соплеменников, дня и часа, на-

значенного высшей властью. Наконец, жандарм с более степенной осанкой (Эрни только сейчас заметил у него на рукаве нашивки) раздраженно взмахнул прикладом и со словами «Хитрить тут еще будут!» бесцеремонно вытолкнул его на середину улицы.

На дверях быстро приподнялась занавеска из буса, и несколько посетителей (один прямо со стаканом в руках) подошли к жандармам узнать, в чем дело. Пока они что-то говорили жандармам, которые снова начали ругаться, Эрни Леви стоял с закрытыми глазами посреди мостовой, обливаясь потом от вернувшегося к нему страха, от горя и от жары. Изнывая от духоты в плотном черном кафтане, доставшемся ему от земиоцких стариков, он вытирал с лица пот прямо узелком, и казался живым воплощением вечных страданий.

Сначала один посетитель подошел к нему, за ним второй, потом третий; они попытались как можно деликатней оттащить к бистро этого странного еврея. Вдруг сквозь застилавший глаза пот Эрни увидел прямо перед собой огорченное лицо молодого велосипедиста. Его губы, только что насвистывавшие веселую мелодию, теперь с детской упрямостью твердили только одно: «Ну, идем же, идем, идем поговорим». Тронутый этим неуклюжим состраданием простых французов, Эрни все же уперся в витрину бистро и, улыбаясь рабочим, которые хотели затащить его внутрь, повторял не в обиду, а просто констатируя грустный факт: «Вы не можете понять, не можете...»

Он не знал, как случилось, что вдруг все его оставили. В голове зазвучал гул мотора. Эрни еще удивлялся тому, что оказался один, и занавеска из буса на двери бистро все еще колыхалась, когда неизвестно откуда вынырнула черная, блестящая, как навозный жук, машина. Она мягко остановилась у лагерных ворот, раскрывшихся с пронзительным металлическим скрежетом, и из нее вышел коротконогий человек в тирольской шляпе; он посмотрел хо-

лодным взглядом чиновника на окаменевшего Эрни, потом на молодого велосипедиста, размахивавшего от страха руками посреди тротуара, и, наконец, на жандармов. Те вытянулись по стойке смирно и пялили на немецкого инспектора выпученные глаза, пытаясь скрыть раболепный ужас. Эрни поднес руку к сердцу и, ухватившись за один конец желтой звезды, хотел ее оторвать, но господин Цвинглер, человек обстоятельный, так плотно её пришил, что вместе с ней Эрни вырвал кусок куртки. Медленно, словно неохотно расставаясь с этим лоскутом, он бросил его на дорогу, и ему показалось, что камни вдруг заблестели под ярким солнцем, обливавшим все вокруг: улицу, жандармов, огромного навозного жука, который урчал перед настезь распахнутыми воротами лагеря, в проеме которых Эрни до боли четко разглядел некое подобие муравьев, копошащихся возле грозных бетонных корпусов.

— Вас ист лас? — заорал тонким от ярости голосом коротконогий человек в тирольской шляпе.

Из машины выскочил молодой эсесовец и, по знаку тирольской шляпы, втащил Эрни на территорию лагеря. Там они вошли в корпус охраны: за ними следовала тирольская шляпа; она по-немецки ругала на чем свет стоит «неслыханную дерзость»: шествие замыкали оба жандарма, которые едва плелись сзади и твердили смиренно, но достаточно громко, чтобы их услышали: «С вашего разрешения, герр инспектор, с вашего разрешения!..»

«Взбучка», которую Эрни получил в помещении охраны, показалась ему если не заслуженной, то, по крайней мере, закономерной. Но когда выяснилось, что тирольская шляпа еще не рассчиталась с ним за дерзость, и когда после тщательного допроса жандармов шляпа заявила, что еще «вытащит у него червей из носа» (как она образно выразилась), еще заставит его признаться «в истинных причинах» жела-

ния попасть в лагерь, Эрни поневоле улыбнулся. Однако отвечал он охотно и с готовностью, которая могла, впрочем, сойти за боязливость. Он хотел встретиться с очень близким ему человеком, объяснял он, с которым, к несчастью, его разлучил лагерь. Он приносит свои извинения, ему не пришло в голову, что это может оказаться затруднительным: ему казалось, что проще всего попроситься в лагерь прямо у входа. С кем именно? Какая разница! Зачем навлекать беду на кого бы то ни было? Разве нельзя поверить ему на слово?

— И потом что плохого, если еврей хочет попасть в лагерь? — воскликнул он с горечью и неожиданно прорвавшейся иронией.

Через несколько минут Эрни уже находился на первом этаже в доме, расположенном позади одного из двух концентрационных зданий. Его завели в роскошную комнату, освещенную только дугообразной лампой, поскольку железные ставни на окнах были закрыты. Стены были выложены белым кафелем, узорчатый пол слегка вогнут как раз там, где стоял Эрни, и узкий сток, как в ваннах комнатах, кончался отверстием, проделанным в полу, у самых ног арестанта.

— Пусть фигура разденется, — сказал коротконогий человек в тирольской шляпе.

Жестокость воплотилась тут не во внешних атрибутах и даже не в остекляенных глазах младшего эсесовца, который уже скинул китель и стоял, нервно пощелкивая плеткой по голенищу; жестокость воплотилась в полном белом лице начальника; тот сидел прямо, словно аршин проглотил, в своей нелепой шляпе, и за стеклами очков в глазах, будто отлитых из немецкой сентиментальности, время от времени ходили зеленые змеи. Жестокость выражал в особенности его детский маленький рот, будто вымазанный малиновым соком. Этот маленький рот с самого начала допроса хлестал Эрни короткими ледяными фразами, в которых не было бы ничего особен-

ного, если бы не словечко «фигура», означавшее «еврей» и придававшее им какой-то дьявольский смысл. «Пусть «фигура» яснее объяснит причины своего поступка», — говорил коротконогий человек в тирольской шляпе. «Пусть фигура скажет, есть ли у нее в лагере знакомые. Какие поручения фигура должна была передать в лагерь и кому. К какой организации принадлежит фигура? Ганс, объясни фигуре, что это еще только цветочки. Спроси у фигуры, поняла ли она...» и так далее, словно он бредил и в бреду ему казалось, будто дьявол вселился не в него, а в жертву и ему нужно укрепить плотину жестокости таким своеобразным заклинанием. А может быть, он боялся, что эта предоставленная в его полное распоряжение плоть вдруг обретет человеческий взгляд, и поэтому хотел проволочить Эрни по всем ступеням, ведущим в небытие: еврей, животное, одна видимость.

— Пусть фигура разденется, — повторил он тихо, и зеленые змеи забушевали в помутившейся воле его глаз.

— Может, помочь ему? — наклонившись, улыбнулся подчиненный, но тут же отступил в тень, поняв по недовольному лицу начальства, что нарушил какой-то невидимый пункт церемонии.

Набор пыток смехотворно мал: самое смелое и усердное воображение вынуждено ограничиться вариациями на пять основных тем, обыгрывающих пять чувств человека. К концу дня Эрни Леви все говорил, и говорил, и говорил, не умолкая.

Свернувшись клубком в углу у дверей, он дергался, как раненая гусеница, выпустившая из себя жилкость. Уже утратив всякий стыд, он смотрел широко раскрытыми глазами, и единственное проявление защиты выражалось в том, что он прикрывал ладонями детородные органы. Ни единого еврейского имени, ни единого адреса — ничего, кроме этой несвязной болтовни, которая безудержно лилась, как из бездонной бочки.

— Ну, что ты об этом думаешь? — вдруг тихо спросил коротконогий человек в тирольской шляпе.

— Ничего я об этом не думаю, герр Штокель! — испуганно вытянулся по стойке смирно подчиненный.

Устроившись поуютнее в кресле, с которого он так и не вставал все это время, коротконогий человек улыбнулся.

— Это ты брось, что-нибудь да ты думаешь, я уверен. Разрешаю тебе высказаться. Даже приказываю.

— Правда? — спросил подчиненный.

Увидев повелительное выражение в глазах коротконового человека, он с неуклюжим кокетством покачался на каблуках и, наконец, робко проговорил: — С вашего разрешения, герр Штокель... Когда я был в Польше, там после каждой акции повторялось одно и то же: казалось, весь сектор уже обработан подчистую — так нет же, в последнюю минуту из какой-нибудь дыры обязательно вылезает дерьмо, а то и два, и идет себе спокойно в могилу или в грузовик да еще «особой обработки», понимаете, хочет. Так и этот. Только и всего.

Коротконогий человек откинулся в кресле и удовлетворенно закряхтел.

— А когда тебе в голову пришла эта мысль?

— С вашего разрешения, герр Штокель... когда это дерьмо (он показал на тело Эрни, который, наконец, потерял сознание) сказало: «Где вы, где вы?» Как раз в эту минуту, герр Штокель.

— А я так думал с самого начала, — сказал коротконогий человек.

— Неужто? — в изумлении воскликнул подчиненный.

Он опустил голову, чтобы собраться с мыслями, но, услышав хихиканье начальника, сообразил, что тот ожидает знаков восхищения его блестящим остроумием, поэтому он вежливо поднес руку ко рту и сказал:

— С вашего разрешения, герр Штокель, мне не удержаться от смеха...

5

Когда Эрни пришел в себя, ему сначала показалось, что он все еще находится в Майнце и лежит в больнице: так же как тогда, вокруг его койки шептались евреи, так же как тогда, он болезненно ощущал все свое тело и так же, как тогда, ужасно не хотел кричать, хотя рот помимо его воли излавал какое-то утробное бульканье, которое, может, и было криком. Потом он различил серый бетонный потолок и сияние желтых звезд на белых халатах санитаров. Над его голым телом, распластанным на окровавленной простыне, заплескал фантастической величины шприц, и Эрни почувствовал, как ему в бедро входит игла, а вместе с ней — струя свежести и тишины. Он закрыл глаза и уснул. Пока его осматривали, проверяли каждую рану, каждую связку, каждую кость, пока обмывали и дезинфицировали кожу, ему снилось, что он справляет свою свадьбу и в воздухе гремят трубы радости.

...Утро. Заря еще не взошла. Он отправляется в баню и совершает там омовение, такое тщательное, что плоть его достигает небывалой, недоступной ни человеку, ни духу чистоты, как и полагается в такой момент, когда сон есть обещание счастья. Хрустальное мыло само скользит по коже, он до него даже не дотрагивается и лишь изредка приподнимается, когда мыло хочет пройтись по спине (привратник в бане рыжей бородкой показывает дорогу к синагоге). «Не думайте, — говорит ему Эрни, — что моя благодарность не выйдет за эти стены, не из тех я молодых мужей, которые видят весь свет через обручальное кольцо; так что позвольте мне, пожалуйста, никогда

не забывать вашу бороду. К чему вам пролавать мыло, если никто в мире о вас не вспомнит?» «Так бсрите мою бороду с собой, — спокойно отвечает привратник и добавляет: — Позвольте мне поблагодарить вас за вашу признательность. Я никогда не забуду то мыло, что продал вам. Мазел Тов».

И когда привратник говорит ему на идиш это пожелание (счастливой судьбы), Эрни видит, как в его глазах загораются две Звезды Давида, и начинает понимать, что перед ним Праведник. «Значит, — думает Эрни, — мои предки радуются вместе со мной, откуда можно заключить, что я действительно потомок Праведников, и мне положено быть счастливым за них за всех подле моей возлюбленной». «Наслаждайтесь вашим хрустальным стаканом, — прололжает привратник, одобрительно улыбаясь, — даже *если он у вас всего на один день*». «Пожалуйста, не думайте, — тотчас же замечает Эрни, — что у меня есть хоть малейшее желание наслаждаться своей невестой. Она не хрустальный стакан, из которого пьют виноградное вино, и она не...»

Но привратник иронически шелкает клювом, и две Звезды Давида смотрят на Эрни, словно желая сказать: уж не собираешься ли ты, мой мальчик, обучать меня, как зароняют семя? А потом он становится большой желто-серой птицей и, вяло хлопая крыльями, улетает под лепной потолок темной синагоги.

Рыжая борода раввина тоже напоминает клюв, и черный талес расходится так, что видно его белое ласточкино брюшко. Эрни молится, чтобы изгнать из своего тела, сердца и души всякое христианское искушение, чтобы принять возлюбленную, как нищий принимает Божий день. А вот и улыбающаяся Муттер Юдифь появляется слева от раввина: волосы на парике заплетены в длинные косы и прикрывают ее наготу, как платье со шлейфом; в правом глазу у нее дрожит слеза, в левом — молочная жемчужина. А в углу синагоги, окруженная десятком людей, стоит невеста: такая красивая, что все меркнет вок-

руг; такая красивая, что и сама, постепенно исчезая, делается невидимой, и в воздухе остается лишь восхитительный контур, заполненный лицами. «Музыку нам», — торжественно говорит раввин и протягивает возлюбленной стакан вина: та скромно отпивает не больше половины, подставляя нижнюю губу, чтобы не капнуть. Эрни тоже пригубляется, затем бросает хрустальный стакан под ноги и оборачивается к возлюбленной; ее нежное, сладостное тело теперь снова видно, но очертания лица остаются незнакомыми. «Чтобы ни одна женщина,—говорит Эрни пылко,—не пила из чаши, которую пригубила ты, и чтоб ни один мужчина не коснулся чаши, из которой пил я, и да возродится эта разбитая чаша в наших сердцах, и да пребудет ее дух в нас, в живых или мертвых; ибо знай, моя возлюбленная, для того дух и создан таким, чтобы глаз человека не мог его увидеть, а нога человека — раздавить. Аминь». По бурным аплодисментам Эрни понимает, что придумал новую форму традиционной речи. «Чудная свадьба», — говорит мадам Фейгельсон. Муттер Юдифь лобавляет: «Чтоб не сглазить! Испокон веков Эрни с Ильзой созданы любить друг друга». «А я думала, ее зовут Голда», — замечает мадам Фейгельсон. «Так я и сказала», — спокойно отвечает Муттер Юдифь.

Когда процессия доходит до Ригенштрассе, Муттер Юдифь кутается в шлейф из кос, хотя светит веселое солнце, полкрашенное синевой и зеленью платанов, с которых облетают крылатые семена; они смешались с цветами и покрыли все косы Муттер Юдифь. За ней выступает возлюбленная об руку с господином Леви-отцом, который так важничает, словно жених он сам, а не его сын Эрни-Счастливей. За ними следует мать возлюбленной — небесное создание, чья рука покоится на локте Эрни и весит не больше паутинки. Лица ее не видно из-за легких розовых слез счастья, но все догадываются: ей льстит, что ее зять — Эрни Леви. И, о чудо, появляется скрипач! Белый живот, легкий черный талес. Он пляшет,

и порхает, и кувыркается, будто и впрямь мнит себя ласточкой. Удар смычка — и начинается свадебная песня: «Кто это восходящая от пустыни, опирающаяся на друга своего?» Ой взй, ой взй, ой взй! Потом наша ласточка останавливается посреди дороги, полжилает свадебную процессию, присоединяется к ней и семенит рядом, будто это чопорное католическое шествие, а из окон домов высовываются головы и машут кулаки.

«Положи меня, как печать, к сердцу твоему, ха-ха!
Как печать, на мышцу твою, хи-хи!
Потому что сильна, как смерть, любовь».

Все уже хотят, чтобы скрипач умерил свой восторг по поводу свадьбы, но, к сожалению, нельзя прекратить пение, потому что в окнах поднимаются кулаки. Эрни считает, что одному из кулаков следовало бы подойти и вежливо сказать: «Дамы-еврейки и господа-евреи, не так уж в мире весело, чтобы вы так залихватски играли на скрипках: каждый удар вашего смычка пронзает нам сердце: неужто в вас совсем нет жалости?» Но упрямые кулаки молчат, принимаясь только издали, и получается, будто процессию никто не тревожит: все пары идут себе спокойно, изящно и томно поддерживая друг друга, как на приятной прогулке. Даже эта ласточка-скрипач, и та замедлила полет в знак недовольства кулаками: и в гостиную семейства Леви она входит под протяжный звук смычка и под душераздирающее пение:

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, ой взй, ой взй, ой взй! Кто это восходящая от пустыни, опирающаяся на друга своего?

И где только господин Райзман раздобыл такой роскошный цилиндр, а дорогая мадам Тушинская — эту лисью шляпу, которая едва прикрывает затвердевшие у нее на шее бугорки? А этот оборванец, Солломон Вишняк, держит трость с золотым набалдаш-

ником между коленями и вцепился в нее обеими руками, будто боится, что она улетит.

К счастью, маленькая проститутка из Марселя, которую Эрни тоже пригласил, пришла в очень скромном платье, а второй ивритоязычный солдат — в своей грязной форме. Но, увы, всякий раз, когда у него со лба кровь капает в тарелку, он не перестает извиняться. Хоть умри, нельзя понять, зачем такому доброму, чистому человеку, как он, так усердно извиняться. Зато петь он соглашается, не ломаясь. Сразу влезает на стул и тоненьким, как мышиный писк, голоском выводит по всем правилам вокального искусства старинную любовную песню, которую никто не знает. После каждого куплета, сто раз извиняясь, он протирает узкий сток, по которому кровь попадает ему в рот. Допев до конца, он обворожительно улыбается и просит прощения за то, что в последнем куплете говорится о смерти влюбленных. «Извините, — произносит он, прежде чем сесть, — извините, друзья мои, за грустный конец. Из песни слова не выкинешь; так ее поют в наших краях, эту простую, немудреную песенку: про такие песни обычно говорят: конец плохой, но это значит, что он хороший». Второй ивритоязычный солдат садится под гром аплодисментов, и тогда красный, как мак, господин Леви-отец пытается что-то объяснить молодому мужу, но женщины все время его перебивают язвительными насмешками, и у него ничего не получается. «Сын мой, послушай моего совета... ибо божественный инстинкт... если житейскую мудрость соединить с божественным инстинктом...». — говорит он и садится на стул тоже под бурные аплодисменты. Эрни благодарит его кивком головы и внимательно следит за скрипачом, который прыгнул на стол и, сложив губы сердечком, скачет между тарелками, яростно пилякая на своей скрипке. Но вот задрожали и затихли последние звуки песни гетто, скрипач взбирается на горлышко бутылки и начинает танцевать, как в старину, на носочках. Поглощенный этим

зрелищем, Эрни еще ни разу не взглянул на невесту, хотя, ощущая легкое, как дым, давление на локоть, он догадывается, что она стоит слева от него. «Провалиться мне на этом самом месте, если влюбленные хоть словом перекинулись», — говорит Муттер Юдифь. «Я же не перестаю разговаривать с моей возлюбленной», — замечает Эрни. «А я не перестаю его слушать», — откликается молодая жена. «Чтоб я лопнула», — снова начинает Муттер Юдифь гневно. Но Эрни, улыбаясь, перебивает ее и, по-прежнему глядя прямо перед собой, доверительно спрашивает: «Где слова? Где они?» «Да, где они?» — эхом вторит возлюбленная. «Хоть разок взгляни на нее», — жалобно просит Муттер Юдифь. «А я только это и делаю», — говорит Эрни. «Он только это и делает», — повторяет голос невесты. «Ну, тогда будь счастлив», — говорит Муттер Юдифь и целует его. Сразу же вся свадьба гуськом выстраивается за ней в ожидании своей очереди. «Будь счастлив, будь счастлив!» — повторяют все и плачут. Потом молодожены идут к себе в комнату, и по дороге возлюбленная шепчет: «Ноги несут меня туда, где все мило сердцу моему».

Комната молодоженов такая крохотная, что в ней едва помешается швейная машина, узелок и брезентовая раскладушка, покрытая серым одеялом. Эрни с Голдой все же входят туда, и, словно под давлением их спокойного дыхания, комната раздувается, увеличивается, как бы подгоняя свои размеры под величину их счастья. Теперь это уже огромный дворцовый зал, посреди которого возвышается кровать с балдахином: под балдахином сияет небо, усыпанное звездами, некоторые из которых тихонько спускаются на простыни. Со всей скромностью, какую требует хорошее воспитание, Голда скользит к кровати. Так что права была мадам Леви, когда говорила, что Голду вырастили для ложа пророка (хотя лед утверждал, что даже на такую божественно красивую девушку, как Голда, пророки смотрят холодным взглядом бесплотного духа). И вот уже Эрни берет

возлюбленную за руку, и пестрые бабочки, рождаясь у них между пальцами, улетают под небо над балдахином; и вот уже вся рука Голды покоится в руке Эрни, и из жара их рук рождается голубь; он смотрит на них с минуту большим спокойным глазом, а в это время между ними уже рождается курица, потом белый петух с красным гребнем, потом сверкающая чешуей рыбка... Но когда Эрни привлекает Голду к себе, ее тело оказывается холодным. Он открывает глаза и видит, что держит в своих объятиях тонкий пучок увядшей травы.

Что случилось? Разве бывает такое на берегах Сены? А что со свадьбой? «Где вы, где вы?» — жалобно стонет Эрни, выпускает из рук пучок травы и бросается в коридор. Там тоже пусто. Он в столовую — и там пусто. Гости из нее ушли, наверно, много лет назад: вон сколько паутины на стенах и в углах потолка; а на столе, за которым проходило веселое пиршество, колышутся завитки плесени. Эрни голый выбегает на Ригенштрассе и умоляет прохожих сказать, куда направилась свадебная процессия. Но почему в ответ прохожие говорят о погоде? Почему они равнодушно пожимают плечами, глядя сквозь него, как сквозь прозрачное стекло? Почему их взгляды сделались такими пустыми и даже вовсе перестали быть взглядами? Эрни опускает глаза и видит, что его окровавленное тело расчленено, как на школьных таблицах по анатомии — каждая мышца, каждый нерв — отдельно. Он, конечно, подавлен своим открытием (а может, наоборот, загадочным образом черпает в нем новые силы), но все же довольно легко добирается до Дранси: уютный вокзал дрожит от удовольствия, купаясь в нежных потоках солнца. Никто из станционных служащих не хочет давать ему никаких справок; все они захлопывают у него перед носом окошки, словно это их прямая обязанность; а один из них даже собрался уже выпроводить вон эту ободранную шкуру под тем предлогом, что она своим видом оскорбляет пассажиров, но в этот мо-

мент Эрни почувствовал, как чья-то ладонь легла на обнаженную мышцу его плеча. «Фигура опаздывает, ей надо торопиться. — говорит всем немецкий солдат. — очень мало времени остается до отхода особого поезда».

Особый поезд ждет на вокзале, как бы спрятанном внутри другого вокзала. Эрни еще не дошел до платформы, когда особый поезд задрожал, зафыркал и тронулся. Эрни прыгнул на последнюю полножку, открыл дверь в купе, а там — вся свадьба.

«Мы тебя ждали, — закричали все, — мы думали, ты уже не придешь». «Не оставайтесь же мне единственным евреем. — вздыхает Эрни. — каждая капля моей крови взывала бы к вам. Запомните: где вы, там и я. Разве не ранит меня меч, пронзающий ваши сердца? Разве не слепну я, когда вам выкалывают глаза? И разве не еду я вместе с вами, когда вы садитесь в особый поезд?» «Едешь, едешь», — оживились все, кроме барышни Блюменталь; она забилась в угол с грудным младенцем на руках и робко зажимает коленями свой узелок. «Ангел небесный, — жалобно мурлычет она, — я так надеялась, что ты не придешь»... «Это еще почему? — спрашивает Эрни. — Разве мне нет места среди вас?» «Надевай-ка вот эту куртку, — говорит деда, — и, чем слушать пустые бутылки, садись лучше возле Голды; она как хорошая еврейская жена оставила тебе место, хоть она и не дочь пророка». «И я тебе оставил место», — говорит Эрни Голде. Она молча пожимает ему руку и, высовываясь в окно, обращает его внимание на необычайную длину особого поезда. Издали появляются другие поезда с таким количеством вагонов, что они теряются из виду. Все поезда съезжаются в один центральный пункт, расположенный где-то далеко впереди паровозов. В Польше, по словам Мордехая. «Куда мы едем, я не знаю, и догадываться, как некоторые, не умею, но едем мы туда все вместе, и это хорошо», — говорит Муттер Юдифь. «В Польшу, — повторяет Мордехай. — Бог

нас всех туда зовет, больших и малых, Праведников и простых смертных». «Верно, — нравоучительно заявляет второй ивритоязычный солдат. — и теперь тут образуется пустота в форме шестиконечной звезды». «Но Бог расплатится с ними той же монетой, — вдруг картавит Мориц. — Он сотрет их, как и нас, в порошок». И в эту минуту Эрни чувствует, что обязан высказать свою давнишнюю великую мысль. «Мориц, Мориц, — говорит он, — если есть Бог, Он всех простит: потому что всех нас Он бросил слепыми в реку и слепыми оттуда вытащит; слепыми, как в первый день появления на свет». «Тогда что же он сделает с нами, если простит остальных? Отправит в особо роскошный рай?» — спрашивает Мориц. «Нет, нет — спокойно отвечает Эрни. — Он скажет нам: вот что, возлюбленные дети мои, я сделал из вас жертвенного агнца для всех народов, чтобы сердца ваши навсегда остались чистыми». «О, мой друг, — вступает снова в разговор второй ивритоязычный солдат, — зачем все-таки эта поездка? Зачем?» Все бесполезно. Никакие слова Эрни не могут успокоить сердце второго ивритоязычного солдата и избавить от ужаса малышей, тихо сидящих между Муттер Юдифь и дедом и прижимающих к себе узелки. Эрни вдруг начинает бить дрожь. Он подходит к Голле, и она, любовно кладя руку мужу под куртку, нежно гладит его грудь. Но, несмотря на счастье, которым наполняется его душа, прикосновение этой руки к обнаженным нервам и мышцам причиняет такую жестокую боль, что Эрни едва подавляет крик и улыбается Голле, которая вся усыпана травой. В этот момент скрипач ударяет по струнам, и все начинают плакать. Никогда еще голос скрипача не звучал с такой силой.

О, нельзя ли подняться на небо.

У Бога спросить, зачем все устроено так?

Поезд исчезает в конце пути, но звуки скрипки легкой дымкой еще поднимаются в небо. И вдруг —

Эрни совсем один. Он стоит голый на железнодорожном полотне, расставив ноги между рельсами. и ветер перебирает каждую жилку его окровавленного тела. Нет, думает он, ничто так не передает ощущение смерти, как расставание с любимым существом. Дым от скрипки тоже исчезает, и Эрни начинает во сне кричать. Кричать, кричать, кричать...

НИКОГДА БОЛЬШЕ!

... И солнце, что встает
над местечком в Литве или в Польше,
Никогда больше
Не увидит в окне
Старика-еврея, что бормочет псалмы.
Не осветит оно
Старика, что бредет в синагогу.

Исаак Каненфельсон.
«Песнь убитого еврейского народа»
Пер. с идиш. Посмертно.

1

Несколько товарных поездов, несколько инженеров и несколько химиков одолели это древнее жертвенное животное — еврейский народ Польши. Пройдя непостижимыми путями через всю историю, старинная вереница костров завершилась крематорием: реки влились в море, где теряется все: и река, и шлюпка, и человек.

В процессе истребления еврейской расы лагерь Дранси был лишь одним из многочисленных стоков, установленных на покорных склонах Европы: одним из сборных пунктов, откуда спокойно, без суматохи гнали стадо людей дальше, на бойню, к укромным долинам Силезии, к новоявленным небесным пастбищам. В искусстве уничтожения, в науке убийства немцы достигли такого совершенства, что для большинства обреченных на смерть истина открывалась только в газовых камерах. От гражданских процедур до ритуальных обрядов, от внесения в списки до нашивания желтой звезды, от рассылки по транзитным

лагерям до окончательной выгребки останков — на всех этапах механизм работал безупречно. Лобиваясь полного послушания от человеческого стада, перед которым до самого конца помахивали лоскутом надежды.

Так, весь лагерь Дранси верил в существование далекого царства под названием Пичипой, где под надзором белокурых пастухов евреи смогут прилежно жевать траву новых времен.

Даже те, кто прослышал об «окончательном решении», не доверяли ни ушам своим, ни памяти, ни помутившемуся рассудку. Внутренний голос успокаивал их, уверял, что такого не было, нет и быть не может, пока нацисты остаются человекообразными хотя бы на вид. А когда этот голос умолкал, его либо сменяло спасительное безумие, либо несчастные бросались с шестого этажа на цементную площадку, получившую в лагере печальную славу. Но и это они делали молча, унося с собой страшную тайну, а если бы им пришло в голову кому-нибудь ее повелать, все равно никто не поверил бы, потому что душа привязана к жизни, как верная рабыня.

В изоляторе Эрни видел последствия всех телесных и духовных страданий, какие только могут выпасть на долю живого существа. Старики из еврейских богаделен Парижа, умалишенные из сумасшедших домов, женщины прямо из родильных отделений, дети, покрытые гноем и коростой, с искусанными клопами лицами — бетонный барак дрожал от стонов день и ночь. Санитары с желтыми звездами, в прошлом известные врачи и знаменитые профессора, обводили двух- и трехэтажные койки беспомощным взглядом, испуганным и невидящим, как у слепых. Ад. Настоящий ад. Ни больше, ни меньше. А бороться в аду — все равно что играть с льяволом в жмурки, понял Эрни, глядя на свары, которые зате-

вались вокруг помойных ведер, заменявших кастрюли.

Санитары прозвали его Придурком. Особенно один из них, католик, у которого в ролу кто-то оказался евреем, так и ходил вокруг койки Эрни, словно замороженный из ряда вон выходящим поступком, приведшим молодого еврея в изолятор.

— Это же безумие! — говорил он, приподнимая очки в золотой оправе, будто хотел получше разглядеть Эрни. — Мало вам того, что вы еврей, так вы еще пришли добровольно в лагерь!

— А все, что происходит сейчас, вот сию минуту, не кажется вам безумием? — однажды сказал ему Эрни. — Посмотрите, у вас на груди медальон с Пречистой Девой, а на халате — желтая звезда. А родиться с восьмой частью еврейской крови разумно?

— Знаю, знаю, — ответил санитар. — В былые времена, если вам не угодно было разделить участь преследуемых, вы легко могли ее избежать, крестившись. Но сегодня они хотят не вашей души, а вашей крови. Они полагают, что души у вас нет.

— А вы и по сей день еще верите в...гм?..

На верхней койке утробно залаял сумасшедший. Не расставаясь с тяжелой маской достоинства, еврейско-христианский врач, извинившись перед Эрни, стал одной ногой на его койку и, о чем-то поговорив с сумасшедшим, успокоил его на целый час — тому вель только и нужно было, что заявить о своем существовании. Затем доктор спустился на пол, и пока он отвечал на заданный ему вопрос, Эрни, немного сбитый с толку корректностью, которую бывший профессор напускал на свою заключенную в лагерь особу, разглядывал золотые очки. И вдруг он увидел за ними близорукие, по-французски голубые глаза, полные страха, сквозь который, как сквозь прореху в ковре, проглядывало скорбное, страляющее существо, воплощенное в плоть и кровь.

— Верую ли я и по сей день? День на день не приходится, мой бедный Придурок. В те времена, когда я

еще был «господином», как вы меня величаете, один из моих друзей, стараясь меня подлететь, всегда спрашивал, может ли Бог в своем всемогуществе создать камень такой тяжести, чтоб и самому не под силу было поднять. Со мной так и получается: я верю и в Бога и в такой камень.

Эрни подумал немного и улыбнулся.

— Не сердитесь на меня, господин Жужфруа, но я ничего не понял, — сказал он таким тоном, что санитар счел возможным не в ущерб своему достоинству засмеяться кулахтающим смехом, правда, вежливо прикрывая рот рукой.

— Ох, Придурок! — сказал он, наконец. — Что верно, то верно, мы, французы, часто бываем «умными без толку» — кажется, так у вас говорится? Сказать по правде, я и сам уже не знаю, католик я или нет. Когда в прошлом году выяснилось, что я на восьмую часть еврей, мне сначала стало очень стыдно. Что поделаешь, это было сильнее меня. Мне казалось, что я распял Господа нашего, что я... вы меня понимаете, да? Тогда я еще находился по ту сторону. А потом я попал сюда и начал стыдиться своей нееврейской крови. Мучительно стыдиться. Я думал о христианстве, об этих двух тысячелетиях катехизиса, который подготовил почву, сделал, так сказать, возможным... вы меня понимаете, да? (Прореха в ковре увеличилась). Двухтысячелет христологии... — произнес он задумчиво, как бы про себя. — И все же... нелепо, конечно, я понимаю... и все же я до сих пор верую. Личность Христа мне дороже, чем когда бы то ни было. Только, знаете, это уже не тот белокурый Христос из соборов, не прославленный Спаситель, распятый евреями. Он... — Доктор показал на изолятор, наклонился к зловонной койке Эрни, и взгляд его стал совсем распахнутым. — Он совсем другой, — закончил господин Жужфруа таким голосом, каким говорят все заключенные, и даже с едва уловимой еврейской интонацией.

К великому удивлению Эрни и соседей по койке, а может, и к своему собственному, доктор придержал очки и разрыдался.

Октябрьское небо напоминало слой грязного снега, готового вот-вот завалить весь двор. Ветер завывал человеческими голосами и кружил черную пыль над шлаком, покрывавшим всю территорию лагеря. Во дворе было пусто. Только возле барака «нормальных» по цементным плитам прогулочной площадки бегала кучка детей в развевающихся кашне. У ворот, поблескивая кожей и сталью, маячили эсэсовцы, которые теперь сменили французских жандармов, утративших в последнее время должное рвение. Доктор Луи Жюффруа, осьмушка еврея, поддерживал бледного, истощенного, несуразного в своем черном кафтане Эрни, который по состоянию здоровья не имел уже права пользоваться преимуществами изолятора. Так, ведя друг друга, они прошли вдоль административного корпуса, миновали общественную уборную из красного кирпича и добрались до прогулочной площадки возле барака «нормальных».

Голова у Эрни была выбрита, но короткая щетинка прикрывала следы пыток. Правда, плохо пришитое ухо отвисало, как от усталости, и беззубая улыбка делала его рот старческим. Когда они подошли к одному из двух входов в барак, оттуда пробкой вылетел мальчишка лет пятнадцати с отмороженным синим лицом и с бьющимися по ветру волосами.

— Мне теперь не холодно! — радостно крикнул он им, показывая на огромные рукавицы, привязанные веревкой к запястьям.

С криками «мне теперь не холодно» он пронесся через прогулочную площадку и скрылся во втором входе в барак.

Осьмушка еврея представил Эрни старосте комнаты на первом этаже по лестнице «А». Заслышав про-

звизге Придурок, остальные обитатели немелленно окружили койку Эрни. Ему дали суп, хлеб, витаминные таблетки и приправили всю эту провизию маской хитроумных советов, как избежать голода, жажды, болезни, смерти и так далее. Комната ничем не отличалась от изолятора, разве что в ней было спокойно: кто играл в карты, кто читал, кто вслух молился. Кучка людей стояла у круглой дымной, но холодной печки. Когда об Эрни уже немножко забыли, он, дрожа от холода, вылез из-под одеяла, поднялся наверх и начал обходить женские комнаты. «Красивая рыжая девушка. Как зовут? Голда. Да вот уже скоро три месяца». Только один раз он осмелился упомянуть, что она «чутьочку прихрамывает, но, вы знаете, совсем чутьочку и очень мило...» Ему отвечали неопределенно: столько эшелонов разгрузили и нагрузили за три месяца... кто его знает... разве всех упомянуть?.. А за его спиной шушукались. Перед лестницей «Б» он остановился: у него уже голова кружилась от этих женских комнат, от неописуемого беспорядка в них, от тысячи мелочей, по которым угадывалось желание сохранить до последней минуты шубку, помалу, забавную безделушку, прелестную вещь — жалкие остатки атрибутов женского начала. Но при входе в следующую комнату его сердце забилося еще прежде, чем он различил шевелюру Голды, на одной из коек напротив окна.

Голда сидела, обхватив голову руками, на самом краю койки и не слышала, как он подошел. Эрни дотронулся до ее красной куртки, будто хотел убедить себя, что это не сон, и тогда только она подняла лицо, вспухшее от клопных укусов, осунувшееся, исхудавшее, пожелтевшее. Голда зажала рот руками, чтобы не закричать. Руки были отморожены, покрыты синими пятнами. Эрни сел возле нее и расплакался. Когда он смог снова посмотреть на Голду, он увидел, что она разглядывает его печальными глазами без слез с тем особым равнодушием, которое характерно для всех заключенных.

— И ты здесь? — произнесла она холодно.

— А родители где? — спросил Эрни.

— Давно уехали. В Пичипой.

Эрни в отчаянии сжимал ее посиневшие от холода руки, но она не обращала на это никакого внимания.

— Давно ты сюда попал? — вежливо осведомилась она и, не дожидаясь ответа, тем же бесцветным голосом продолжала: — Я с трудом узнала тебя. Бедняжка, можно подумать, что тебя машина переехала. Только глаза и остались. Ну, а меня как ты находишь? Все еще красивой?

— Голда, Голда, — сказал Эрни.

Немного поодаль от них начали собираться любопытные. С верхней койки свесилась чья-то лохматая голова. Голда уныло ответила.

— Нет больше Голды. Здесь каждый сам за себя. Но я, конечно, рада тебе. Не думай, что...

— Может, ты голодна? — перебил ее Эрни.

Она на него растерянно посмотрела, и в глазах у нее появилось что-то осмысленное.

— Подожди, — сказал Эрни, вставая.

Он шутливо потрепал Голду по синему носу, и ему удалось добраться до дверей так, чтобы никто не заметил, какая страшная слабость подкосила его ноги. Но во дворе на ледяном ветру он схватился за живот и согнулся в три погибели от сильных резей, которые у него теперь часто бывали после дизентерии. И все-таки, несмотря ни на что, он почувствовал странное успокоение: ему казалось, что отныне ни люди, ни обстоятельства, которые делают с людьми все что угодно, никогда уже не смогут выбросить его за борт еврейского ковчега, где с той самой минуты, как он попал в изолятор, у него возникло ощущение, будто его поддерживают незримые тени близких: где несколько минут назад он смог наяву коснуться пальцев Голды. Неважно, что она стала уродливой, раздражительной и безразличной к прошлому. Он бодро приподнял одеяло на своей койке и нашел нетронутый ломтик хлеба с витаминными таблетками. Изо-

бразив улыбку, он самым естественным тоном спросил ближайших соседей, не подарит ли ему кто-нибудь кусочек шоколаду или что-нибудь другое из сладостей «для сердца». Соседи в негодовании отвернулись.

— Вы совершенно правы, — сказал на илиш один из игравших в карты, — он невыносимо смешон.

— Но я же не для себя прошу! — чуть не заплакал Эрни. — Клянусь вам, мне нужно дать это другому человеку.

Смех усилился. В мгновение ока вся комната узнала о новой выходке Придурка. Однако лежавший на соседней койке мужчина с седыми висками запустил руку в потайную дыру, проделанную в матрасе, и вытащил оттуда футляр из-под очков, в котором были спрятаны два кусочка сахара и несколько леденцов. Он высыпал содержимое футляра себе на руку, подумал немного, положил один леденец обратно, подтянулся к Эрни, который согнулся под градом насмешек, и с улыбкой протянул ему свое маленькое состояние.

— Брат мой, — прошептал он с едва уловимым оттенком сожаления в голосе, — прав ты, а не они: очень важно давать... — Он сделал паузу и улыбнулся смелее, — ...когда у самого ничего нет.

Эрни сразу догадался, что в его отсутствие произошло что-то связанное с ним. Несколько женщин, поджидавших его на площадке, по-дружески внимательно вглядывались в него печальными глазами. Одна из них — коротышка в капюшоне — вытащила руки из-под одеяла, наброшенного на плечи как пелерина, горячо зааплодировала и даже нелепо выкрикнула: «Браво!». Вслед за ней таинственно заулыбались и остальные. Однако в их странном поведении Эрни не учуял никакого подвоха и прошел в комнату. Тут-то его и ожидал сюрприз. Вокруг разряженной Голды стрекотала стайка женщин, одна из кото-

рых усердно красила ей губы. При его приближении они разбежались в разные стороны. Женщины с соседних коек тоже ушли в дальний угол, и Голда, накрашенная и растрепанная, осталась одна посреди прохода. Когда она увидела ломтик черного хлеба и сладости, которые Эрни прижимал к себе, у нее так заблестели глаза, что она снова сделалась красивой. Взяв Эрни за палец, Голда усадила его на койку и, пока он молча и аккуратно стирал с нее послюненным носовым платком косметику, она все сокрушалась:

— Это они придумали сделать меня красавицей, это все их затеи...

Вдруг она нежно рассмеялась и, прижав руку Эрни к своему лицу, сказала:

— А я и не знала, что это тебя прозвали Придурком. Ты в лагерь пришел из-за меня?

— Нет, право же, нет, — тихо ответил Эрни.

На запудренном и набеленном лице глаза девушки сияли такой же любовью и чистотой, такой же необъяснимой жизненной силой, как тогда под листвой на бульваре Мутон-Дюверне.

— Значит, — вздохнула она, — есть иные небеса, есть иная земля, и мысли не только те, что приходят в Дранси?

В середине октября автобусы Фельдграу привезли из пересыльного лагеря в Питивье тысячи полторы сирот от четырех до двенадцати лет. Их сначала выгрузили на засыпанную снегом площадку для переключек, а потом загнали, как стадо, в специальные комнаты за перегородкой в административном корпусе. Так как дети душераздирающе звали родителей, им решили сказать, что скоро они встретят своих пап и мам в Пичипое, который, по всей видимости, должен был стать ближайшим, если не последним этапом превратностей их судьбы на этой земле. Малыши часто не знали своих имен, так что

приходилось расспрашивать их товарищей и полагаться на эти сведения. Установленные таким путем имена и фамилии записывались на деревянные бляхи и вешались ребенку на шею. Уже через несколько часов на глаза часто попадались мальчики, у которых на бляхах значилось «Этель» или «Сара». Малыши играли бляхами и обменивались ими.

Эшелон с детьми должен был отправиться послезавтра на рассвете. К нему приписали пятьсот взрослых. Узнав, что Голда попала в этот список, Эрни тайком пошел в канцелярию и застал там с десяток женщин-просительниц. Одни хотели разделить судьбу со своими мужьями, другие просто жалели детей. Человек со списком сидел в конце коридора на первом этаже в конторке размером с чулан, набитой карточками и папками. Единственная красная лампочка, как кровавый глаз, висела над лысиной смешной марионетки в пенсне и в канцелярских нарукавниках. Лысина поблескивала розовой кожей, а голубые глазки смотрели бесплотным, благосклонным взглядом фотографии прошлого века. Желтая звезда, казалось, сыграла злую шутку, прицепившись к его блузе с тщательно заглаженными складками.

— Вы сумасшедший, — просюсюкала марионетка по-французски, когда Эрни изъявил свое странное желание.

— Точно, — подтвердил Эрни, глуповато хихикая, — вы угадали: я сумасшедший.

Обворожительный взгляд чиновника затуманился сомнением:

— В том смысле, что вы верите в это царство для евреев, — сказал он, тыча пером в сторону Эрни. — А что, если там... нечто совсем другое?

Немножко переигрывая, Эрни трижды хлопнул в ладоши и выкинул антраша, чем окончательно сбил с толку писца, тем более, что худой, как скелет, с беззубым ртом, в черном кафтане, болтавшемся на нем, как на вешалке, Эрни действительно походил на сумасшедшего.

— Господин Блюм, — пронзительно захохотал он, — мое царство повсюду, где есть евреи!

Гомункулус пожал плечами и, убедившись, что рвущийся в еврейское царство проситель наотрез отказывается от имеющегося у него выбора, наклонился над списком и, посасывая ручку, стал его перелистывать. Неожиданно наткнувшись на однофамильца сумасшедшего, он зачеркнул имя «Герман» и красивым каллиграфическим почерком вывел сверху: «Эрни».

Обыск был днем.

Инспекторы французской полиции по еврейским вопросам производили его, как обычно, в бараке, смежном с эсэсовским. У входа поставили стол, и лобовольцы до вечера кое-как собирали на нем детские узелки. Маленькие брошки, сережки и браслетики девочек шли в то же место, что и драгоценности взрослых. Девчушка лет десяти вышла после обыска с окровавленным ухом: от страха она не могла достаточно быстро снять сережку, и эсэсовец вырвал ее с мясом. Эрни заметил еще и мальчика лет шести: красивая курточка перепачкана и разодрана на плечах, одна нога босая, на другой — хороший ботинок, в руках нет узелка — гол, как сокол.

После обыска две тысячи душ вошли в административный корпус и с этого момента оказались изолированными от остального лагеря. В специальных комнатах за перегородкой не было даже соломы. Сразу же поднялась неопишущая суматоха. Обезумевшие от обыска дети совсем потеряли голову. Взрослые разбивали их на группы и распределяли между собой обязанности. Эрни помогала докторша и несколько медсестер. Потом те, у кого после обыска случайно остались ручки или карандаши, до ночи писали прощальные письма. Вокруг Эрни толпились неграмотные домашние хозяйки и старушки, и он уже больше не мог выводить одну и ту же фразу, жуткую в своем единообразии: «Завтра мы уезжаем в неизвестном направлении...»

— Почерк у меня немного дрожащий, — повторял он, улыбаясь, — но это потому, что карандаш слишком короткий.

Между ним и Голдой спали двое детей. В темноте Эрни протянул вдоль стены руку и встретил Голдину, которая тянулась к нему. Время от времени чей-нибудь крик вызывал переполох, и тогда темнота превращалась в сплошной вопль. Приходилось вставать: голос взрослого действовал на детей успокаивающе. Но и женщины безумели в темноте от страха. Их стенания удавалось унять только одним способом: дать им на руки ребенка. Иногда криками раздражалась соседняя комната, и, выйдя из забытья, напуганные, голодные и замерзшие дети орали в ответ. Эрни знал об этих «диалогах» по рассказам старых заключенных, но он и представить себе не мог, как это жутко на самом деле. Под утро дети так крепко уснули, что только эсэсовцы могли их вытащить из комнаты, когда, разбуженные, они начинали понимать, что затевается в мире взрослых. Однако во дворе, как по мановению волшебника, наступила тишина. На переключке, послушно держась за руки взрослых, дети старались как можно яснее произносить свои имена, а те, кто их не знал, отвечали по подсказке взрослых, которые, в свою очередь, читали их на бляхах, с трудом разбирая буквы в мутном свете прожекторов, установленных на сторожевых вышках. Потом со всех спороли звезды и сбросили их на середину двора, отчего он стал похож на луг, усыпанный золотыми бутонами. Наконец, на стадо направили автоматы, ворота раскрылись, и во двор въехали первые автобусы, развозящие товары.

В последнюю минуту немцы бросились на какого-то заключенного в котелке, с платочком в нагрудном кармане. Его повалили в снег, топтали ногами, били прикладами, однако больше всего он, видимо, был оскорблен тем, что для начала эсэсовец кулаком приплюснул его котелок, окончательно раздавив последние остатки его достоинства. Какие-то дети захихи-

кали. Эрни отчетливо почувствовал, что переходит в последний круг ада, уготованного всему роду Леви. И, когда через час на вокзале Дранси задвинулись двери товарных вагонов и набитых в них евреев захлестнула темнота, Эрни тоже не удержался и вместе со всем стадом завопил от страха. «Помогите! Помогите! Помогите!» — кричал он, словно хотел в последний раз попытаться сотрясти пространство, в котором, по законам физики, человеческий голос не может не встретить эхо, каким бы слабым оно ни было.

2

Голова Эрни еще лежала на коленях у Голды, но он уже вышел из оцепенения и подумал, что душа должна быть сделана из ничего, чтобы не разбиться под ударами тех испытаний, которые Бог посылает живому человеку.

— Ты плакал во сне, — услышал он будто издалека голос Голды, — ты все время плакал. Тебе, значит, не удастся видеть сны? — докончила она жалобно-укоризненным тоном.

Приподнявшись на локтях, Эрни снова увидел перед собой все ту же полутьму и снова не поверил своим глазам. Товарный вагон, грохоча колесами, несся вперед. Казалось, только он один и был прицеплен к паровозу. А тот сопел, как допотопное чудовище, уволакивающее в свою берлогу несколько сотен тел; распластанные на полу, они все походили на замороженные трупы, хотя истинно упокоенных навек было всего несколько десятков; их сложили в угол, который сначала был отведен больным детям, но постепенно превратился в морг, где перемешались руки и ноги и глухо стучали друг о друга черепа.

— Давай я протру тебе глаза, они у тебя стали совсем красными.

Девушка притянула к себе голову Эрни, подышала на задубелый от холода носовой платок и протерла

воспаленные веки своего друга. Эрни окончательно проснулся и увидел, что вокруг них собралась группа детей — около пятнадцати ребятишек всех возрастов. Они жались друг к другу, движимые тем же защитным рефлексом, который соединял в одну массу мужчин и женщин под общими одеялами. Их лица посинели от дизентерии, но глаза были устремлены на Эрни и, кроме ожидания, какое бывает только в глазах животных, ничего не выражали. Некоторые дети сидели с раскрытыми ртами (а может, у них отвисли челюсти), из которых, как из черных печей, валил пар.

— Они ждут, чтобы ты с ними поговорил, — сказала Голда, и в порыве детского негодования, которое не покидало ее уже целые сутки, с тех пор как большая часть запертых в вагоне смертников потеряла человеческий облик, она яростно добавила: — Как видно, я уже не имею права на тебя.

Пока она это говорила, из темноты начали выплывать другие силуэты: дети подползали на коленях, на локтях, вороша почерневшую от угольной пыли и промокшую от нечистот солому.

— Который час? — спросил Эрни.

— Уже третье утро наступило, — едва выговорила Голда.

— Дождя так и не было?

— Нет, но роса превратилась в сосульки.

Окоченевшими пальцами она выковыряла из щели между досками вагона одну из них и поднесла к губам Эрни. Не придя еще окончательно в себя, он начал медленно ее сосать под завистливые взгляды детей. Холод обжигал небо и перехватывал горло, но утоление жажды приносило огромное счастье.

— Я, значит, для тебя ничто? — сказала Голда.

«Она хочет, чтобы я утешил сначала ее, а потом детей», — «образил Эрни. Он приподнялся повыше, привлек к себе укутанную в одеяла Голду, открыл шерстяной платок, снятый с покойника, по-

целовал посиневшее, холодное лицо и прижался к нему щекой.

— Ты для меня — все, — начал он протяжным, завораживающим голосом, зная, что только так можно успокаивать несчастных подопечных. — Ты для меня дороже хлеба и воды, солнца и воздуха, соли и огня, ты для меня дороже жизни... — говорил он, забываясь не столько о смысле своих слов, сколько о плавном ритме библейского стиха.

Измученная бессонной ночью, Голда положила голову ему на плечо и забылась в слезах.

— Все дело в том, — продолжал Эрни, глядя на детей, смотревших ему прямо в рот, — что ты думаешь, будто есть вагон и будто в нем что-то происходит, когда в действительности ничего этого нет, правда, дети? А все потому, что ты доверяешь своим глазам, и ушам, и рукам...

При этих словах дети в первом ряду открыли рты. Одни качали головой, словно стараясь скорее погрузиться в мечту, которую ткал для них Эрни, другие подобрались поближе, жадно вытягивая шеи и уже пуская слюнки.

— Ты не для меня говоришь, — зарыдала Голда, — ты для детей говоришь.

Первый ряд в испуге поддался назад: отталкиваясь от пола руками, коленками, дети отползали до жути медленно, без единого слова, но их взгляды были по-прежнему прикованы к губам Эрни. И он снова поразился выносливости своей души. «Великий Боже, — подумал он, — ты дал мне душу кошки: трижды нужно убить ее, чтоб она, наконец, умерла». Глядя по щеке прильнувшую к нему Голду, он с трудом раскрыл беззубый рот (получилось нечто вроде нежной улыбки), подмигнул, как заговорщик, детям и шепотом обратился на идиш к тем, кто еще оставался в первом ряду:

— Разве вы не знаете женщин, детки мои? Не обращайтесь на нее внимания, подойдите поближе, я расскажу вам про наше царство.

Мальчонка из первого ряда приоткрыл вспухший глаз (он ушибся накануне, когда в вагоне поднялась паника) и, едва ворочая пересохшим языком, прошептал:

— Расскажите лучше не нам, а вон тому мальчику, он заболел и все время вас зовет...

— Почему ты меня не разбудила? — спросил Эрни.

— Я пожалела, ты в первый раз уснул... — ответила пристыженная Голда.

Эрни молча оторвался от нее и, испытывая боль при каждом движении, на коленях пополз между детьми. Те отодвигались, уступая ему дорогу, а иногда он перебирался через них, чтоб им не пришлось лишний раз шевелиться. Больной ребенок лежал метрах в двух от морга. Возле него, прислонясь к стенке, сидела старая докторша: лицо у нее было неподвижное, как маска, на голове была налета белая шапочка с красным крестом — атрибут, с которым докторша ни за что не хотела расставаться, хотя со вчерашнего дня вся ее медицинская помощь сводилась к тому, что она растирала заочеченвшие тела дизентериков и смотрела, как они умирают. Она глядела, не мигая, куда-то в тревожное пространство запломбированного вагона и даже не шелохнулась, когда подошел Эрни.

-- Он умер, — просто сказала она.

Лицо старой женщины напоминало высохшую кость, и ноздри у нее слиплись, как у мертвого ребенка. Чувствуя на спине пристальные взгляды детей, Эрни очень громко, так, чтобы все слышали, сказал:

— Он уснул...

Эрни осторожно переложил трупик на растущую грудь еврейских мужчин, еврейских женщин, еврейских детей, которых баюкал грохочущий поезд в их последнем сне.

— Это мой брат, — робко сказала девочка, словно от смущения не знала, как себя вести с Эрни.

Он сел возле нее и посадил ее на колени.

— Твой брат скоро проснется и встанет вместе со всеми, когда мы приедем в царство Израилево. — сказал Эрни. — Там дети встретятся со своими родителями, и все возрадуются. Потому что страна, куда мы едем, — наше царство, запомните это хорошенько. Там никогда не заходит солнце, и можно есть все что душе угодно. Там ожидает вас вечная радость. Наступит веселье, уйдут несчастья, затихнут стоны...

— Там можно греться днем и ночью, днем и ночью... — раздался счастливый голос какого-то ребенка. — Там можно греться днем и ночью, днем и ночью, — повторял он, будто много раз уже слышал эти слова или произносил их сам.

— Верно. — подтвердил Эрни. — так оно и будет.

— Там немцев нет, там нет вагонов, там все не больно, — раздался в темноте другой голос.

— Нет, ты молчи, — раздраженно сказала девочка, — пусть господин раввин говорит, он лучше тебя рассказывает.

Продолжая баюкать сестру покойного мальчика, Эрни начал снова. Вокруг него покачивались детские головки, а за ними он заметил несколько взрослых, кото~~ры~~ ~~е~~ украдкой слушали его с таким же замороженным видом, как и малыши. Вдруг девочка заплакала. Она смотрела на Эрни широко раскрытыми глазами и плакала без слез, как многие дети, которые чересчур наплакались в первые два дня. Потом она прижала синие кулачки к его груди и уснула.

— Сударь, убаюкайте, пожалуйста, и меня, я еще ни разу не спал с тех пор, как мы в поезде. — сказал умирающим голосом мальчик лет двенадцати, у которого так исхудало лицо, что глаза, казалось, только чудом не вываливаются из орбит.

— А зачем? — спросил Эрни.

— Мне страшно.

— Но как же я тебя буду баюкать, ты уже большой, — невольно улыбнулся Эрни.

— Ну и что, что большой, я все равно хочу спать, — взмолился дизентерик.

Эрни уложил девочку, прикрыл ее одеялом и с общей помощью усадил на колени мальчика. Но он сам настолько ослабел, что баюкания не получалось — он просто поочередно приподнимал то плечи больного, то его лоснящиеся от нечистот ноги. Голда принялась растирать самых замерзших детей: ей помогали несколько женщин, которые тоже чуть не падали от слабости.

— Когда мы будем в царстве Израилевом... — бормотал Эрни над мальчиком, у которого глаза затянулись желтой пленкой и приняли выражение спокойной задумчивости.

Через минуту Эрни увидел прямо перед собой изможденное лицо докторши.

— Что вы делаете? — в ярости прошептала она Эрни на ухо.

Дети в первом ряду испуганно отодвинулись. Эрни опустил глаза и увидел, что баюкает уже не живой труп, а настоящего покойника.

— Как вы можете им говорить, что все это только сон? — злобно вцепилась она ногтями в плечо Эрни.

Продолжая машинально укачивать мальчика, Эрни заплакал без слез.

— Мадам, — сказал он наконец, — здесь не место для правды.

Он перестал баюкать труп и посмотрел на докторшу, которая изменилась в лице.

— А для чего же здесь место? — начала она, но пристально взглядевшись в Эрни, dokonчила шпотно: — Вы, значит, совсем, совсем не верите в свои слова?

Она плакала с каким-то горьким сожалением, прерывая свой плач жутким, как у сумасшедших, смехом.

3

Многое еще пришлось пережить Эрни Леви в запломбированном вагоне, как и сотням его совре-

менников. Когда с польского неба на грудь сплетенных тел спустилась четвертая ночь и всей тяжестью кошмарного чудовища навалилась на растерзанные души, когда кое-кто из взрослых еще боролся с ней, дуя себе на руки или растирая отмороженные части тела, из приоткрытых ртов детей уже не выходил ни один стон, ни одна жалоба, ни один крик. Даже лаской их нельзя было заставить заговорить. Они лишь смотрели на вас долгим пустым взглядом, и те, которые были прижаты к взрослым, как звереныши, время от времени неслышно скребли их ноготками, даже не из желания дать миру знать о своем существовании, а просто потому, что палыцы сводила судорога, идущая из еще теплых внутренностей; слабая пульсация еще гнала по жилам кровь, и в телах, еще не успокоенных Богом, хотя их и покинула угасшая душа, все еще теплилась жизнь. Эрни неподвижно сидел под стенкой и не решался проверить, дышит ли еще уснувшая на его плече Голда, осталось ли в ней еще то, что благодаря и вопреки страданиям плоти составляло предмет его любви. Он давно уже не мог шелохнуться, и только грудь возвышалась над кучей взгромоздившихся друг на друга маленьких тел, привлеченных воспоминаниями о его рассказах. Кто просто касался его рукой, кто упирался в него кулачками — так и застыла эта подкатившая к нему волна замерзшей плоти. Полагая, что кто-нибудь из детей еще способен его услышать, Эрни время от времени сочинял в уме веселые и нежные фразы, но, как он ни старался, слова не могли пробиться наружу сквозь замкнутый рот.

Паровоз дал свисток, застонал и как бы нехотя остановился. По студенистой массе, наполнявшей вагон, пробежала дрожь. Но едва послышался первый лай собак, как ужас моментально наэлектризовал распластанные тела. Окаменевший Эрни тоже зашевелился и приподнял Голду, которая тут же очнулась от забытья. Оставшиеся в живых дети заорали во всю силу своих отравленных легких и еще теснее

стянули копошащееся вокруг Эрни кольцо. Снаружи уже срывали пломбы, наложенные в Дранси, уже отъезжали двери, впуская в вагон потоки слепящего света, в которых маячили первые силуэты эсэсовцев с дубинками или плетками в руках, удерживающих черных псов на до отказа натянутых поволоках: уже блестящие сапоги погружались в клокочущее месиво заключенных, заставляя его выплескиваться на перрон; побои и крики поднимали самых обессиленных и подгоняли их, как стадо баранов, которые давят друг друга. На заре в мутном свете прожекторов платформы казались призрачными. Сооружение, имитирующее вокзал, выходило на странную площадь, границы которой с одной стороны составляла цепь эсэсовцев с собаками, а с другой — высокое здание, смутно вырисовывающееся в редящем тумане. Эрни и сам не понимал, как ему удавалось бежать, когда на одной руке у него повисла Голла, а на другой — какой-то ребенок; но он все же бежал среди обезумевших заключенных, многие из которых еще имели глупость тащить с собой чемоданы или узлы. Впереди него у одной женщины раскрылся чемодан, и она упала, не успев придержать юбку, которая задралась до пояса. Как из-под земли вырос эсэсовец с черной собакой, заливавшейся лаем, и прямо на глазах у помертвевших от ужаса заключенных заорал своей огромной псине: «Человек! Взять собаку! Взять ее!» Под вопли несчастной женщины Эрни побежал вместе со всеми дальше, уже ничего не соображая и не чувствуя, кроме того, что у него раскалывается череп и что одну руку ему сжимает Голла, а другую — ребенок, о котором он вдруг почему-то подумал: «Мальчик это или девочка?»

Под еще темноватым на заре небом эта площадь, истоптанная сотнями еврейских ног, казалась привидевшейся во сне; но настороженный взгляд Эрни тотчас же уловил вполне реальные грозные приметы.

Хоть площадь наскоро и подмели перед самым приходом поезда (это сразу бросалось в глаза), там и сям на земле еще валялись разные вещи: узлы с бельем, раскрытые чемоданы, кисточки для бритья, эмалированные кастрюли... Откуда они здесь? И почему сразу же за платформой колея резко обрывается? Отчего такая желтая трава?.. И зачем эти проволочные заграждения высотой чуть ли не в три метра? Почему новые охранники ухмыляются, видя, что новоприбывшие, как бы возвращаясь к жизни, стараются освоиться в новых условиях — мужчины обтирают лоб носовыми платками, девушки поправляют волосы и юбки, когда поднимается ветер, старики усаживаются на чемоданы, молчаливые, как и все это стало, которое наконец-то согнали в кучу. За исключением этих загадочных ухмылок, охранники кажутся совсем беззлыми: спокойно отдают приказания, вяло отвешивают пощечины или пинают ногами. И Эрни понял: ими движет не ненависть, а скорей, наоборот, своего рода симпатия, которую человек питает к собаке, даже когда он ее бьет. Очень просто: если тот, кого бьют, — собака, то есть некоторая доля вероятности, что тот, кто ее бьет, — человек. Эрни снова посмотрел на высокое злание и увидел сквозь туман поднимающуюся высоко в небо полосу света, которая оканчивалась черным облаком дыма: в то же мгновение он почувствовал над площадью тошнотворный запах, отличающийся от застойного запаха дизентерии тем, что он был едким, как при сгорании органических веществ.

— Ты плачешь кровью, — вдруг удивленно сказала Голла.

— Ну, что ты такое говоришь, как это можно плакать кровью? — ответил Эрни и, утирая катившиеся по щекам кровавые слезы, отвернулся, чтобы скрыть от девушки смерть еврейского народа, которая, как он знал, была написана у него на лице.

Толпа перед ними начинала редеть. Заключенные по одному подходили к эсэсовскому офицеру, стояв-

шему между двумя вооруженными охранниками, и тот кончиком тросточки рассеянно направлял их в разные стороны, предварительно оценив беглым взглядом. Относительно крепкие на вид мужчины от двадцати до сорока пяти лет уходили налево и выстраивались за цепью эсэсовцев, возле открытых грузовиков, которые Эрни заметил только теперь, когда стал рассеиваться туман. Ему даже удалось разглядеть на одном из них группу мужчин, одетых, кажется, в пижамы, с музыкальными инструментами в руках — нечто вроде бродячего шутовского оркестра, готового, вероятно, в любую минуту заиграть, потому что трубы и тарелки были уже подняты в воздух. Дети, женщины, старики и инвалиды уходили направо и толпились у здания с колосниковой решеткой, вделанной прямо в боковую стену этого странного сооружения.

— Нас сейчас разлучат, — холодно сказала Голла.

Ее опасения словно передались детям, и те еще тесней окружили Эрни, которого им чудом удалось отыскать в толпе. Одни лишь смотрели на него с неммым упреком в набухших глазах, другие ухватились кто за рукав, кто за полы ободранного черного кафтана. Уже зная, какая судьба им предстоит, Эрни гладил детей по голове, а сам смотрел на Голлу широко раскрытыми глазами, затуманенными кровью, застывшей у него на веках. В последний раз вбирал он любимые черты, в последний раз впитывал в себя ее душу, созданную, как по заказу, для простого счастья, немудреного и чудесного, как сама природа: в последний раз ласкал взглядом свою невесту, с которой его сейчас навсегда разлучит небрежный взмах тросточки в руках врача-эсэсовца.

— Нет, нет, — улыбаясь, сказал он Голле, и кровь снова хлынула из его глаз, — мы останемся вместе, уверяю тебя.

Он повернулся к детям, которые начали тихонько стонать.

— Дети, послушайте, неужели вы можете пове-

рить, что теперь, когда мы прибыли в наше царство, я в него не войду? Сейчас мы войдем туда вместе. — успокаивал он их. — нас ждет там пиршество со старыми добрыми винами, с прозрачными, чистыми винами, там ждет нас, ягнята мои...

Они слушали, не понимая, что он говорит, и тень улыбки тронула их пересохшие губы.

4

Я так устал, что перо мое больше не пишет. «Сними с себя одежды, человек, посыпь главу пеплом и беги, пляши в безумии своем по улицам и площадям...»

Всего одна досадная заминка нарушила процедуру сортировки: какая-то женщина, напуганная тошнотворным запахом, вдруг закричала: «Здесь убивают!», чем вызвала короткую вспышку паники: стадо медленно отхлынуло к платформам, замаскированным чем-то вроде театральной декорации, изображающей вокзал. Охранники сразу же приняли необходимые меры, и, после того как они успокоили стадо, по рядам прошли офицеры, вежливо, а кто и елебно объясняя, что крепких мужчин привезли сюда строить дома и шоссе, остальные же могут отдыхать с лорги, пока не получат какую-нибудь легкую работу или другое несложное занятие. Эрни с радостью отметил, что даже Голда, очевидно, поверила в эту версию, потому что надежда расправила черты ее лица. Вдруг духовой оркестр заиграл старинную немецкую мелодию, в которой Эрни, к ужасу своему, узнал одну из тех меланхолических песен, что так любила Ильза. Сверкала в сером воздухе мель, от оркестра в пижамах и от протяжной спокойной музыки исходила некая гармония, и на один миг, всего лишь на один короткий миг Эрни тоже в глубине души поду-

мал, что здесь что-то не то: нельзя как ни в чем не бывало играть музыку для мертвецов, даже если это вот такая замогильная мелодия. Но вот смолкла последняя труба, убаюканное стадо успокоилось, и сортировка пошла своим чередом.

— Я же болен, я даже ходить не могу, — прошептал Эрни по-немецки, когда дошла до него очередь и тросточка указала в сторону работоспособных мужчин, которым даровали отсрочку.

Главный врач лагеря уничтожения в Освенциме доктор Менгеле мельком взглянул на «еврейское дерьмо», произнесшее только что эти слова.

— Что ж, мы тебя подлечим.

Тросточка описала полукруг. Два молодых эсэсовца насмешливо улыбнулись. Эрни даже пошатнулся от облегчения. Он добрался до здания, перед которым колыхалось скорбное море людей, и, обхваченный руками Голды и малышей, погрузился в тягучую волну общего ожидания. Наконец, все были в сборе. Тогда унтершарфюрер громко и четко предложил всем оставить вещи и отправиться в баню, имея при себе документы, драгоценности, самые необходимые банные принадлежности — и ничего больше. У каждого на языке вертелись десятки вопросов. Белье брать? Узлы развязать можно? Ничего не пропадет? Где потом искать свои вещи? Но обреченные молчали, сами не понимая, какая странная сила заставляет их, ни слова не говоря и даже ни разу не оглянувшись назад, торопливо илти к входу, пролептанному в трехметровом проволочном ограждении возле здания с решеткой. Вдруг на площади снова заиграл оркестр, и раздались первые звуки моторов: их рев поднялся в еще набрякшее от утреннего тумана небо и замер вдали. Отряды вооруженных эсэсовцев разбили обреченных на группы по сто человек. Коридору за колючей проволокой, казалось, не было конца. Через каждые десять шагов — указатель: «К баням и на ингаляцию». Потом стало прошло перед противотанковыми рогатками вдоль оборонительной

траншеи, затем перед колючей проволокой, скрученной крупными петлями, и опять по многометровому проходу в проволочном ограждении. Эрни нес на руках потерявшего сознание ребенка. Остальные дети шли сами, поддерживая друг друга. И по мере того, как молчание становилось все более и более гнетущим, а запах — все более и более зловонным, на губах Эрни оживали нежные ласковые слова, говорившие детям о мечте, о Голде, о любви. Ему казалось, что вечная тишина поглощает стадо евреев, которых гонят на бойню, что не останется ни одного наследника, ни даже воспоминания, которое продолжило бы это безмолвное шествие жертв: не задрожит верный пес, не зазвонит колокол — только звезды будут вечно плыть в холодном небе. «О, Боже, — сказал себе вдруг Праведник Эрни Леви, снова обливаясь кровавыми слезами жалости, — о, Создатель, так вышли мы много тысяч лет тому назад. Мы шли и шли через безводные пустыни и красное от крови море, утопая в горьких и соленых слезах. Мы очень стары. Мы все еще идем. Мы так хотим наконец прийти».

Здание напоминало просторные бани: справа и слева стояли бетонные тигли с тонкими стеблями засохших цветов. У деревянной лестницы лобродушный усатый ээсовец приветливо говорил обреченным: «Больно не будет! Дышите только поглубже — легкие станут крепче и заразные болезни не пристанут; это хорошее средство. Дезинфекцией называется». Большинство входили без единого слова, на них напирала идущие сзади. Внутри на стенах прибиты вешалки с номерами — нечто вроде огромного гардероба, где стадо кое-как раздевалось, подбалдриваемое ээсовскими распорядителями, которые советовали всем хорошенько запомнить свои номера. Потом раздали по кусочку мыла, похожего на камень. Голда попросила, чтобы Эрни на нее не смотрел, и так с за-

крытыми глазами он и прошел во второй зал, куда девушка ввела его через раздвижную дверь. Малыши держались скользкими руками за его голые бедра. В бетонный потолок были вделаны душевые розетки и ввинчены синие лампочки с решетками. В их бледном свете уже толпились евреи — мужчины, женщины, дети и старики. Не открывая глаз, Эрни почувствовал напор последних партий, которых эсэсовцы теперь заталкивали в газовую камеру прикладами. И с закрытыми же глазами Эрни узнал, что над живыми существами меркнет свет и тьма поглощает сотни еврейских женщин, вдруг завопивших от отчаяния: стариков, немедленно начавших молиться: замученных детей, которых в этом аду обуял простолушный младенческий страх, и они кричали: «Мама, я же слушался! Ой, как темно!..» И пока первые порции «Циклона Б» просачивались между потными телами взрослых на живой ковер детских голов, Эрни высвободился из немых объятий девушки, наклонился над прилипшими к его ногам малышам и крикнул что было сил в его нежной душе:

— Дышите глубже, ягнята мои, дышите побыстреей!

Когда пелена газа покрыла уже всех, пол черным небом смертной камеры наступила минутная тишина — лишь кое-где раздавался кашель или предсмертный хрип. Но тишина длилась недолго: ее сменила молитва. Сначала робкая, как ручеек, она переросла в бурный поток, в грозную лавину, неудержимую в своем величии; и эта поэма, созданная евреями, которые вот уже две тысячи лет не держали в руках меча, не имели ни миссионерских империй, ни цветных рабов, эта древняя поэма любви, которую они начертали своей кровью на заскорузлой поверхности земли, пройдя сквозь дым пожаров и костров своей еврейской истории, дошла до камеры, заполнила ее и одержала верх над злорадной сутью этого бездушного чудовища. «ШМА, ИСРАЭЛЬ, АДОНАЙ ЭЛОХЕЙНУ, АДОНАЙ ЭХОД...» Слушай, Израиль, Веч-

ный наш Бог, Вечный и Единый. Милостью своей Ты питаешь живущих и милосердием великим возвращаешь к жизни умерших. Ты даешь слабым опору, исцеляешь калек и разбиваешь цепи рабов. Ты непременно исполняешь свои обеты простертым пред Тобою во прахе. Кто подобен Тебе, Отец Милосердный, и кто может Тебе уподобиться...»

Один за другим умирали голоса, не досказав поэмы. Уже впились ногти задыхающихся детей в бедра Эрни; уже слабели объятия Голды, и холодели ее губы, когда, в отчаянии обхватив шею любимого, она прерывисто зашептала:

— Я, значит, больше тебя не увижу? Никогда, никогда?

Эрни удалось превозмочь огненную иглу, разрывавшую его горло, и уже когда слабеющее тело девушки оседало вниз, в густой тьме он широко раскрыл глаза и крикнул в ухо безжизненной Голде:

— Скоро мы встретимся, совсем скоро, клянусь тебе!

Потом он понял, что уже не в силах больше помочь никому на свете. И в последней вспышке сознания перед собственным уходом в небытие он вспомнил легенду о рабби Ханине бен Традионе, которую всегда весело рассказывал дед. Когда римляне обернули доброго рабби свитком Торы и бросили в костер за то, что он учил Закону, и когда загорелись поленья, которые мучители положили еще сырыми, чтоб продлить пытку, ученики его спросили: «Что ты видишь, учитель?» И рабби Ханина ответил: «Вижу, что пергамент горит, но буквы улетают». «Да, да, буквы улетают», — мысленно повторил Эрни Леви, когда пламя, сжигавшее его грудь, перекидывалось уже на мозг. Мертвыми руками обнимал он Голду, словно все еще хотел защитить свою любимую. Так в этой позе и нашла его *зондеркомандо*, на обязанности которой лежало сжигание евреев в печах крематория. И таких, как он, были миллионы. Миллионы *луфтменн* превратились в *луфт*. Я и переводить

не буду. Так что в финале этой истории нет чьей-то могилы, куда можно прийти и поклониться праху. Ибо дым крематориев подчиняется тем же законам физики, что и всякий другой дым: частицы собираются и рассеиваются по ветру, который их гонит дальше. Есть только один способ почтить память погибших, уважаемый читатель, — печально смотреть иногда в небо, где собирается буря.

Да возвеличится. Освенцим. Имя твое. Майланск. Прелвечный. Треблинка. Да возвеличится. Бухенвальд. Имя твое. Маутхаузен. Предвечный. Белжес. Да возвеличится. Собибур. Имя твое. Хелмно. Предвечный. Понари. Да возвеличится. Терезин. Имя твое. Варшава. Предвечный. Вильнюс. Да возвеличится. Скаржиско. Имя твое. Берген-Бельзен. Предвечный. Янув. Да возвеличится. Дора. Имя твое. Ноенгамме. Предвечный. Пусткув. Да возвеличится...

Иногда, правда, сердце рвется от горя. Но нередко, особенно по вечерам, мне кажется, будто Эрни Леви, который умер шесть миллионов раз, все еще жив, хоть я и не знаю, где... Вчера, когда меня трясло от отчаяния посреди улицы, живительная капля сострадания упала сверху мне на лицо: но в воздухе не было ни ветерка, в небе — ни тучки... Ничего. Только чье-то присутствие.

РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ КНИГИ:

- 1–2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниковский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея.
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917–1967)
25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ

37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2

לכבוד
הנהלת "ספריית-עליה",
ת.ד. 21650,
תל-אביב.
טל. 256182

1. Стоимость одной книги серии "Библиотека Алия" – 25 изр. лир.
2. Стоимость 12 книг – 216 изр. лир (скидка около 30%) .

Прошу выслать мне 12 из опубликованных
книг
(указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму 216 изр. лир.

Прошу выслать мне 6 из опубликованных
книг
Прилагаю чек на сумму 108 изр. лир.

Мой адрес:

Имя и фамилия

Подпись:

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:

Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ ПЛАНЕТЕ. Роман. Пер. с английского.

Роман английского писателя Э.Литвинова рассказывает о жизни евреев лондонского Ист-Энда в двадцатые годы. Главный герой книги – ребенок, и его глазами мы смотрим на мир. Не без юмора автор рассказывает о нелегкой жизни неунывающих нищих (большой частью иммигрантов из России), об их радостях и горестях, о безобидных проказах детей и о не столь уж безобидных проделках, которые позволяют себе взрослые.

Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

Книга представляет собой сборник избранных произведений В. (Зеева) Жаботинского (1880–1940), который был не только одним из выдающихся лидеров и идеологов сионистского движения, но и талантливым журналистом, оратором, романистом и поэтом. В этом сборнике представлены произведения Жаботинского – очерки, стихи и проза, – иллюстрирующие его неутомимую борьбу против ассимиляторских тенденций, превалировавших среди русского еврейства в начале двадцатого столетия.

Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Пер. с иврита и немецкого.

М.Бубер (1878–1965) – философ, религиозный мыслитель и теоретик сионизма.

Содержание: Вступительная статья; Три речи об иудаизме; Статьи; Путь человека (согласно учению хасидизма); Хасидские рассказы; Борьба за "Царство Божие"; Народ и его земля; Церковь, государство, народность, еврейство.